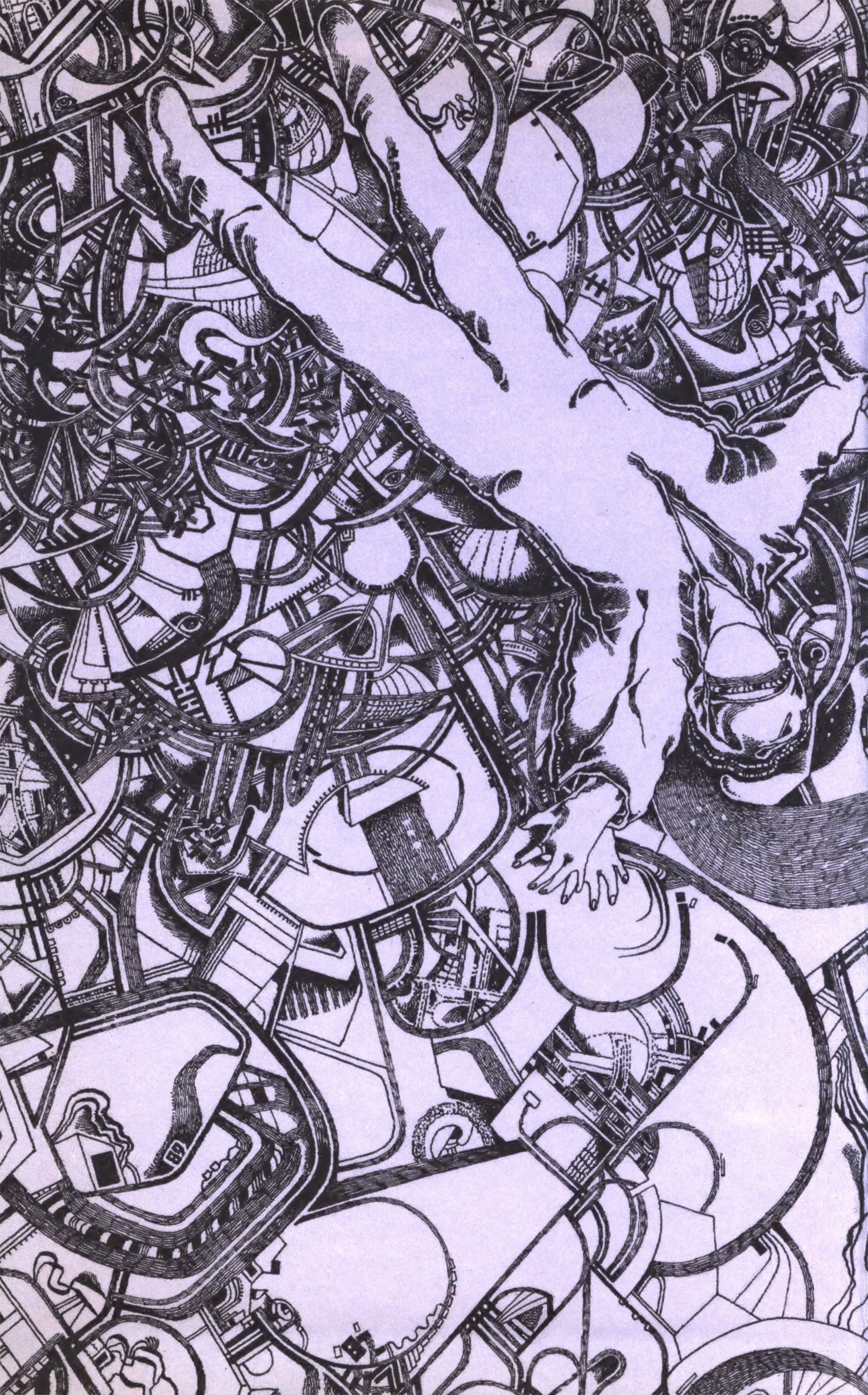

ПОИСК
'89
фантастика
приключения
Ф
П





ПОИСК
'89

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1989

В. Блинов
Артамонов след
В. Романов
Дождь
С. Другаль
Язычники
А. Чуманов
Корней, крестьянский сын
Находка
Эксперимент
А. Щупов
Закрой глаза...
Атавизм
Т. Титова
Сублограмма
Г. Дробиз
Задача
Д. Надеждин
О вкусах не спорят
В. Бугров
И. Халымбаджа
Довоенная советская
фантастика

84Р7
П41

Составители
В. И. Бугров
Л. Г. Румянцев
Редактор
М. П. Немченко

П $\frac{4702010206-072}{М\ 158(03)-89}$ 29-89

ISBN 5—7529—0126—X

Загадка хранящегося в тагильском музее двухколесного «самоката» вот уже много десятилетий не дает покоя историкам и краеведам. Слишком отрывочны и противоречивы сведения об изобретателе первого русского велосипеда. Лишь в последние годы архивный поиск кое-что прояснил в судьбе уральского умельца. Эти новые материалы и легли в основу исторической повести Владимира Блинова «Артамонов след», открывающей сборник «Поиск-89».

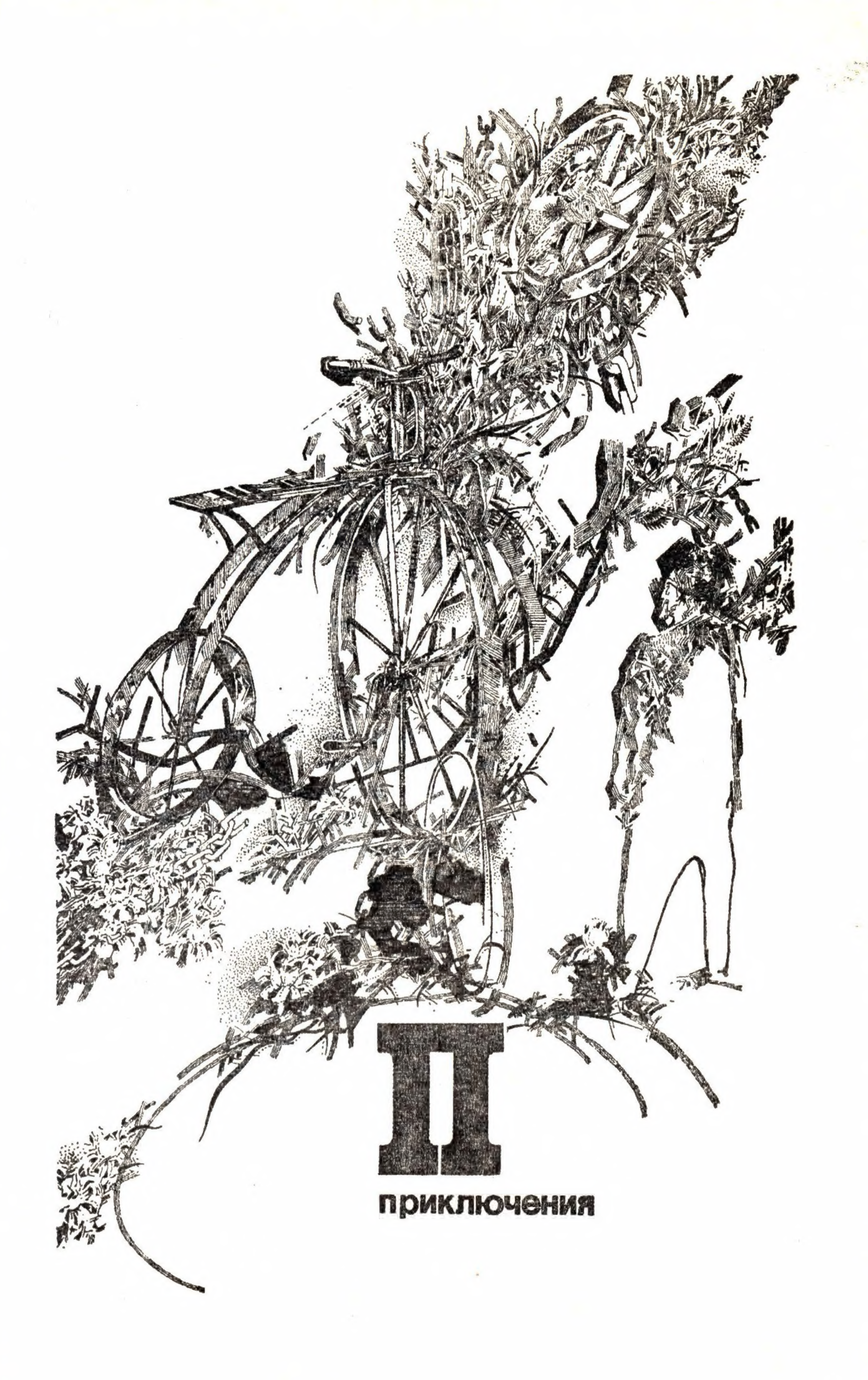
В разделе фантастики центральное место занимают две повести — «Дождь» Владислава Романова и «Язычники» Сергея Другаля. «Дождь»— это поэтичное сказание о любви, написанное в жанре современной «гофманианы», где причудливо переплетаются фантастика и самая будничная реальность. «Язычники» сюжетно примыкают к циклу произведений С. Другаля об Институте Реставрации Природы. И действуют в повести знакомые многим читателям персонажи — воспитатели Нури и Хогард Браун, охотник Олле. Но на этот раз действие развертывается в «сожравшей саму себя» Джанатии, где природа в агонии и людям уже нечем дышать... «Язычники»— это не только гневная антиутопия, созвучная нарастающим тревогам сегодняшнего мира; автор использует порой и приемы динамичного НФ боевика — что ж, и они фантастике непротивопоказаны.

Рассказы, вошедшие в «Поиск-89», как всегда, разнообразны по жанру. Рядом с фантастическими притчами Александра Чуманова («Корней, крестьянский сын», «Находка», «Эксперимент») полная зловещих тайн новелла Андрея Щупова «Закрой глаза...». Но автор ее, 25-летний свердловский инженер, самый молодой участник сборника, представлен в нем и вещью совсем иного плана — НФ юмореской «Атавизм». Еще более фантасмагорична миниатюра Д. Надеждина «О вкусах не спорят». Окутан дымкой загадочности рассказ тагильчанки Татьяны Титовой «Сублограмма»

(она, так же как и А. Щупов, дебютантка «Поиска»). А «Задача» Германа Дробиза, наоборот,— четкая по мысли и краскам философская притча.

Публикуется в сборнике продолжение биобиблиографического обзора «Довоенная советская фантастика» (составители В. Бугров и И. Халымбаджа). Начало его читатель найдет в «Поиске-86».

Все авторы сборника — уральцы. Правда, прозаик и драматург В. Романов, в недавнем прошлом редактор Свердловской киностудии, сейчас живет в Москве.


II
приключения

Владимир БЛИНОВ

Артамонов след

Золотые парчовые лучики прошили сизые петербургские небеса, украсив их подобно галунам на генерал-аншефском мундире. Потомственный владелец уральских горных заводов, попавший после смерти государыни в леденящую опалу, а нынче вновь неожиданно возвеличенный, более того, отмеченный титулом почетного камергера, Николай Никитович Демидов изволили в сей день бодрствовать в непримерно раннюю пору, ибо назначен был государем императором Павлом Петровичем сразу же после заутрени дворцовый бал. Удивляться же причудам императора считалось не только неприличным, скорее опасным.

— Вони-и-и-фа-а-а-тий,— шумно зевал и потягивался Николай Никитович, примеряя перед зеркалом парик,— Вонифатий... м-да, вот так, пожалуй, лучше. Парик, мой друг-каналья, должен быть не токмо аккуратно уложенным, но главное — подчеркивать благородность лица.

— А как же, ваше сиятельство,— кивал слуга,— все учли-с — и пропорции, и цвет, и размер буклей-с.

— Вонифатий, ты, того... поторопись! Отчего такая пыль на зеркалах? Кстати, со следующей недели, мой друг-каналья, ты того... перейдешь в распоряжение князя Петра Васильевича Лопухина. Не куксись, на время, мой друг, на время. Вместе с Филькой, Никишкой и Гришкой. Я князю многим обязан.

— Ваше сиятельство, вы же обещали-с... Недаром осваивал по вашей воле и словесную, и цифирную школы-с.

— После, мой друг, после. Впрочем, князь Петр, возможно, использует твои способности в каллиграфии.

— Вы приказывали напомнить, ваше сиятельство... Так что в приемной изволят ждать с докладом управляющий ваших тагильских заводов.

— Что за надобность?— поморщился Николай Никитович, дополнительно напудривая нос.— Именно когда я спешу! Впрочем, пусть войдет... э, предупреди его, однако, что в распоряжении у меня четверть часа, знаю я его канитель.

Первым делом низко, в пояс, поклонился Акинфий Любимов, басом провозгласив полагающиеся словеса в честь своего господина. Тут же выдвинул он перед собой зеленые сафьяновые корки, а там уж пошел сыпать цифрами, сотнями, пудами, рублями...

— Э, Михалыч, ты того... короче, суть изложи.

Поправив орден Станислава, поднялся Николай Никитович и, заложив одну руку за спину, повернулся перед зеркалом вправо, а затем и влево.

— Молодец, Вонифатий, умеешь быть полезным хозяину, жаль мне расставаться с тобой, да что поделаешь, воля господня. На время, обещаю тебе, на время... Михалыч, так ты... того, оставь мне бумаги на досмотр. Зайдешь завтра, а лучше — через три дня, да. Кстати, как там мой мастер, как бишь его... экипаж еще парадный задумывал?

— А, Егор Кузнецов! Во здравии,. господин, во здравии, хотя слаб стал глазами. Дроги его на выходе. Племяш у него толковый в спомоществователях...

— Артамошка-то?— не выдержал Вонифатий, однако тут же поперхнулся и с удвоенным усердием засуетился, прибирая туалетный столик.

— О воле смерды мечтают,— добавил управляющий.

— Вот как! Это мы еще поглядим. А изделие их может оказаться весьма кстати. Пусть стараются. Ну-с, absens heres non erit!* Эй, канальи! Филька, вели подавать карету!

Всчудился человек

[1800 года, месяца апреля, в 17-й день]

● Ох и радовалась ребятня ярому апрельскому солнышку, и первым пучкам зеленой травы, и глинисто-золотистым подсыхающим плешинам возле Лисьей горы, на коих уже можно было и бабки метнуть, и на кулачках поспоровать, и в чугунные зады потягаться. Артамон глядел, как прибавлялось шапок на голове Васятки, истуканом сидящего на сухом бугре. Вот и следующий парень прыгнул через него, свой картуз положил сверху. Еще один махнул козлом, колпак приладил. Николашка разбежался, крякнул, ладно подскочил, да не смог перелететь через гору шапок, мал еще, сразу три штуки-то и сшиб. Теперь, паря, рассчитывайся.

---

* Опаздывающему ничего не достается (лат.).

Радостно взбрыкнул Васятка, надоело сидеть на студеной еще землице, встал на карачки. Ребятня же шумно схватила Николашку, зараскачивала:

— Нашему барину ладно кол вобьем!

Трижды, по числу сбитых шапок, раскачивали Николку, били им, как бревном, по Васькиному заду, аж под бугор катился. Теперь Николашкина очередь сидеть, через него сигать ребятне.

— А меня в игру примете?— крикнул Артамон.

— Прыгай, дядька, не жалко, и тебе кол вгоним!— выпалил конопатый пострел.

«Эх, давненько ли сам-то резвился, а вот уж дядькой кличут»,— вздохнул Артамон. Надоело ему медовуху у братана тянуть. Да ведь, грешным делом, со вчерашнего дня начали и сегодня с утра, на могилках... Опять же как родных не помянуть? А домой неохота, матушка начнет выговаривать, что дома не ночевал, опять же Дашкин отец припрется с намеками на сватовство. К крестному дяде Егору завернуть? У того не соскучишься, тут же делом загрузит, не поглядит, что радуница.

Ладит Егор Кузнецов чудные дрожки фигурные. Особо не разглашает в заводе. В первых помощниках Артамон у дяди, уважает Егор Григорьевич племяша за башковитость и ручную сноровку. Иной раз у Артамона-то лучше работа идет, особливо мелкая, заковыристая. Кабы не был Артамон в подушном окладе у Демидова да углепоставщиком при конторе, кажинный день бы слесарил у крестного.

Буянка, взлаивая и повизгивая, норовит лизнуть Артамона в ус, пока отирает он сапоги вересовыми ветками. Из-за двери доносится разговор. Сам-то хозяин не говорун, ясное дело, балаболят по празднику завсегдатаи кузнецовские Макар да Емелька.

С порога шибает привычными, притягательными с детства запахами: зябким, першливым — железных опилок, ядреным — мездрового клея, горьковато-смолянистым — дегтя. Прибавился нынче, однако, какой-то незнакомый сладковато-дурманящий запашок. Вон оно что — Сидор Дубасников малюет, уговорил все же Егора украсить дрожки росписями. Егор Григорьевич, не охочий до разных веселостей и нынешних мод, не сразу на это согласился, главное для него было в механизме кареты. Однако, поразмыслив, принял помощь Дубасникова, зело поднаторевшего на цветастых лаковых росписях,— чай на дрожках

не по староверческим скитам ездить, в столицах барин станет кататься.

Хоть и виделись с утра, вместе ходили помянуть родню на Выйское кладбище, кланяется Артамон всей честной компании. Повернул крестный черную бороду, указал Артамону на его постоянное место у верстака, за тисами. Скоро уж потеплеет, переберется Егор Григорьевич в сараюшку возле своей кузенки, где хранится и крупный инструмент, и железные заготовки, станина и колесная часть дрожек. А пока — в тесноте. Жена Егорова, тетка Акулина, бывает, ворчит, да мирится, в открытую супротив Егора сказать не решается, но в светлую горницу в грязном не пущает. Вот и сейчас чистоту наводит.

— Настя!— приказывает приемной дочери.— Хватит в окошко-то зырить, возьми-ко голик да прибери у отца под верстаком!

Много занятного в доме Егора Кузнецова. Не дом — мастерская. Уж годов, почитай, не менее десятка ковыряется крестный над дрожками. Прошел тут Артамон и кузнечное мастерство, и в слесарном поднаторел. Благо разрешено Кузнецову Нижнетагильской конторой и самим Николаем Никитовичем Демидовым заниматься делом не токмо в заводе. Прежние заслуги в железоделательной машине, и в водоотливном устройстве, и в астрономических часах, и в таинственных замках для барских ларцов — все зачлось, помнится. Да и стар Егор Кузнецов, уж нелегко ему заводских учеников наставлять, давит цеховой воздух, дыхала на полдня не хватает...

Многое было придумано, многое построено, все своим умом да на деревянных модельках. А волюшки все нет. Платят Демиды наличными, «спасибо» в письменах выражают, о воле же словом не обмолвятся. А жила еще в Егоре надежда, слабо, как уголек, тлела, подумаешь, как подуешь, уголек-то огоньком и затрепещет. С юных лет засело — выбиться из вечноотданных, вырваться из тягла крепости. Иной раз мнится Егору: вдохнет он вольного-то воздуху — всю копоть, в груди накопившуюся, враз и выхаркнет!

Как об стену бьется Егор о демидовскую крепость. Эвон когда еще выиграл в споре с иноземцем Шталмером, катальную машину соорудив... Куда там! Только и ответил Демид, мол, постройка оной коштовата, дорога будет, да и вообще не воспарять, дескать, в высшие феерии. Уж который заход делает Егор, а воля-то все утекает. Чуд-

ный мастер, говорят, да дыра в горсти, ни богатства, ни воли. Последняя надежда на дрожки удалые. Будет мастеровой Егор Григорьев Кузнецов, прозывающийся в заводе Жепинским, просить награду не токмо себе — всему семейству запросит. Есть еще сила, и задумки тайные имеются, сколь добрых дел можно наворочать. А коли самому не судьба, хоть родня на воле порадуется, из Артамона козлиная-то дурь уйдет, добрым мастером парень станет, только пока ему про волю ни-ни, ни слова.

«А ведь с чего начались у крестного дрожки,— думает Артамон,— то и дивно, что не с колес, не с обшивки, кою расписывает Сидор,— с особой штуковятины, с верстомера». И будто подслушал Артамоновы мысли Емелька-инвалид. То ли в самом деле бестолковый, то ли прикидывается, в коий-то раз спрашивает:

— А чего их, Егорий, версты-то, отмерять, чай, давно уж перемеряны...

— То-то, дурья твоя башка,— шутейно лупит его по уху другой инвалид, Макар, тоже из гренадеров суворовских,— а как да вновь турок Расее угрожать начнет, а как опять в поход двинемся по незнакомым местам — спомни-ко, чудило, каки у Суворова карты были, каки, слышь, переходы, разве не важно было версты-то вымерять? Да и нашему барину в путешествиях али даже в прогулках...

— Оно конечно... Только как же мертвый предмет версту обозначит?

— Колесо-то, распрями его, один путь проходит,— глухо говорит Егор,— как ни крутись... Вот железка-то стучит по спице, первую цифирь и покажет стрелка в одном оконце, во втором — путник уж версту отметит, и колокольчик ему об ентом напомнит, в третьем — десяток верст выскочит.

Емелька что-то мычит, кивает, понял, мол. Артамон теребит молодую кудрявую бороду, зажимает в тисы медную заготовку. Решил дядя Егор украсить карету празднично и узорно, вот и стрелки циферблатные должны быть фигурны, по шаблону заточены, может, еще и позолотит их крестный.

Малюет свое Сидор, молчит, не любит он во время работы разговоры вести. Да вдруг нарушает молчание:

— Эх, Егор, всем ты взял, да не баское у тебя прозвище-то...

— Малюй знай, господина Демидова крепостной. Они прозвали, имя и срам.

— Егорий,— смеется розовыми деснами Емелька,— а пошто тебе Демиды кличку-то эту прилепили?

— Не мне одному... с брательником Иванкой еще схлопотали. Он ведь и выдумал в слободе в чугунные зады стукаться. Мальцами еще были. Так же вот травень подходил. Раскачивают меня заводские-то да во всю глотку поют «нашему барину в зад кол вобьем...». Барин-то, как на грех, и окажись рядом, как из-под земли вырос, дьявол. А про Акинфея не мне вам сказывать, Николай-то Никитич рядом с дедом своим Акинфеем — шелковый. Ну вот. Все так и смолкли. А Иванка-то на карачках стоял, не видит, значит, Демида-то, дальше базлает... Когда увидел, поздно было. Акинфей-то побелел, палку поднял. Сбоку причиндалы подлащивают: «Прибей, мол, Акинфей Никитич, смерда дерзкого!» Медленно опустил Акинфей палку, только и сказал: «Будешь отныне, холоп, и вся родня твоя с прозвищем — Жепинские». Причиндалы заегозили, заулюлюкали. Ушел барин. С той поры вот...

— Значит,— беззвучно смеется Емелька, утирая слезу,— и Ванятку, и всю твою родню так и припечатал навечно Акинфей-то, ох-ха-ха...

— Ты чего же, Емеля,— вступается Макар,— людям позор да помеха, а тебе смех да потеха?

— Не трогай его,— покашливает Егор,— последний-то смех слаще первого. Поглядим еще, кто посмеется.

Тут Макар ловко достает своей единственной рукой из-под верстака штоф, выдергивает зубом затычку.

— Эй, Сидор, примешь али как?

— Не дергай его,— бурчит Егор,— и Артемону не вздумай, он уж который день...

— Ну что же, Емельян, нам с тобой боле достанется, прими-ко, гренадер, деревянную-то ногу к ненастью не ломит!

Старик моргнул Артамону, мол, и тебе незаметно плесну. Хозяину же не предлагает: не уважает Егор сивухи, верен старозаветным наказам, не терпит новых греховных мод, особливо зол на табак, не держит в хозяйстве и чертова земляного яблока.

— Был бы ты, Егор, не демидовский, далеко б пошел,— сочувственно говорит Макар.

— А я и не демидовский. Без закону все село и деда мово приписали к заводу.

— Чей же ты?

— Чей-чей! Божии человек, заводской, российской, уральской! Хоть и числюсь под Демидом. Вона и Артемон наш — тоже новой породы, тагильской. Сивуху лакать не будет, в люди выйдет. Ох, не блазнитесь вином-то, робяты...

Помолчали.

— Настена!— позвал Егор.

Мигом сунулась Настя в печь, достала чугунок со свекольными паренками. Акулина зашевелилась, откинула холстинку с пирога, початого еще утром, отвернула верхнюю корку, из-под которой засеребрились красноперые гольянские окуньки.

— Хватит блекотать-то, Макарей. Сидор, уймись, глони с мужиками. Помянем родителей наших, царствие им небесное, вечный покой. Айда к столу, в горницу.

...Погостевав, ушли мужики по домам. Только за порог переступили, только щеколдой звякнули, тут и пошел все время молчавший Артамон по избе вприсядку:

Ох, Настасья, эх, Настасья,
Открывай-ка ворота!..

— Ишь, дурень, чего выкомаривает,— смеется Акулина.

Не удержалась и Настя, задробила по кругу:

Я по горенке ходила,
Потеряла брошку,
Всей душою полюбила,
Да не Артамошку...

Схватил Артамон сестрицу, закружил, завертел по горнице.

— Пусти,— отбивается Настя,— тятенька, вели, чтоб он отпустил меня.

— Никшни, Артемон! Доведи-ко стрелку, скоро темнять начнет.

Зажимает Артамон в тисы заготовку, легко, будто играючи, водит по ней подпилком.

— Ты, Артемий, того... шляешься, сивуху лакаешь, мотри... С чего бесишься?

— Поверишь ли, крестный, хочется сотворить чегонибудь этакое... Чтоб все знали... Ну вот как ты! Сила есть, руки в разуме, неуж всю жизнь уголь конторе поставлять? Может, с того и тоскую. Да когда же и повеселиться, как не в гулливые дни. Эх, однова живем!

И он опять прошелся колесом по избе.

— Я тебя, Артемон, из купели принимал, я и в ответе и перед памятью брательника Елизара. Женить тебя...

— Вот ты, крестный, весь век трудишься, доброе дело творишь, учеников скольких в люди вывел. А толку-то? Часы твои астрономические с кузнецом у наковаленки кому радость приносят? То-то! Не туда ли и дроги уйдут? Так что же полезнее-то: житуха гулливая или...

— Ты, Артемий, того, не наступай на старую мозоль. Терпеть надо и веровать. Демид воли не дает. Но мои-то труды, помяни мое слово, всех Демидовых перевекуют, всех! Да и сам я семерых царей пережил, авось и восьмого... Глядишь, и волюшки попробуем.

— Крестный, а что, кабы тебя хозяином, а?

— Мели, язык-от без костей... Ох-хо-хо. Женить бы тебя!

Вот тут-то и всчудился парень. Закружилось у него в голове. Подпилок по стрелке, глаза в оконце вперились...

...И распахнулась калитка насупротив, в доме Ворожевых. И выкатила на бочке дева Анюта в сарафане голубом развевающемся, с волосами рыжими трепыхающимися, со ртом большущим малиновым. Засунув два пальца в рот смеющийся, свистнула Анютка на всю околицу. Эй, мол, ребятня подзаборная, посмотрите-ка на меня, отрочицу!

Перебирала по-гусиному розовыми, стынущими ступнями по бочке, бойко катила по тропочке.

«Ишь ты,— подумал Артамон,— какая! Во дева за зиму вымахала, откуда что взялося!»

И ребята, позабыв про чугунку, притихли, залюбовались, и девки, гулявшие под горой, заперешептывались, и старики с завалинок по-молодому повскакивали...

Распахнул Артамон створки, щучкой через подоконник-то вынырнул, даже геранок в горшках не потревожил. И вспрыгнул он на бочку. И встал рядом с Анюткой. И покатили они вместе под ехидное ребячье:

Жених с невестой поехали по тесто,
Теста не купили, невесту утопили,
А жених-то ах да ох, ест с утра один горох...

Глядели они друг дружке в глаза, шустро перебирали ногами, аж на пригорок выкатили.

— Ты почто это така рыжая-то?

— Тебе что, на рассаду дать?

— Ох и глазищи у тебя хитрющие, как у козы!.. И взростна же ты за зимку-то стала!

— Да и ты обородател!

— Прибежишь вечор в лес?

— Ух ты бес! Слышь, эти-то как дразнятся, побей их!
— А неохота от тебя отпускаться...
— Ой, гли-ко — птичка!— указала она тонкой рукой на колокольню.
— Где?— завертел головой Артамошка.— Где, кака така птичка?
— Хвать тебя за личико!
И полетели они оба с бочки кувырком на землю. Только взвизгнула Анютка, будто подбросило ее с земли, сарафан она вмиг оправила да со смехом к дому своему, только ее и видели.
Лежал Артамон обалдело, в небо глядел. Конопатым Анюткиным ликом катилось по голубому небу лохматое апрельское солнышко...

— Да ты чего? Христос с тобой, окстись, по тисам ведь пилишь... Артемон!
— Ась?
— Испей поди квасу, очухайся!
— Ух, дядя, и приблазнило же... Вот бы сотворить мне такое, вроде ентой твоей кареты, что ли...
— Ишь чего захотел, молод еще.
— А хоть бы и попроще чего!
— Да тебе-то зачем, споспешаешь ведь мне.
— А вот смастерил бы чего-нибудь — первым в заводе бы сделался, к Анне Ворожевой и посватался бы.
— Не дури, Артемон, ровня ли мы Ворожевым? Они люди вольные, первостатейные, а мы, не забывай, посадские, у Николая Никитича — в крепости. Вот, поможет бог, завершим дрожки... Не пара она тебе, да и молода Анютка, дите еще, даром что ляжки наела. Есть у тебя невеста, Дашка, Мортирьева дочь, ровня. Анютку забудь.
— Ох не забыть, дядя, ведь словно солнышко приоткрылося...
— Артемошка!

Печь к ночи протопилась. Встал Егор Кузнецов пред образом. Встали за ним жена Акулина, и девица Настасья, и племяш Артамон, сотворили они молитву перед паужном: «Отче всех, на тя, господи, уповаем, ты даешь нам пищу благовременную, утверждаешь твою руку щедрую...»
А в глазах — Анютка. И катиться бы с ней рядом Артамону по белу свету... Не на бочке же! А как, на телеге? Безлошадные мы... Да, вот рассказывал как-то крестный

ему о самокатке, что наблюдал он однажды в губернии. Оно и понятно — соедини три легких, тележных хоть, колеса, одно спереди, пару сзади, да принуди ось к вращению... Что, если колеса-то полегче, не возы возить... Пустое, не свое это все, свое бы вот выдумать!

Истово клал поклоны, вознося ко лбу два перста, Егор Григорьевич, возводил очи к теплящейся красносмородиновым огоньком лампадке, искал надежды в темном и строгом взгляде Спасителя. Часто и шумно крестился Артамон, вторя дяде словами старообрядческой заповеди. Но тележное колесо, грешным делом, все вертелось и вертелось в голове Артамона. Перебирал он по нему босыми ногами, падал и снова вскакивал. Не, колесо-то не бочка, далеко на одном обруче не укатишь! Четыре, три — было... А ежели сзади да махонькое, лишь для удержу? А? Да с горкито! Усидишь ли? Эх, хорошо вроде бы!..

«А ежели к большому-то колесу да рогулину, а на ось движительные железяки приделать... Каково?» — вслух подумал Артамон.

— Не рогулину, деревня пошехонская, правило! — оглянулся крестный.

В один день по две радости не живет

[1800 года, месяца июля, в 20-й день]

● Громко, будто Илья Пророк в небесах, грохотал железный обод по каменной неровной дороге. Споро крутил Артамон подножками, ловко ворочал правилом и уж пожалел было, что выехал на Главный прошпект, по сухим-то, утоптанным переулкам куда как сподобней было катиться. Опять же себя не покажешь, на Екатеринбурх не поглядишь. Миновав мучные лабазы и скобяные лавки, спешился Артамон на Дровяной площади, отер рукавом вспотевший лоб. Так уж чудны были и Вознесенский собор, и другие церкви, чуть было не перекрестился на все четыре стороны Артамон, однако отыскал, как заказывал дядя Егор, вдали свою, старообрядческую. «Благодарю тебя, господи, что надоумил мя сотворить полезную вещь, с твоей благословенной помощью подвижь на новые дела раба твоего Артамона, во имя отца и сына, и святаго духа. Аминь», — выдохнул Артамон.

Лежал самокат на мостовой, трое ребятишек трогали

его, покручивали малое колеско, с опаской поглядывали на долговязого в полосатых портах, в алой сатиновой рубахе, теребящего в задумчивости темно-русую бородку.

Нащупал Артамон пятак, упрятанный в кушаке. Надо на обратном пути поставить три свечи, одну во здравие крестного, что-то хезнуть дядя начал, вторую за упокой всем святым в память отца и деда, да еще одну — к образу Симеона Верхотурского, охранителя и спомоществователя всех уральских работных людей...

Поднял Артамон самокат, оседлал, подмигнул ребятишкам, покатил дальше. Что и говорить, дивен уездный город, дивен и строг. Главный-то прошпект побольше будет и достойней тагильских проездов, и дома — эвон какие добротные да крепкие. Наперед красуются каменные казенные и знатных чинов, особенно те, что отражаются в зеркале исетской воды, удерживаемой плотиной. Церкви, что божьи персты, встали на холмах, высятся по-над всем городом с четырех сторон. Да и жители в Екатеринбурге понарядней будут тагильских. Правда, на Главном-то прошпекте и живут первостепенные, а заглянуть, поди, в заводские — то слободы...

Эк, дивятся горожане-то! Не видали вы самокатку тагильскую! А мы вам с дядей Егором не то еще, дайте срок! И-эх, из-за леса, из-за гор показал Егор топор, и не просто показал, топор к уху привязал... Чего пальцем-то кажете? Прокатиться, небось, охота? А эти злыдни откуда? Эть, эть, тута побыстрее надо, эть привязались собачищи!

Однако и громыхает же обод... Нехорошо! Коли ночью придется, весь город, пожалуй, разбудишь. А доведись в столице, там-то, поди, все дороги в камне. Может, деревом обод одеть, да надолго ли дерево-то?.. И полегче бы самокат, все три с половиной пуда потянет. А как непогода да в дальнем пути?..

Жители Екатеринбурга с удивлением останавливались, наблюдая необычного седока на железной двухколеске.

— Кто эт, кто?

— А шут его знает, чудак какой-то.

— Телега не телега...

— Диво! На паре колес, а не падает. Резвок, бес.

— Эх и нам бы таки каталки, все быстрей, чем на своих-то двоих.

— Бес, он и есть бес! Не уподобляйтесь же оному, православные, ибо создан человек по подобию божию, и не пристало ему...

— Гляди-ко, гляди, сама колесница катится!

Артамон, разогнавшись порезвей, вовсе отпустил подножки, уперся руками в седельце, ноги на ворот положил — и так правил.

— Ему и коня не надобно.

— Не прельщайтесь, православные. Что дано человекам, тем и довольствуйтесь. Вспомните, который в Верхотурье-то, крыле устроив, летать хотел, как журавель... Налетался! Вот и этот, увидите, недолго накатается! Господи, избавь люди твоя от противных искушениев...

Подкатив к краю дороги, Артамон остановился. Долетели до него последние слова. Человек в черном клобуке с нездорово блестевшими глазами на бледном лице скрылся за спинами столпившихся вокруг горожан.

— Люди добрые, пособите отыскать купца Баландина дом.

— Да проще простого, как проедешь завод, дуй по правой руке, ну и, не доезжая Торговой площади, увидишь... Откудова сам-то явился?

— Демидовские мы, с Выйского заводу.

— А славную колесницу парень изладил, ужели сам выдумал?

— С божьей помощью да механика Егора Кузнецова советом.

И была Артамону радость, что любезно людям его изобретение. Ладил самокат для Анютки, оказалось всем по душе. Да всем ли?.. Ведь и в своей конторе косо глядели. Знали, однако, что любит Николай Никитич собирать курьезы и всякий вздор, оттого, знать, и терпели самокатные катания. Говорят, есть у Демида особая камера, куда собирает он диковинные вещицы. Видно, и самокатку туда конторские метят... Эх, Артамон, Артамон, для чего тебе гармонь... Анюта пропадает, взамуж девку отдают. Третьева дня узнал Артамон, что повезут родители Анюту в уезд, повезут как бы к своей родне, к купцам Баландиным в гости. На самом-то деле приезжает из Перми купчина Волков с младшим своим. До свадьбы, прикидывай, далеко, а смотрины по уговору намечены.

Давно ли глухо плакала Анюта, прощальным поцелуем обласкав Артамона, ужалила душу, вырвалась из рук его вон...

Он и сам бы не смог объяснить, зачем искал дом Баландина, что мог поделать, какую хитрость предпринять, как выручить Анну. Чуяло сердце — не вернется девка в Тагил, увезут ее Волковы в губернию, увидят — не отпустят, пойди поищи такую, на всем Урале не сыщешь. Дядя Егор, хоть и подозревал причину нового сумасбродства племянника, смолчал, а после даже поддержал вдруг:

— Истинно, Артамон, поезжай, потруди свои жерди-то, даст бог, и в дальнее путешествие отправимся. У Акулины харчами в дорогу запасись, ося поболе смажь, да и впрок дегтю прихвати. Держи пятак, свечи затеплишь. Да чтоб в середу дома был, внял?

Может, и вправду думал дядя: едет Артамон для сноровки и привыкания к самокату, а может, понимал: все одно не удержишь.

Эх, и сноровка есть, и могута, а зачем она, сила-то, без Анюты, к чему? И на самокатке перед кем красоваться?..

Хоромина у Баландина видная, в два яруса, нижний — в камне, верхний — из сосны неподсоченной. Шло в доме гулянье. И хоть задернуты были окошки шторками, слышалось пение, хохот и возгласы... Сжалось Артамоново сердце, стал он загадывать, чтоб выглянула в окно хоть на миг его зазноба. Выманит он ее, отымет у Волкова, умыкнет, не отпустит вовек... Но не чувствует Анютка дум его. Уж в десятый раз громыхает Артамон против окон Баландиных, всех собак распугал, пешеходов не замечает. И отдернулась занавеска! И увидел он Анну. Печально глядела она на него, улыбалась прощально.

Встал Артамон посередь дороги, начал знаки Анюте показывать, мол, уедем с тобой в леса, убежим, не споймают... Приоткрыла Анюта оконце, песней и брагой медовой ударило. И — розовый платочек с белой каемкой в оконце выбросила. Полетел тот платочек легонький, зацепился за резную причелину.

Взять хотел Артамон — шумно тройка вдруг из-за угла вымахнула. Подскочил Артамон на седельце, нажал лаптем на подножку, подался в сторону, чтоб с тройкой разъехаться. Коренник захрипел, морду кверху задрал, шарахнулся на обочину, увлекая за собой пристяжных. Заскрежетала карета, заваливаясь. Плеть обожгла Артамону спину, другим ударом вышибло его из седла, третий губу рассек пополам...

Два полицейских чина волокли Артамона в участок.

Одиноко платочек под ветром мотался. И бледной луной — лик Анютин в окне.

Утром выдернули Артамона из кутузки, где провалялся он ночь на полу вместе с воришками, беглыми, должниками. Благо двое бродяжек с вечера притчи рассказывали — все не так уж тоскливо и гадко.

Стоял Артамон перед приставом. Чесал нога об ногу, шибко ночью нажалили вечные жильцы российских сибирок, чижовок и прочих острогов — клопишки да блохи. Губу трогать боялся, пораздулась губа, кровоточила, и ключицу ломило изрядно.

Пристав шашку зачем-то поправил, ус покрутил, поглядел незло, по-отечески. Пробасил:

— Не пристало без ведому ездить. Ишь что выдумал... Был бы мой, я б тебе... Ладно, есть отпускная. Если каждый надумает ездить на железяках, конным ходу не будет.

— Ваше благородие...

— Чего-о-о? Ты это брось! Ксенофонтов, читай!

Коротконогий Ксенофонтов браво вскочил, щелкнув каблуками так, что перхоть взлетела над его головой легким облачком. Держа бумагу на вытянутой руке, на Артамона не глядя, выдал Ксенофонтов на одном выдохе:

— «Составлено сие в том, что холоп Ефимко, сын Артамонов, в количестве тридцати ударов розгами бит за то, что в день Ильи Пророка ездил на диковинном самокате, чем пужал всех лошадей, которые не токмо на дыбы становились, но и на заборы кидались, и увечья пешеходам чинили немалые. Особливый же урон оный холоп учинил для казенной кареты, чем нарушил продвижение важной персоны. Исходя из вышеозначенного, передать в распоряжение Нижнетагильской конторы: бить оного батогами или розгами по усмотрению заводского исправника, главное же, при тагильском заводе держать безотлучно и впредь катания на дурацкой двухколесной телеге запретить».

Как ни болели кости у Артамона, он и про боль позабыл. Сжал кулаки, чуть не бросился на Ксенофонтова. Все бы стерпел, но «телегу дурацкую»... Да знали бы вы!..

— Ты это брось,— пророкотал пристав, будто почуяв его желание,— Ксенофонтов, ставь иди самовар.

— Слушаюсь!

— Вот,— протянул пристав бумагу,— передашь там, в заводе, исправнику.

«Вот те на!— подумал Артамон.— Ведь и здесь-то не бит, и с чего-то Ефимом наречен, знать с бродяжкой спутали, и бумагу на руки выдают». Сказал, глядя в пол:

— Передам, вот те крест... Благодарствуйте, ваше благоро...

— Ты это брось! А телегу свою... там... в конюшне. Катись! Эй, Ксенофонтыч, выводи!

Змеился в дорожной пыли колесный след.

Нежным маковым цветом колыхался Анютин платок на причелинке.

На кудыкины горы

[1801 года, месяца июля, во 4-й день]

● Знать, городишко какой поблизости, подумал Артамон, прислушиваясь к благовесту. Губернскому вроде рано быть, может, село какое за лесом. И ведь, как назло, седельце-то козлиное на сторону свихнулось, развязалась сыромятина, размочалилась, ах ты грех, ничего, вот этак-то лучше приладится... Больше всего боялся Артамон лодыги сбить, потому обматывал ноги потолще поверх носков, которые связала ему в дорогу тетка Акулина. После смерти Артамоновой матушки еще больше тетка жаловала крестника.

Кабы двинулся Артамон по приказу Демидова совместно с дядей, быть бы ему теперь в первопрестольной. Крестный-то когда еще подался! А хотелось Артамону предстать перед барином, показать свое чудо железное. Новая-то модель куда какая ходкая получилась, и весом уменьшилась, и сам вид у самоката получше. Однако письмом в контору Демидов вызвал поначалу одного Егора, изъявляя желание лично осмотреть музыкальные дрожки с верстомером, премного наслышан был заводчик о новом изделии старого мастера. Сам-то Демидов на уральских заводах давно не гостил, все больше в Риме да Париже пребывал.

— Артемон, в главный путь отправляюсь. Буду вольную просить и себе и тебе. Коли барин прежних заслуг не запамятовал, может, на сей раз проймет его, хоть на старости лет доведется в воле пребыть.

Месяц с лишним, считай, как проводили заводские Егора Кузнецова с кучером демидовским Михеичем в дорогу. Тоскливо стало в доме дяди. Иной раз приходили

вечеровать Макар с Емелькой, да без хозяина, с бабами что-то разговор не клеился.

И случился вскоре Артамону нечаянный интерес, как наворожила ему соседская Дашка Мортирьева на картах. Вызвал сам управляющий Артамона в контору и бумагу показал с вызовом. Видно, рассказал Егор барину о своем крестнике. Этим разговором и возжелал Демидов видеть своего углепоставщика вместе с самокатом. Ехать же велел своим ходом, чтобы, дескать, знали в России-матушке уральских людей демидовских и ко времени коронационных торжеств нового государя Александра Павловича, ожидавшихся к осени, предстать в старой столице, в Немецкой слободе, лично пред Николаем Никитовичем Демидовым.

Что за сбор Артамону — самокат, котелок да мешок с провиантом. Не любил провожаний. Чуть рассвет, с петухами поднялся, самокат оседлал, за спиной уж услышал:

— Артамоша, куда-а-а?

Оглянулся — Дашка гонится, только пыль из-под ног, юбка веется.

— На кудыкины горы! Прощай!

Будет слава — и воля придет. Коль успеется, мечтал Артамон, по покрову к Анюткиному отцу сватов зашлю. Пусть и были в Екатеринбурге смотрины — не свадьба еще...

— На кудыкины горы, в Москву-у!

Не по-доброму с Дарьей-то он поступил, да ведь и надежд ей не давал, с детства будто репей привязалась...

А закавыка вот не ко времени, вечеряет... Да и отчего вроде расстраиваться-то — оси смазаны, спицы все целы, обода, главное, не погнуты, а седельце-то — плевое дело, седельце, оно и есть седельце, хотя как посмотреть, на долгий-то путь чугунку для сиденья надо иметь... Отчего же на сердце тоскливо? Не от поляны ли этой? А что, поляна как поляна. Только вот кореньев витых шибко много из травы выставляется, только из болотца, что с краю, булькает и пыхтит, будто кто-то отдувается, охает... Да вот и ворон на ели сидит. Сидит не каркает, не живой будто, а чего-то торчит, дожидается. И дорога давно тут не топтана, и звона уж что-то не слышится. Словом, неладное местечко.

Только примотал Артамон седло, только крестное знамение хотел сотворить, ткнул уж пальцами в лоб, как

почувствовал, холодея: легла сзади на плечо ему тяжелая длань. И голос охрипший произнес:

— Не спеши, паренек, успеется...

Неробкого десятку был Артамон, а когда оглянулся — еще больше в груди похолодело. Стоял перед ним мужик — косая сажень в плечах. Сам весь в шкуре — и руки, и ноги, и брюхо, сразу-то и не понять: в овчину ли влез, своим ли волосом покрылся. Лик тоже весь шерстью покрытый, глаз один выбит, другой голубой пронзительный.

— Мене оставишь,— кивнул мужик на самокат,— и котомку того... скидавай!

— Это как же, папаша, указ ты мне, что ли?— неожиданно для самого себя выпалил Артамон.

— Не хошь подобру?

Мужик свистнул. Тут же из-за болотных кустов два обалдуя в пестрядинных заплатных рубахах и выскочили.

...Очухавшись, не вскочил Артамон, а приоткрыл только глаз.

— Вроде нашего брата, гол, как сокол.

— Ни золотых, ни медных, здря мы его этук-то, крест и тот оловянный.

— Не здря,— прохрипел одноглазый,— эких учить надо. Суконные зипуны нам портные не поставляют, и в котомке на паужин на пару дней хватит. «Здря!..» Ты у нас добренький шибко, а погляди, каких фингалов он Сычу налепил!

Сыч, кряхтя и отплевываясь, отмывался в болотце. Ворон молча сидел на сосне.

Пень огромный служил для злодеев столом. Разожгли огонек. Артамоновы припасы в котел полетели.

Глядел Артамон из-за коряги. «Эх, пропала жратва, на недельку бы мне-то». Не еда его больше тяготила — самокат выручать... А как?

Одноглазый песню негромко затянул, незнакомую песню, разбойничью. Сыч кашеварил, помешивая суком в котле, хворосту в огонь подбрасывал. А молодой обалдуй все на самокате норовил проехаться.

— А ить не получается, робята... эк... Ловок странник-то был, стерва... Да как он?.. Во.. во! О, робяты, поехало, поехало-о-о!

Этого только и дожидался Артамон. Как только свернул парень на тропинку меж папоротников, тут и подмял его. Съездил по уху пару раз, взвалил самокат на загривок, затопотал лапотками что есть силы, а уж только на дорогу-то выбрался, самокат — промеж ног, да под горку-то с ветром напару!.. Эх, не надо подножки крутить, только успевай на поворотах лаптем ход замедливать!

Где-то далеко позади гикали разбойники. Ворон, опомнившись, каркал без устали. Крутились колеса, поскрипывало прави́ло, ладно пришлось седельце. В седельце-то, в шкуре, и денежки были зашиты.

Он лежал на траве, приспособив под голову мшистую глинуху, слушал говор ручья. Рядом самокат. И дернуло его дорогу короче искать! В голове, будто в кузнице, молотом било... Слушал Артамон, как ручей то ворчит, то хохочет, то жалуется. Так и в жизни, поди... Ну вот что в самокате? Ни славы, ни рублей, ни благодарности. Пока что приятностей не было. Даже прежние модели, что хотел товарищам раздарить,— куда там, контора и тут государыня,— поотбирали, мол, от дела отъемлешь людей...

И Анюту, почитай, упустил. Не простился. Ворожев, отец, под замок ее посадил. Девка на выданье, а в заводе только и разговоров про екатеринбургское похождение Артамона, молва, что волна до берега, всегда добежит...

Может, жить по уму, по хозяйству, как все люди живут? Дашка справная девка, нарожает помощников, на корову скопить, родительская изба еще век про́стоит... Чего ввязался, куда покатил?

Он склонился к ручью испить водицы. Из легких прозрачных струй глянуло на него, трепеща, усталое бородатое лицо, будто крестный его, а то и постарше еще. «Ничего себе, таким-то баским и предстану перед пермяками». А ведь встретят опять, как в Кунгуре встречали, демидовские-то люди заранее весть разнесли о путешествии.

Бросить все, возвернуться? Выдюжу ль до Московии? Да и что там? Дядя бьется всю жизнь, грудь себе надсадил... Жить, как все... Избу вон запустил, ни детей, ни курей. Дарья станет любить...

Луна большой, начищенной до блеска серебряной медалью висела над лесом. А ручей говорил, пел ручей, жил...

Красны дни на веку одни

[1801 года, месяца сентября, в 19-й день]

● — Скажи, мон шер, отшего столы опрокинуты, разве уже состоялось укощение тля народа?

Покрутив колесико перламутровой зрительной трубы, вдовствующая императрица Мария Федоровна осматривала из царского павильона Сокольническое поле, столь пестро украшенное к народному гулянью в честь коронования ее сына Александра. Что́-то он сегодня бледен не в меру... Поводя трубой по дальним полянам, высоким покачивающимся мачтам с флагами прибывших держав, она отметила преогромное стечение простолюдинов, мещан, купцов, духовенства, ведь только в канун коронации в Москву въехало одиннадцать тысяч экипажей, в дополнение сегодняшним утром прибыло из окрестностей сто тысяч крестьян... Что это — старание устроителей, любовь к ее сыну, ожидание милостей от молодого императора? Оторвавшись от окуляра, она вновь окинула взглядом блестящее окружение Александра и зябко поправила на плече мантию, близоруко глянув на нелюбезную сердцу невестку, ставшую после возложения короны как бы выше ее, Марии Федоровны,— ничего не скажешь, величественна в своем пышном белокружевном одеянии, но — ни короной, ни горностаем не скроешь — по-прежнему глупа в своем презрительном, гордом молчании...

Не по нраву пришелся Марии Федоровне и новый нюанс, внесенный сыном в коронационный ритуал. Зачем, зачем понадобилось ему коснуться короной чела Елизабет? Ведь когда венчалась на царство она, Мария, ее супруг, царствие ему небесное, лишь подержал над нею, коленопреклоненной, свою корону, прежде чем короновать ее, никаких касаний... Слаб Алекс для престола, слаб, душа его воску подобна. Ах, каково-то будет теперь ее, вдовье, положение? Ведь три дня назад в последний раз проехала она в карете с короною на империале, запряженной восьмеркой любимых белых лошадей. Шталмейстер, гайдуки, фрейлины — все это останется, но — корона на империале... Сегодня она уже украшает карету русской императрицы Елизаветы Алексеевны... Что же, надо направить свои помыслы на утешение сирых, болезных и нуждающихся. В этом ее уте-

шение, этим она укрепит к себе всеобщую любовь, недаром уже нарекают ее при дворе министром благотворительности. Впрочем, неизвестно, что будет с ее жалованьем, едва ли Алекс сохранит за ней миллион, положенный Павлом Петровичем, а министр без миллиона...

— Маман,— негромко произнес Александр,— не сочтите обидным... в сей торжественный момент я хочу сказать вам...

Он хотел сказать ей, что придется умалить сумму, так как царский миллион полагается новой императрице. Сказал же:

— То жалованье, которое было положено вам в бозе почившим батюшкой, останется за вами навсегда.

Мария Федоровна, лишь слегка кивнув головой, оторвалась от трубы и с несколько капризной, даже девической улыбкой напомнила сыну слова, произнесенные митрополитом в Успенском соборе:

— Великодушный Государь, с помощью небесною подвиг твой да будет удобен, бдение твое будет сладостным, попечение будет успешно.

Александр слабо улыбнулся в ответ. Это была ее первая победа над вновь возвеличенной государыней, и Александр был доволен, что сумел смягчить переживания матери.

— Так отшего же пусты столы, Алекс?

— Да, разве не приготовлено угощение?— повернулся император к адъютантам.— Откуда сей хаос?

— Видите ли, ваше величество,— срывающимся голосом, как будто сам и был виноват, доложил адъютант,— у одного из солдат в бригаде церемониймейстера преждевременно выстрелила ракетница, что в народе сочли за сигнал к пиршеству...

— Ах, вот что,— как бы рассеянно произнес царь,— маман, глупый солдат, оказывается, не вовремя подал сигнал.— И тут же, обернувшись к адъютанту:— Так кто ответствен за церемониал?

...Вызванные в Москву крепостные Кузнецовы, вначале Егор, а за ним на самокатке и Артамон, одолев нелегкий путь, разместились на постой в горенке демидовского кучера Михея. Вскоре Николай Никитич, только что вернувшийся из заморского путешествия с красавицей женой, соизволили сами произвести осмотр дрожек и осмотром остались весьма довольны, особенно музыкаль-

ными писсками, исполняемыми на ходу. А затем, кашляя и долго отсмаркиваясь в батистовый парижский платочек, хохотали Николай Никитич над самокаткой и бойкими выкрутасами седока Артамона. И молодая графиня серебряным колокольцем заливалась и даже в ладошки хлопала.

— Ах, что выделывает, ну насмешил, ну потешил, каналья!— нахохотавшись вволю, понюхав табаку из табакерки и звонко защелкнув крышку, сверкнувшую дорогим изумрудом, Демидов положил руку на плечо Егора Кузнецова.— Жди, Жепинский. О цене пока не говорю. Объявляю тебе свое спасибо за труды твои...

Егор хотел уж было бухнуться в ноги хозяину, молвить о воле.

— Э-э, не надо, я понял тебя. Не исключено... А пока вас будут кормить, в бане с дороги отмойтесь. Ба, да ведь вы здесь без малого полмесяца, дармоеды! Ну, не дуйся, через неделю свидимся, дрожки держать в порядке, чтоб ни пылинки, и самокат — тоже. Михеич, укажи девкам украсить спицы у самокатки алыми лентами. Да смотри, старик, чтобы племянник в столице не избаловался!

— Он трезвенник, ваше сиятельство.

— Знаю я вас!

А столица готовилась к торжествам. Прежний царь не то скоропостижно преставился, не то, шептали, оглядываясь, удушили его собственным же шарфом, грех подумать, не с согласия ли сынка... Однако полгода уж прошло, ждали в Москве, Петербурге и губерниях манифеста желанного — об освобождении от рекрутского набора на год, о прощении долгов, недоимок и штрафов. О воле поговаривали!.. Известное дело, каждый новый правитель на Руси начинал одинаково: наследователя обмарать, самому в глазах подданных возвеличиться.

Егор с Артамоном кормлены были отменно, нечего роптать, выдали им порты новейшие, сапожки хромовые, поддевки плисовые. Особенно приглянулась Артамону синяя суконная сибирка, эх, хорош кафтан, видела бы Анюта...

Ходили тагильцы по первопрестольной без дела, глазели. Егору Григорьевичу было не впервой, немало пожил он здесь, когда привозил прежнему хозяину модель профильной машины железоделательной, когда с немцем Шталмером соперничал, сколь уж лет прошло,

без малого десяток... Приумножилось народу-то в Москве, что тебе муравейник в бору: один — туда, другой — сюда, третий — спьяну ли, сдуру через заплот сигает. Да и как тут не одуреть: люд галдит, колокола звонят, лошади из дышла рвутся — почитай, вся Расея собралась. И Вятка — хлебу матка, и ярославцы-красавцы, кои у сестрицы родимое пятно смывали, смыть не могли, и ростовцы толстоухие, и зубовские купцы, которые таракана на Волгу поить водили, и Питер все бока вытер, а вот и земляки-пермяки солены уши — прут и прут, прут и прут. Веселье гудет по Руси, венчается короной новый царь-государь, добрый, сказывают, дворянин, заступник, слышь, народный Ляксандра Павлыч Романов!

Надоело Егору без дела по городу шляться. Удалился он в покои Михеича и подолгу вел тихие беседы с престарелым отцом кучера, призывающим Егора идти с ним в старообрядческий скит, померeть в очищающих молениях.

Артамон же, впервые попавший в Москву, да еще в такие-то шалые дни, без устали шастал по улицам и переулкам. Волдыри и мозоли, натертые за странствие, почти уже не мешали, лишь далекая боль в скуле напоминала порой о встрече с лесными злодеями. На голову возвышаясь над пестрой толпой, глазел Артамон, как украшают арбатцы персидскими коврами, златотканой парчой, китайскими цветастыми шелками свои балконы и окна. Эх, Анюту бы сюда, ходили бы они рука об руку, любовались храмами да богатыми хоромами, торговали бы у коробейников стеклярусы, угощались за пятачок у румяных сбитенщиков, и купил бы ей Артамон сережки серебряные да колечушко с бирюзой.

Особенно дивились в толпе посольским иноземным экипажам, разукрашенным не по-нашему, кучерам и пажам, расфуфыренным, взирающим с верхотуры до того напыщенно, по-павлиньи, что казались горделивей и величественней своих хозяев, поглядывавших из-за шторок. А ведь дома-то, поди, такие же слуги, лапотники сермяжные, а тут на тебе...

Артамон не боялся уже заплутать в великом городе, два каких-то рязанских мужика, все знавших, все слышавших, так и крутились вокруг него. Может, поглянулся им долгий молчаливый уральский парень, может, на грошики его позарились.

— Эй, рязанцы, это вы, что ли, солнышко мешком

ловили?— поддразнивал Артамон попутчиков. Угощал их пирогами с визигою, то орехи волоцкие брал, то коврижки покупал сахарные.

— Эх, выпьешь сбитень, не будешь битым!

— Хлеба не станет, будем пряники есть!

— Доставай, щеголек, денежки да покупай девкам орешки!

Шумна Москва, весела, да и сурова, город наособицу. Что тагильский заводишко — контора да демидовская колонная хоромина. А здесь! Кто только не проживает во всех этих ухоженных, с парадными крыльцами, с навесными крендельными балконами домах — и генералы, и архиереи, и помещики, и заводчики, и купчины, а уж разного чиновного люду — не счесть... А знают ли они, московские, откуда прибыл вон этот гранит тесаный для подстенья, кто с искусством превеликим выковал железо для парадного, да ведь и хлебушко не растет на арбатских-то подворьях. А слыхали ли они, московские, как не токмо издыхают в заводской гари здоровые молодые мужики, но и безрукий суворовец Макар, и обезноженный под Фокшанами Емеля Порфирьев и те на лето в углежоги подаются... Да узнают ли когда вон те милые детки, что прогуливаются неспешно с нянечкой и мопсиком, что заводским приписным ребятишкам после работы на подхвате и поиграть-то неможется? И сколько же этой превеликой Московии на шее российской? Петербург-то, бают, не мене будет. А все конторы губернские?.. Хотя опять же как без Московии-то, ведь кто-то управлять державой должон, одному-то царю едва ли под силу. Но уж больно велика по России Московия, будто еще одна наособицу держава в державе...

— Артамон,— дергали рязанские за кафтан,— Артамон, угости шанежкой.

— Ох и обжорная вы команда! Хоть бы сами разок попотчевали!

— Рассчитаемся... Хороши шанежки с пылу-жару... Артамон, а вот ты вразуми нас, как это удалось на Ивана Великого крест водрузить?

— Пошехонцы обдумали! Заарканили они колокольню-то, поднатужились малость да и наклонили. А уж наклонивши, крест святой и воткнули, так и красуется с тех пор в небесах.

— Ишь ты, а мы сами и не дотумкали бы...

А уж к ночи-то, к ночи-то было! Вспыхнул ярко великий собор, разноцветными фонарями убранный. Стены и башни будто уральскими самоцветиками украсились. С Воробьевых гор тыщи искр в темно-бархатные небеса ударили.

Высыпала на фейерверк поглазеть вся дворня демидовская. Сам хозяин с зябко зевающей супругой стояли впереди, освещенные огнями. И когда на темно-лиловом осеннем небе без поддержки и опоры чудно воссиял золотой царский вензель, сказал Николай Никитович, дыша ароматным италийским вином и раздавая дворне новые серебряные рубли:

— Молитесь, люди, и послушайте вашего нового царя, и воздастся вам!

И хоть получил Николай Демидов от покойного императора титул почетный камергера, с радостью вздохнул он и перекрестился, как бы освобождаясь от страха и давящей силы сумасбродной того, кто, по выражению Карамзина, лишил награду прелести, а наказание — стыда.

И перекрестились люди на вензель, солнечно воссиявший, веря в судьбы облегчение. И пробормотал, тряся голубым пушком головы, престарелый Михеича отец, которого также по случаю вывели на воздух, держали его под руки Егор Кузнецов и стряпуха демидовская Матрена:

— Кому царь, а нам, поди, опять дерьма ларь?

— Ох,— испуганно заозиралась Матрена,— что малый, то старый, не разумеет, что вещает.

Артамон с ребятней вскарабкался на лесину.

— Отсюдова виднее, еге-гей! Во здорово, во палят!

Эх, жеребец неразумный,— подломилось дерево, сверзился Артамошка на землю, а за ним и ребятешки, что яблоки, посыпались. Покачал Егор головой: женить балбеса, женитьбой обуздать...

Вот, оказывается, для чего держал у себя до поры до времени Николай Никитич двух тагильчан.

Напялили на Егора кафтан зеленый с серебряным позументом и агромадный картуз с какой-то неимоверной кокардой, с галунами и турецким султаном. Егор не хотел было одевать сей наряд греховный, но, приглядевшись и не узрев ничего бесовского, а лишь переплетение листьев дубовых да лент муаровых, оторвал

султан и, махнув рукой, украсил себя оным диким колпаком, оставшимся, видать, от шутовских увеселений, нередких в барской усадьбе.

Распорядитель Сокольнического гулянья самолично проверил готовность потешного шествия. Полагалось демидовским мастеровым представиться со своими экипажами тотчас после песельников, рожечников и гусельников. По указанию Демидова Егор сидел на левом сиденье дрожек лицом к почетному императорскому возвышению. Матрена в кумачовом сарафане и парчовом кокошнике, убранном речным жемчугом, втиснулась на правое сиденьице, отчего крутила головой и переживала, что не разглядит толком во время проезда царскую чету. Михеич же, как и полагается кучеру, восседал на облучке, отдуваясь и потея в искусно наклеенной кудрявой бороде, за имением своей жидкой и непотребного виду.

Толпа, удерживаемая солдатушками, напирала на жерди, кое-где и надломив их, время от времени взвывала, гоготала и кричала «ура!», подкидывая сотни шапок, хвойных веточек, а порою и каких-то пестронарядных не то кукол, не то всамделишных отроков, малохольно размахивающих руками и ногами. Не вовремя разоренные столы солдаты спешным порядком стаскивали в сторону, туда, где правильными рядами стояли старые и молодые березы, украшенные румяными яблочками. Да и угощенье, надо отметить, еще оставалось, не успели людишки добраться до быка с золочеными рогами, печально возлежащего жареной горой на самом верху рундука, ни до барашков и петухов, украшенных белыми, синими и розовыми развевающимися лентами и вознесенных на высоких столбах. Добрались бы и до петухов, до корзин со снедью и сапог, да оказались столбы на последнем аршине хитро смазанными склизким салом, с ходу-то не одолеешь... Главного ждала толпа, не столько обозрения и слова царского, сколько того момента, когда выбьют по команде затычку в огромной бочке, укрытой красной камкой, когда забьет охраняемый до времени винный фонтан, а также, если верить, брызнут струи белого и красного вина из шести фигурных башен в огромные медные чаны. То-то будет потеха! Куда там канатным весоплясам и балалаечникам!..

Вот уж и шуты прокувыркались пред царским павильоном, и скороходы на ходулях прокандыбачили,

один понарошке, взаправду ли свалился, вовремя оттащили скорохода в сторону...

Сразу же на проход палешан выпустили, преподнесли палешане венценосцу икону с ликом святого Александра Невского, украшенную серебряным окладом и жемчугом, туляки привезли в подарок отменный ружейный набор, ростовчане же положили у ног молодой царицы финифтяные украшения.

Нижний Новгород, как всегда, отличился: двое купцов несли над головами золоченого державного орла, из клюва коего сыпались серебряные монеты, звеня, разлетаясь и падая на огромный позолоченный же поднос, который ловко удерживал над собой третий дюжий купчина.

Вот и песельники с гуслярами двинулись...

— Демидовский экипаж, готовьсь!— раздалось над ухом Артамона.

Увидел Артамон, как снял крестный нелепый картуз, истово перекрестился на облачко, взглянул потом назад, на племянника, готов ли мол, коротко махнул ему тяжелой рукой: не трухай, Артамон, не отставай, главный наш час наступил.

Щелкнул Михеич хлыстиком, ойкнула Матрена, ухватившись за поручень, двинулись дрожки по полю. Выждав мгновенье, надавил Артамон на правую подножку самоката.

Не сутулясь восседал Егор на бархате, вглядывался напряженно в царскую свиту под дорогим балдахином. Хоть не близко еще было до коронованных особ и окружения, сузив глаза, заметил он белый мундир своего барина, шляпу его треугольную со страусовым плюмажем, алую ленту и даже орден Станислава, казалось, разглядел — сроду так зорко не видел. Склонившись слегка и подавшись вперед, докладывал Демидов молодому царю. Сумеет ли суть изложить, чай, не простые столбовые дроги катятся по полю: любовь да уменье, вложенные в них, разве расскажешь, верстомер сыздаля разве узришь?

И еще об одном сожалел Егор Кузнецов — бурлила толпа, гоготала, ухала — пропала вся музыка, ничуть не слыхать. Даже и до него-то, Егора, доносилась чуть, а уж до свиты... И Артамошку не вовремя бес дернул фигуры выделывать, вот и мельтешит, вычуряет, смешит толпу бестолково...

Однако только дрожки сделали полукруг и ловко Михеич направил лошадок, вывернув напрямую к тому пугающему и притягивающему павильону, как взмахнул устроитель перчаткой, взмах его тут же помощники жезлами кругом повторили — смолкла толпа.

И услышали все чудную мелодию, исходившую откуда-то изнутри дрожек, где дышал мехами орга́н, незаметный для взора. И увидел Егор Кузнецов цареву улыбку и направленные в него колкие блики лорнетов, устремленных на дивное творение мастеровых демидовской вотчины. И лазурным детским восторгом исполнились взгляды великих княжен. И довольно было покачиванье перьев на шляпе Николая Никитовича Демидова.

Не успели в павильоне одну мелодию прослушать, как нажал Кузнецов на рычаг — и другой мотив взвился, что погромче, свой мотив, заводской, гулевой... Вновь рычаг перевел — гимн ударил над полем.

Артамон уже небойко тащился за дрожками, усмиряя дурной самокат.

— Позвольте еще поясненье, ваше величество... Вероятно, главное достоинство дрог не в легкости конструкции, оригинальности сидений, ларце золоченом и сих наивных росписях — здесь мои люди далеки еще до италийских живописцев. Но смею обратить ваше внимание на верстовое устройство, что в заднем фасаде вмонтировано, вещь первейшая и оригинальнейшая...

— В чем именно?

— Ваше величество, сии круги, и циферблаты, и стрелы разные мой мастер придумал для измерения пройденного пути, что, вероятно, и путешественнику небезынтересно, и в ратном деле важно.

— Как это хорошо! Елизабет, тебе понятно: округлость колеса... проделывает путь, определенный заранее, а ось, вращаясь, передает все в цифрах.

— Чудесная коляска, Александр.

— Маман, как вы считаете?

— По красоте бывали и изящней. Но устройство... Как имя крестьянина, генерал?

— Мгм, кхе... Егором Кузнецовым его величают, ваше императорское величество, он многое горазд придумывать...

— По прозванию мы боле известны, царь-батюшка,— поклонился до земли стоявший за спиною хо-

зяина Егор, поклонился да прозвище-то свое и произнес.

— Как, как?— вскинул император брови и уголки губ, оглядываясь на Демидова.

— А...— как бы извиняясь за крепостного, пожал плечами Николай Никитич,— причуды светлой памяти Акинфия Никитича, он клички страсть как любил присваивать.

— Ну выбрал бы что-нибудь поприличней,— разыгрывая смущение, пропел император.— Кстати, кто это за дрогами?

— Племянник изобретателя — Артамон, также из моих тагильских умельцев, спомоществователь своего крестного отца. Сподобился на оной самокатке проделать путь через все наше отечество, чтоб прибыть к коронации ваших величеств... А ну, Артамон, изобрази-ка уменье!

И пошел Артамон кругами по полю. Толпа, устав от долгого молчания и ожидания хмельных угощений, вновь заревела в восторге. И крутил он подножки, как никогда не кручивал! По большому шел кругу и по малому, в сторону руки раскинув, вдруг отпускал правило. А то ноги наверх задирал, за седельце уцепившись.

В павильоне меж тем разговор продолжался.

— А каково сейчас железо уральских заводов, хорошо ли?

— Отменно, ваше величество. У англичан железо мерзкое, но они, имея способ делать оное дешевле, всюду делают нам подрыв. Под вашей монаршей волей и Англию за пояс заткнем, старый соболь не подведет. И железо хорошо, и умельцы старательны.

— Да, говорят, больно жмешь на умельцев, Николай Никитич, что и в престольные праздники работные люди не имеют отдыха?

— Наговоры, ваше величество. Было однажды, так ведь для их же пользы, не предайся они труду, ударятся в пьянство.

Император, поморщившись, перекинулся взглядом с седовласым статским, не участвовавшим в разговоре.

— Что есть Георг Кузнецофф?— вступила в разговор Мария Федоровна.— Имеет ли он обучение?

— Никакого, государыня, отец его из вечноотданных заводу, помнится, из Ярославского уезду крестьян...

Одним прилежанием построил Кузнецов для наших заводов профильную машину и водоотливное устройство. На многие выдумки мастак, и воспитанник в него пошел.

— Дрожки нехороши для российских дорог уже тем, что не имеют надежного укрытия от дождей,— попыталась поддержать разговор Елизавета Алексеевна.

— Утифительно богата Россия талантом,— как бы не слыша невестку, проговорила Мария Федоровна,— ведь человек без знатного образования сотворил сие своим умом! Алекс, как ты считаешь: достойны ли оные изопретатели вечной воли?

— А что, Николай Никитич, можешь ты продать мне своих крестьян или сам дашь им волю?

— Ваше величество!— преклонил колено Демидов.

Это была вторая победа Марии Федоровны над молодой коронованной особой.

— Э... Георгий,— приподнял Александр маленькую белую руку,— благодари нашу родительницу государыню-императрицу: за отличные труды и искусное мастерство будешь пожалован со своим семейством вечной волею.

Рухнул Егор Кузнецов на колени.

Демидов сделал незаметный знак шпагой, Егор понял его. Молодо встал, лошадь взял под уздцы и, подведя дрожки поближе к Марии Федоровне, вновь опустился на колени, промолвил:

— Не откажи, матушка-государыня, принять в дар то, что более дюжины лет творил по самоохотной выучке и любопытному знанию.

Стоявший не в первых рядах свиты князь Петр Васильевич Лопухин затянул еще один узелок на батистовом платке: не забыть крестьян демидовской вотчины, указать секретарю внести их в особый реестр.

Отчего этот человек может решать нашу судьбу? Кто он, бледный и узкоплечий, мой одногодок? Вправду ли помазанник божий? Баба у него лучше, что ли? Да моя Анюта поядреней будет, у этой и грудка куриная, и росточек помене. А вот ликом — ну что те Анютка... Зачем встал дядя на колени? Париться в дурацком колпаке, ехать сюда через всю Россию... А толку? Царю поклониться? Во... поднялся, повел лошадей... Опять на колени, да уж не пал ли, не худо ли ему в евоные-

го годы... Отчего я должен, как заморский зверь, выкобениваться на самокате? Ужель одно устройство оного уже не благо? Ладил для Анютки, а получилось... Будь воля, да поднатужиться, эх, наковали бы с дядей сотню самокаток. За сотней тыщу, затем — мильен. Эх, поскакали, поехали бы люди работные!

Будто вздыбилась вдруг Сокольническая дорога да и поднялась сама ли собой, по какому ли велению не больно высоко, но по-над липами, опиралась она на утолщившиеся столбы и башни те винные, пролегала над полем и дальше — над городом, над дубравами золотистыми, над речками бирюзовыми. Оглянулся Артамон. А сотни-то самокатов и катят за ним по дороге. Правила цветками украшены, седельца парчою покрыты. Не просто уж спицы мелькают стрекозами, крылья в ступицы вделаны, крылья птичьи расправлены трепетно. И у них, Артамона с Анютой, белые крыла за спиной. Все порознь шуруют, они же вдвоем. Анютка, смеясь, облака раздвигает, жмется ближе, мешает Артамону, целует, милует и в бороду жарко хохочет.

Ходил самокат кругами, лица, руки мелькали, в голове помутилось. Гудела толпа:

— Ишшо, ишшо покажи! Пробуй, паря, без рук!

Больше всех рязанцы вопили:

— Причитается с нас, Артамон!

Издали увидел Артамон, как царские конюхи в красных кафтанах повели лошадей, покатили дрожки куда-то за павильон. Дядя Егор, Михеич, Матрена, поклонившись царю, пошли восвояси к кустам, откуда вначале тронулись. «Да ведь и самокатку отберут!»— вспорхнуло в голове Артамона...

— Сколько лет крепостному?

— По годам вам ровесник, ваше величество.

— Также — волю ему!

Князь Лопухин потуже затянул узелок на платке.

Отберут, отберут... В последний раз, разогнавшись шибко, вздыбил Артамон самокат подобно коню и — на заднем одном колесе. Так и ехал. Заревела толпа...

А к павильону уже двинулись рязаночки, наряженные пастушками, по прежней моде, угодной императору Павлу, эх, губернатор рязанский, садовая твоя голова...

Несли девушки букетики анютиных глазок, чайных роз и осенней листвы. Вот уж выплыли они пред царские очи, положили букеты, гирлянды, рассыпали по полю лепестки, с песней поплыли... Ахнула только толпа, и в павильоне означилось шевеленье. Вдруг помнилось царю: не портрет ли покойного императора изобразили рязанцы? И вздохнул, успокоившись, и похлопал перчатками, вздернув губ уголки. Из тысяч цветных лепестков проявился лик его любимой великодержавной бабки Екатерины. Ай, хитер губернатор в Рязани!..

Не поспешая двинулся прочь Артамон.

Счастливый — к обеду, роковой — под обух

[года 1801, месяца октября, в 31-й день]

● Реки не стали, а уж пустились умельцы в обратный путь, нет чтоб обождать: через месяц обоз пойдет на Урал. Притомилось Егору в Москве, в завод, домой, потянуло. Здоровы ли бабы, кто дровец им наколет? Отелиться корова должна... Да и что говорить, всякий дом хозяином красен. Мыслилось Егору, что по приезде и волю объявят, стало быть, кузницу расширять. Новые думы так и крутились в голове, небывалой машины подъемной рудничной модель складывалась... Знал Артамон: коль втемяшится дяде, не разубедишь его. Да и дворня московская стала поглядывать на тагильских как на дармоедов. Хоть и не сидели они без дела — на конюшенном дворе все кареты, кошевки, возки к зиме осмотрели, наладили,— все ж барин через управителя прямо дал им понять: хватит хлеб даровой здесь жевать, сполна расчет в тагильской конторе получите, вот вам в дорогу и — с богом.

Ладно, сперва Михеич на господских гнедых верст триста пропер. Распрощались с Михеичем, может, в жизни уж больше не свидеться, дальше с ямскими поехали. А с ямскими — беда. Хоть имелись деньжонки у дяди, не обидел Демидов, но на станциях первым дорогу — степенным, высоким чинам и воинству, жди простолюдин, тут деньги не в счет.

Перед Пермью засели совсем. Все дороги под снегом. Ранний рыхлый снежок, как пошел с покрова, будто из прорвы валит. Оно вроде и на руку путешественнику,

да зимники пока не укатаны. Люду скопилось в ямской! И решили Егор с Артамоном пешим ходом добраться до города. Тридцать верст прямиком — эка невидаль. Самокат вот мешает, да куда его? Кабы лето — седлай, а теперь вот кати, как конька малолетнего, рядом, хоть котомки везет, жрать не просит, и то...

В Пермь пришли как раз к обеду в доме старинного знакомого, дальнего Егорова сродственника Самойлы Абрамова. Подоспели. Угощали хозяева гостей свекольным супом из зайца, капустными и грибными пельменями. Извлек Самойла и штоф старокиевской, но сам не пил. Егор Григорьевич тоже грешить не стал. И Артамон отказался вначале. А потом со старухой Абрамовой с удовольствием по паре зеленых стаканчиков дернули. Веселее беседа пошла. Повествовали более гости: Артамон взахлеб, Егор, оттаивая после чая, урывками и подсказками — о царе, о Демидове, о Москве да о чудной люминации.

— Трудился я, Самунька, не зря,— собирая в ладонь крошки, проговорил Егор,— весь век о воле мечтал, бумага в контору прийти должна, не ведаю, дождусь ли.

— Да ведь зело крепок ты, Егорша, что бога гневить.

— Не то, Самунь, не то, хезнуть стал, кузнечная копоть на душу налипла... Сам не дождусь, родня возрадуется, наследником Артемона оставлю, кузенку расширим... Жалко, ветер в башке у него гуляет, а ведь чертежи сочинять умеет, бабы да винцо на уме, на моду стал падок, может, своим домом заживет...

— Что ж,— хлопнул ладонью по колену Самойла,— на Урале в невестах никогда нужды не было, главно, чтоб справная баба была, помощница мужика, да робят рожала. Да ведь и вспомни-ко нашу-то молодость, Егорша...

— Было, было, прости господи... На руки Артамоновы больше надеюсь... Да и за сына он мне, без него, можа, и дрожки к коронации не поспели б. А самокат-то евоный видал?

— Видал, как не видать! Мою-то трехколесницу не запамятовал? Обскакали вы меня, быстродумы, самокат-то Артамонов, думаю, вещь первейшая в мире.

— Пойдем-ко, молодец, к свету, я тебе погадаю,— достала старуха картишки,— сущую правду скажу...

Бледен стал Артамон. Разговора не слышал. Вызнал он у хозяйки про волковский дом. Оказалось, уж свадьба-то сыграна.

— Для дамы, для дому, для сердца...

Легла солнцевласая Анюта, как и прежде, на грудь своего короля, слева выпала пиковая семерка, невеселая, справа хлопоты сулил трефовый валет.

— Чем путешествие кончится, чем сердце успокоится...

Под шумок вышел во двор Артамон, на ходу кушаком подпоясался, на самокате на улицу выкатил. Губы кусал, еле слезы удерживал. Эх же, Аннушка... эх, Анюта-душа! Не сумела супротив родительского благословения восстать. Да известное дело — богатство. Хотя, старуха говорит, не шибко расщедрился Волков, выделил сына из дому, отдельно молодые живут... А мне-то, Анюта Петровна, воля идет!.. Воля идет, да на сердце скребет, без любви-то твоей и волюшка сладка ли будет?

Дом стоял над рекой.

А умысел у Артамона простой: хоть одним глазком Анюту увидеть. Увязалась за ним ребятня, собаки затявкали. Не успел он до Волковых домчать, издали видит: из калитки прямехонько к речке Анюта спускается. Шубейка с бобровой опушкой, из-под пухового плата — золотые Анютины волосы, будто даже теплее стало вдруг. Коромыселко зеленое, сосновые ведра янтарные...

Убыстрил Артамон самокат, вмиг свалился, к радости ребячьей. Обод скользит... Вновь вскочил. Надо будет шипы понаделать либо пенькою колесы опутать... Не успел Артамон удержаться, вниз по скату загрохотал. Добро бы по снегу, а то по камням, запорошенным снегом...

Видать, шибко зашибся, не сразу и понял, что стряслось. Близко-близко Анюта склонилась. Все милует его, милует и плачет. Голову Артамона на колени положила, сама на снегу сидит. Рядом ведра сосновые, а водица-то уж ледком подернулась.

— Помнишь, Анюта, на бочке?..

— Как не помнить... Катились вдвоем, и цветы, и облака...

Разбирала Анна Петровна Волкова мокрые от снега кудри дружка своего, целовала его, ненаглядного.

— Как же будем с тобой, разве можно нам врозь?

— Обрученная я, Артамон... Оглянись.

Он глаза перевел. На бугру стояли мужики. Враз вскочил. На Анюту взглянул. А она ему в руки коромыселко сует. Впереди мужиков, хоть прежде не видел, понял: Волков сам в пимах расписанных, рядом — старший братан. Кол в руках и топор.

Коромысло Анюта сует...

Жалует царь,
да пожалует ли псарь

[года 1804, месяца мая в 28-й день]

● Князь Петр, довольный тем, что еще одним, хоть и малым, делом угодил императору и вдовствующей царице, игриво подергивая крупной головой и пританцовывая, легко скользил полными, в новейших иссиня-белых лосинах ногами по золотистому инкрустированному паркету своего кабинета и, даже почти напевая (таково уж было его настроение и ощущение нежаркого, нежного петербургского утра), обращаясь к домашнему секретарю своему, а вернее сказать, письмоводителю Вонифатию — наградил же бог имечком,— и глядя куда-то в окно, где темно-зеленые липовые кущи звали под сень свою посидеть, помечтать, прогуляться с фрейлиной Васильчиковой, склониться к ее прозрачному розовому ушку и... блажен, подобится богам, с тобой сидящих в разговорах, сладчайшим внемлющий устам, улыбке нежной в страстных взорах... ну и так далее... м-да, так вот, напевая и пританцовывая, проговорил министр юстиции его светлость князь Петр Васильевич Лопухин упомянутому уже Вонифатию:

— Воник, или... не дуйся, дуся, как тебя лучше сегодня — Фантик? Фантик, приготовь перья, отправим нынче полдюжины писем... и первое, пожалуй, в Берг-коллегию... да министру финансов графу Васильеву. Увижу ль я сие — и вмиг трепещет сердце, грудь теснится, мда... как хорошо, что сегодня неприемный день,— пожевал князь стареющими губами,— итак, Нифантино, начали. «Милостивый государь мой граф Алексей Иванович! Алексей Ива-но-вич...» Далее с красной строки... «Государю Императору угодно было высочайше повелеть купить у Господина тайного советника Николая Никитовича Демидова принадлежащих ему из при-

писных к заводам Пермской губернии крестьянина Егора Кузнецова, приватно прозывавшегося Жепинским...» Улавливаешь, Вонифатий, как Демидовы своих холопов нарекают, а ты, дуся, на меня обижаешься... Так, это мы написали... «Да, с женою и воспитанницей Настасьей, а также...— Князь Петр поворошил бумаги, отыскивая нужный формуляр,— а также племянника его Артамона с женою и двумя малолетними детьми, из коих Жепинский представил Его Величеству свое изобретение — дрожки...» Успеваешь, Воня? То-то! А что представил этот Артамон? Правильно, хе-хе, занятное было зрелище! Ну-ну, не отвлекаться!.. Исполняя высочайшую волю, адресовались мы к господину Демидову в Париж и требовали от него цены за оных крестьян, на что он дал знать мне, что позначенных крестьян с их семействами делает вечно свободными единственно из того, что они делами своими угодны Государю. О таковом отзыве я имел участие докладывать Его Величеству, на что Государь объявил для господина Демидова Его Монаршее благоволение.

Теперь нужным нахожу о всем оном известить Ваше сиятельство на тот конец, чтоб Берг-коллегия о воле, данной тем заводским крестьянам помещиком Демидовым, была ведома...» Далее — мой поклон и уважение графу и прочее...

И письмоводитель князя крепостной Вонифатий Прошкин быстро и умело вывел фигурные буквицы: «Пребывая в протчем совершенном почтении и преданности, Милостивый государь мой, Вашего сиятельства покорнейший слуга Князь Лопухин».

— Ну как, хорошее письмо получилось, а, Вонифатик? Слушай, а как тебя матушка звала?

— Ваней кликали-с... Отличное письмо получилось, ваша светлость.

— Что же в нем особенно хорошего?

— Как же-с, такое благоволят людям-с!

— Э... не то главное. Ты погляди, Ванюша, как я-то дело обстряпал. Наш монарх соизволил купить у Демидова оных крестьян и дать им волю. А я-то зачем? Вспомни, депешу в Париж отправляли. А перед этим кого запрашивали?.. Ну!

— Февраля сего года управляющего Петербургской конторой генерала Демидова, господина...

— Кого же, ну?!

— Господина... Маресьева, ваша светлость.

— И что же нам ответил сей упрямый господин?

— Один момент-с, ваша светлость.

Вонифатий выдвинул ящичек красного дерева и начал живо перебирать в нем кремовые карточки. Выдернув одну, он тут же подошел к шкафу, достал нужный формуляр и, перелистнув его пару раз, прочел:

— ...По справе Егор Кузнецов, он же приватно Жепинский, знает механическое устроение заводских машин, но старостью здоровья от работы уже уволен. Управляя вверенными господином Демидовым делами, контора вечной свободы ни одному, ни другому дать не может, однако уповает, что за долговременную службу уволить Егора Жепинского господин Демидов не откажется. Артамон же по молодости лет не успел еще заслужить отличия в сравнении с другими, равно с ним работы исправляющими...

Вонифатий заметил, что князь вовсе не слушает его, а смотрит в окно и делает кому-то таинственные знаки.

— М-да, довольно, довольно, Нява, вот разошелся, заставь, говорят, дурака богу молиться... Не для того указал прочитать сие, а проверяю тебя в исправности содержания и ведения дел. Так и дальше поступай, бумага порядок любит. Человек может и отказаться от сказанного, а мы ему — раз формуляр! Чьей рукой подписано, под каким нумером зарегистрировано? То-то. Да, Вонифатий, не столь важно выполнить волю начальства, сколько предугадать ее. Ты думаешь, отчего печемся о воле сих тагильских, иных забот у нас мало? А вменил я себе, еще не будучи министром: припомнит царица сих демидовских крепостных, узрит однажды музыкальные те дроги, ей врученные, и вспомнит, а потом обратится к Александру Павловичу о судьбе тех, уральских... А я — чувствуешь, Вонифатий! — а я: «Извольте, Ваше Величество, на основании переписки с конторами и самим господином Демидовым...» Так надобно служить своему начальству, Вонифатий, мотай на свой юный ус! Демидов жаден, да умен. А царю и платить ничего не предстоит, и вольную как бы монарше жалует этим, как их... Умен Николай Никитич, не отымешь, ну что ему два холопа, из коих один на ладан дышит... А мы и того умней, и управителей его, упрямых ослов, обошли... М-да, обещанного, говорят, три года ждут. Быстро бежит время, Вонифатий, ведь уже три года прошло, как вос-

сел на престол наш благословенный монарх, кажется, на днях было... м-да. И силы наши уходят куда-то, оставляя одни неисполнимые желания, кои, увы, вечно молоды...

— Да, воля-с!— тихо воскликнул секретарь, перечитывая письмо.

— Что? М-да, ну а что им в воле-то? Вот ты скажи, Вонифа, ужели о том мечтаешь?

— Как не мечтать, ваша светлость.

— Глядите-ка на него! А зачем, позволь узнать, тебе воля, Вонифаня, зачем?

— Да как же зачем-с, ваша светлость, ведь воля, ну... это же во-о-о-ля!

— А для чего? Ужели ты ушел бы от меня? Тебе что, плохо: одет, обут, через год женю...

— Не, от вас не... А все же — воля! Ведь мы с Артамоном-то Кузнецовым одну школу начинали, окуньков и ершей из Гольянки таскали. Душа завсегда-с к воле рвется, яко ласточка в лазурь... Вольному-то и у вас слаще бы служилось...

— Дурак ты, Вонифатий, а умником, видно, прикидываешься, смотри не разочаруй меня. На воле ты первым делом сопьешься и примешь смерть где-нибудь на паперти либо под репейным забором... Давай-ка лучше выпьем с тобой фиалковой ратафии...

Князь дважды дернул серебристо-голубую ленту. Тотчас открылась дверь, и не по-будничному нарядный слуга — не любил князь Петр серости, хотелось ему в остатке быстротекущей жизни превратить каждый день в торжество и усладу,— внес слуга небольшой поднос с граненым графином и розеткой с персидскими сладостями. Поставив на столик, поклонившись, удалился.

— Ну что, Вонифатий, кто тебе на воле поднесет такое угощенье?

— Это не мне, ваша светлость.

— Эка, какой ты недовольный ныне, знать, Артамошкина воля раздразнила... А если — в рекруты? Ишь как лакаешь, пристрастился, скотинка, а на воле кто тебя попотчует подобным напитком? Ах ты, стервец, ах ты, Воник, ты и есть вонник!

И он больно ухватил письмоводителя за длинное ухо, пригнув его голову до самого стола, еще пристукнул лбом о столешницу.

— Ты чего, никак реветь вздумал? Нешто больно

тебе? Я же шутя. Просто уши у тебя как лопухи, оттого, говорят, и служишь мне исправно, наш предок еще при царе Иоанне Васильевиче за свои весьма великие уши получил прозвище.

— Не то что больно-с...

— Так что же?

— Обидно, ваша светлость.

— Это я-то обидно? Да благодари судьбу, что я выиграл тебя у Демидова! М-да, и что самое смешное — в простого русского дурачка...

Князь пригляделся к румяному лику письмоводителя, голубые глаза Вонифатия были полны слез и оттого еще более красивы. «Вот только уши у него... Может, укоротить? М-да, надо посоветоваться — в ухе, чай, и кровь-то не течет, вмиг лейб-медик укоротит Вонифатию уши...» Он постарался не смотреть на письмоводителя, а думать о тайном свидании с Лизой Васильчиковой, ведь приятней же, право, думать о Лизе!..

И, на прощание еще раз для порядку крутанув Вонифатию ухо, князь заскользил по паркету:

— Немеет речь в устах моих... по жилам хлад я ощущаю...— И, распахнув кабинетную дверь, повелел:— Перепиши начисто, Фатовоний! Остальные письма — после полудня!

— Артемошка!— дребезжащим голосом возопил Егор, уставясь в только что зачитанную Артамоном врученную в конторе бумагу.— Артемон, читай, читай еще, сукин ты сын.— И, обливаясь светлыми, с горошину, слезами, бежавшими по землистым морщинам, обнимая прибежавших на шум Акулину и Настену, совал, совал Егор в руки Артамона трижды обцелованную хрустящую государственную бумагу.— Артемон, да ты нешто не рад? Пошто молчишь-то? Артемон! Где ты пребываешь, блаженной?

Не ответил ничего Артамон. Только все глядел и глядел сквозь зеленоватое стекло, будто видел за ним, за стеклом этим, за избой и за лесом тот каменистый бережок, где лежал он, распластавшись, вместе с помятой своей самокаткой, где Анютка, склонившись, ласкала его кудри, мокрые от снега.

Розовый осенний листок бился о стекло.

Надеючись и кобыла в дровни лягает

[года 1808, месяца генваря, в 30-й день]

● Сидел Артамон Кузнецов под навесом своей кузенки. Уж который месяц не дымила кузница, не дышала. Почитай, осенью еще ушло в губернскую столицу прошение с жалобой. Сидел Артамон, смолил козью ногу, единый грех и остался, единое, в чем ослушался покойного своего наставника: «Картоха проклята, чай двою проклят, табак да кофей — трою...» Ох, дядя Егор, дядя Егор, крестный отец мой, был бы жив, не было бы этакого зла, не было бы нашему дому притеснения. Многим отличился ты пред барином, государем и отечеством, твоими трудами и молитвами еще держимся. А будь на ходу кузенка, разреши контора уголь жечь, ведь и он, Артамон, не остался бы в долгу — узорный-то кованый металл в столицу отбирали, для господских парадных шел, радовал приятностью своих изгибов Москву и Петербург... Самокатов-то в заводе кто понаделал? А лучше кузнецовских серпов да кос сыщи-ка в округе! И сколь еще разных задумок... Да куда там! Вот сегодня, с полдня, опять — по уголь, опять клянчи у конторы. А то еще в цех начнут дергать... До барина далеко, как до бога, а конторским кузнецовское дело поперек горла. И ведь как действуют: людишек натравливают, чужими руками меха проткнули, избу подпалить пытались...

Курил Артамон, глубоко втягивая заросшие щетиной щеки. Шептал крепко засевшие в память слова прошения, размышлял, отчего столь долго желанного ответа нет: или почта в пути затерялась, или, может, адрес указали неверный, или что неладно с исправником составили?

«В Пермское горное управление по 1-му департаменту от заводского исправника коллежского секретаря Тархова...» Адрес верный, и отношение — не от Артамона, от чиновного лица, это правильней. Цельный месяц косили по ночам для исправника, и к воротам его вензель ко дню ангела выделал Артамон из полосового железа: «...Вечно отпущенный на волю из крепостных господина Демидова крестьянин Артамон Кузнецов...»

Может, и кличку дядину вспомнить стоило? Надоело

постыдное прозвище! Мало родители с ним намучились? «...Крестьянин Артамон Кузнецов подал на мое имя прошение, утверждая, что по именному Его императорского величества соизволению в 1804-м году господин тайный советник Николай Никитич Демидов дал...»

Вот-вот, это — отлично! Не просто Демидов — по именному царскому соизволению! Пущай в департаменте зашевелятся. Не просто! «...Дал вечную свободу его покойному дяде Егору Григорьевичу Кузнецову, а равно и ему, Артамону, с их семействами, и что через министра юстиции Его светлости князя Петра Васильевича Лопухина объявлено поверх того монаршее повеление о их независимости. Об оном было сообщено в Пермскую казенную палату. Приемля такое монаршее благоволение, с особой признательностью, усердием и ревностью продолжил Кузнецов искусный труд в собственной кузнице при Выйском того господина заводе...»

Вот она, заковырка-то! Вот она, заусеница: «при Выйском того господина заводе...» Уцепятся губернские, не на своей, мол, земле. «... Беспрепятственно до того времени, покудова не сделано было ему насильственным образом притеснение. С 1-го числа октября прошлого 1806 года нижнетагильская контора вынуждает его отправлять господину Демидову и оной конторе по сту коробов угля и требует обязательной подписи, как бы он не был оставлен от зависимости господина Демидова по Высочайшей воле».

Это к месту! Демидов-то и в те поры не больно разбежался давать волю, только пообещал. Сколько крестный бумаг в Петербург переправил, дожидаючись. Да и вот ведь беда с той вольной-то, ведь как хранил ее Артамон, как берег! А по весне Ванька в комодец залез, изладили с робятишками корабль, грамоту ту на парус пустили... Едва спасли. Макар случаем заметил: тащит вешняя вода потешный корабль прямо к Гольянке... Сушили после бумагу на солнце, разглаживали, да что толку — сильно попортилась вольная: в паре мест проткнута, главное же, подмочена, радужными разводами пошла. Буйствовал Артамон, розгами всыпал Ваньке, Макар юркому голову меж ног держал. Едва Дарья отобрала первенца. Заодно и Дарье врезал, ладно, на полатях Кирюшка заверещал...

Вот теперь и прилипает контора, насмехаются, не было, мол, вам воли никакой, сами, дескать, выдумали.

Вот до чего дошло! А ведь в конторе имеется копия-то, притворяются токмо...

М-м-м, как там дале-то?.. «Ищет Артамон Елизаров Кузнецов защищение от незаконного притеснения и обиды и, уповая на силу Высочайшего благоволения, просит позволить ему в собственной кузнице работу производить по-прежнему и иметь жительство в том заводе в родительском доме...» Хорош Николай Никитич! Вровень со своими предками действуешь, добролюбом прикидываешься. Пред царскими-то особами покрасовался, подарочек загреб, три лета волю сулил. Кабы не дядя... А теперь вот, пожалуй: коли ты, Артамон Кузнецов, не наш — кузницу остуди и с завода подавайся куда хошь. Жена, дети, хозяйство? Плевать! Изволь записаться в конторе, запрягай Савраса, жги уголь, не вылазь противу прочих...

«...Прошу Пермское горное управление вразумить меня в разборе сего обстоятельства, наградив меня копией указанного монаршего благоволения». Ладно расписался Тархов, ловкую заковыку вывел. Это когда же отправили-то? Скоро три месяца будет. Надо было раньше, да ведь пока рассчитаешься с исправником...

Большая черная нахохлившаяся птица уселась на рябину и, медленно склевывая чудом уцелевшие с осени пожухлые ягоды, внимательно поглядывала на человека, неподвижно сидящего на чурбане, иногда издавала птица картавый звук, вроде как человека по имени называла, чем-то похожа была она... да, чем-то похожа на крестного...

— Артемон,— негромко призвал Егор своего крестника.— Мало осталось мне... Подойди-ка поближе, сядь. В уменье твоем уверен, хозяин из тебя получится, дело пойдет. А вот разумеешь ли ты, Артемон, каково назначение наше?

— Ну... чтоб деньгу заколачивать, чтоб дети, значит...

— Не о том я... Для чего живем, на кой пришли в этот бренный мир?

— Да опять же... детей приумножить, значит, хозяйство, чтоб не хуже людей...

— Эк заладил... Ну и то хорошо, и то ладно. А припомни-ка, для чего самокатку творил?

Артамон ухмыльнулся, припомнив, как катался он

на бочке с солнцеволосой Анюткой Ворожевой, как свалилась она, ослепив его красотой, как задумал он выйти в первые женихи по заводу...

— К чему клонишь, крестный?

— А к тому, чтоб вразумел ты, как сам возрос: творил самокат для девы — получил с божьей да государевой милостью волю.

— С твоей, крестный, с твоей.

— Ладно... это... Так вот, для девки творил, для себя. А теперя кому самокаты сковал, для кого косы правил — для миру всего, для Тагила, почитай, для Расеи. Ой, подними ты меня. В изголовье подложь, этак лучше... Нет, ты не понял всего. Думаешь, дрожки для денег и воли? Дальше, дальше гляди. Что Дубасников-то намалевал под понтретом моим?

— Там... «творил по самоохотной выучке и любопытному знанию».

— И любопытному знанию,— как эхо повторил Егор,— и любопытному знанию. А знанию — нет предела, единственно — бог... Много зла на земле. Грешен человек. А все же не для девки, не для воли токмо, не для царя... По нашему-то следу, помяни мое слово, не таки еще экипажи да самокаты помчат... Вот и все... Приими, господи, раба твоего грешного... Причащался ли я, Артемон?

— Причащался. Поспи.

— В вечный сон... Не дожил на земле. Акулину, Настасью — проститься... Не дожил.

...У калитки стучали щеколдой, залился Трезорка. Открыл Артамон. Стоял в проходе неизвестный ему человек. Протягивает немытую руку когтистую:

— От исправника.

Удалился посланник. Боялся Артамон бумагу читать. Стоял и глядел на ребят. Долго ли порезвятся? Через пяток лет старший в цех...

Увязая в снегу, единой рукой, как ветряком, размахивая, показался Макар.

Зашли в кузницу, развернули бумагу. Макар больше Артамона взволновался, как будто его прежде касалось.

— Воззри, господи, на страдания наши,— бормотал.— Доброму бог на помочь...

Не велика бумага была.

«1808 года, генваря 16 дня Пермского горного правления в 1-м Департаменте приказали исправнику Тархову послать указ с тем, что означенный проситель Кузнецов жить в заводе может по силе Высочайше конфирмованного в июле в 13-й день 1806 года проекта горного положения 729-й и 739-й статей, но иметь кузницы и производить в оной работы не должен, ибо таковые заведения, которые основываются на огненном действии, требующем дров и угля, не только при заводах, но и в округах оных частным людям 756-й статьей проекта иметь не позволяется».

Не позволяется... Не позволяется... Не позволяется...

— До царя далеко, до бога высоко,— дрогнули Макаровы плечи.

Взял Артамон в руки кувалду, откинул от стены самокат и ударил по перекладине. Не сильно сперва ударил.

Кирюшка в дверь заглянул:

— Тятя, мамка чего-то тебя.

Дарья снова на сносях была. Не сказал Артамон про бумагу.

— Артамоша, погляди, что-то старший наш замышляет, кабы опять теплину не разжег.

— Не, тятя, не, Ванька наш там ребятам экую подкидную досточку изладил, он поспоровал с Серегой, что выше всех прыгнет, коль в чугунку играть...

Билось в голове Артамона: «Как же так? В петлю лезь или снова в завод?» Не работы боялся, к гари и пеклу с детства привык. Отнимали у него ремесло, по душе что... Снова уголь возить?.. Было счастье, ушло...

— Тять, а тять, ты самокат-то боле молотом не долби,— подбежал Кирюшка.— Ты отдай его мне. Ваньке вон хорошо, он придумывать дюже горазд.

Тут хрястнуло что-то на улице, заржали ребята.

— Это Ванька наш, он!

Дарья, Артамон и Кирюшка подбежали к окошку. На снегу Серега сидел, на голове — шапок великая горка.

— Это Ванька наш,— радовался маленький сын Артамонов,— тять, помнишь, ты про Ивана Великого сказывал? Так задумал наш Ванька выше прыгнуть того.

— Да где ж его столь долго не видно?— забеспокоилась Дарья.

— Вон варнак, в сугробе!

Артамон глядел на Дашку, на ее сильные плечи, на румяные щеки. И брюхатость не портит ее.

— Артамон,— теребил, суетился Макар,— слышь, Артемий, ты... не унывай, если что, мы прошенье еще государю...

И брюхатость не портит ее. Кто его крепче милует, жалеет, дом в порядке, скотина сыта, дети ухожены. Прав был крестный, женив. Все бы ничего, да во время ласк ее жадных в ночи, в темноте, он Анютой ее нарекал. Вначале она обижалась.

От автора

Прочитавших эту повесть, вероятно, заинтересует, что же в ней достоверно и документально, а что является художественным вымыслом. Что ж, как говорится, приоткроем карты.

И Егор Кузнецов, и его племянник Артамон, и Демидов с его приказчиками, художник-самоучка Дубасников, расписывавший музыкальные дрожки перед поездкой Егора в Москву на коронацию Александра I, ну и, конечно, сам император с его окружением — все это невыдуманные люди, жившие на рубеже XVIII—XIX веков. Имена уральских умельцев значатся в ревизских сказках, их деяния живут в памяти народа, в работах краеведов и ученых-историков. Восхищавшие современников музыкальные дрожки с верстомером читатель может увидеть в Эрмитаже, а двухколесный «костотряс» хранится в фондах Нижнетагильского краеведческого музея.

Кто же изобрел этот первый русский велосипед, действительно ли отмахал на нем изобретатель тыщи верст, да уж и тот ли это самый самокат? До недавнего времени создателем велосипеда считался некий Артамонов, которого в разное время нарекали в статьях то Петром, то Василием, то Ефимом. Однако, как пишет профессор А. Г. Козлов в справочнике «Творцы науки и техники на Урале» (Свердловск, 1981), «появились достаточные основания (разрядка моя.— *В. Б.*) считать Артамона Елизаровича Кузнецова (р. 1778) создателем первого уральского велосипеда».

Откуда же взялся тот неизвестный Артамонов? Скорее всего, бытовавшее в Тагиле выражение «Артамонов самокат» со временем превратилось в «самокат Артамонова» и в таком виде попало в книгу Д. Белова «История уральских горных заводов» (1896). От него оно перешло и в «Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии» И. Кривощекова (1910), где автор пишет: «Мастеровой уральских заводов Артамонов в 1801 году во время коронации бегал на изобретенном им велосипеде, за это изобретение Александром I ему была дарована

свобода от крепостной зависимости со всем семейством». Имя незаметно превратилось в фамилию.

А уж позднее какое только имя не давали талантливому самоучке. То он представал как Петр, то нарекался Василием, а однажды по воле одного из исследователей взгромоздился на велосипедное седельце некий Ефим Михеевич да и махнул почему-то из Верхотурья аж в Санкт-Петербург. Кататься так кататься! И вот уже другой охотник до открытий, вычитав публикацию в старинном журнале «Нива» и, видимо, позабыв, что существовал город Ростов Великий (ныне Ростов Ярославский), ничтоже сумняшеся, сообщает, что Артамонова встречали с хлебом — солью... в Ростове-на-Дону!

Дошло до курьеза: иные исследователи, не признавая подлинности хранящегося в нижнетагильском музее экспоната, вместе с водой выплеснули ребенка: не было, дескать ни велосипеда, ни изобретателя. Рассказывают, как один экспериментатор выволок из Политехнического музея копию Артамонова железного конька, оседлал его, да тут же и сверзился на асфальт и тоже, потирая колено, усомнился: выдумка все, экспонат — подделка, не для езды. А вот рабочие Нижне-Тагильского завода понаделали точно таких же самокатов, да и катаются на потешных велосипедах во время народных гуляний.

Попытки найти более ранние, чем книга Белова, источники, в которых бы прямо говорилось о катании в Москве, пока остаются безрезультатными. Вот тут и начинается загадка: окажись в наших руках хотя бы маленькая заметка об уральском самокате в столичных газетах того, 1801 года...

Однако сейчас мы располагаем многими косвенными доказательствами причастности именно Артамона Елизаровича Кузнецова к выдающемуся изобретению.

Архивный поиск, изучение документов демидовских времен показали, что не было ни одного Артамонова, ремесло которого было бы близко к изобретательскому, а Артамону, ходившему в помощниках у знаменитого уже в те времена Егора Григорьевича Кузнецова, было известно и слесарное, и кузнечное дело, и саму идею мог дядя подсказать.

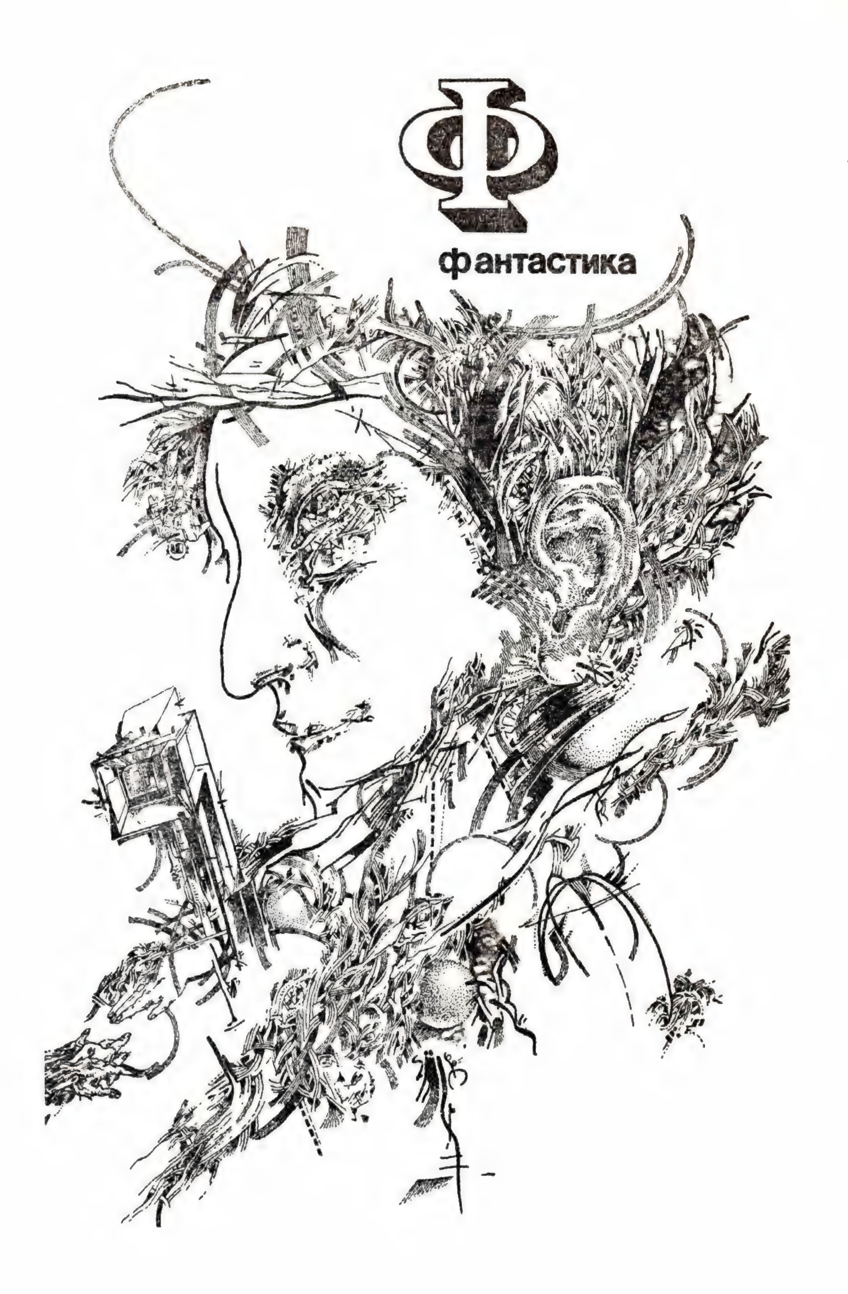
Важным свидетельством является приведенное в

повести (с незначительной правкой) письмо князя Лопухина по поводу дарования Кузнецовым обещанной воли. За здорово живешь свобода не давалась, даже Егор, чьи заслуги не раз отмечались, чуть было не разуверился, что мечта его сбудется. Однако в конце концов и он, и Артамон получают долгожданную волю «единственно из того, что *их дела* угодны государю». Следовательно, Артамон отличился тем значительным, что помогло получить ему вольную, да еще со всем семейством.

Дрожки Егора Кузнецова выглядели куда как нарядней и внушительней рядом с самокатом. Не оттого ли в документах упоминаются лишь они, а заслуги Артамона конкретно не обозначены. Да ведь, наверное, и названия-то Артамонову изобретению еще не существовало.

Желающие подробнее познакомиться с версией об изобретательстве А. Е. Кузнецова могут прочитать мою статью «Загадка Артамона Тагильского» в литературно-краеведческом сборнике «Рифей» (Челябинск, 1985).

Как сложилась дальнейшая судьба Артамона? Пошли ли сыновья по стопам отца, не гоняли ли и они по российским дорогам на двухколесных самокатах? И кто смастерил велосипед, хранящийся в Нижнем Тагиле? Подлинник это или копия? Многое еще предстоит выяснить и открыть историкам и любителям-краеведам, идущим по следу умельца, почти два столетия назад оседлавшего своего железного уральского конька.


Ф
фантастика

Владислав РОМАНОВ

Дождь

● В то лето жара в Копьевске выдалась нестерпимая. Старожилы уверяли, что сто три года такой жары не наблюдалось. Красный столбик градусника точно приклеился к отметке 33 и, хоть лопни, не спускался вниз. Уже в конце мая в лесах начались пожары и дым навалился на город. Выезд в лесную зону запретили, и все по воскресеньям стали ходить в картинную галерею, расположенную в старом соборе: толстые стены еще хранили прохладу и не пропускали дым.

В связи с пожарами пришлось ввести ограничения и службе водопровода. Жителям разъясняли, конечно, временность и необходимость таких мер, призывая блюсти строжайшую экономию воды. Повсеместно создали Комитеты Водного Режима, сокращенно КВР, куда входили лучшие люди подъездов. «Доживем до дождей!» (ДДД) — этот призыв кэвээровцев вселял в копьевцев бодрость и оптимизм.

В эти нелегкие дни главбух Кировского райпищекомбината Петр Иванович Неверующий торопился закончить методическую записку о перспективном и текущем планировании, которую он составлял для бухгалтерских курсов. Жена с дочкой спали в соседней комнате, а стрелки старинных бабушкиных часов с римскими вместо цифр загогулинами подходили к двенадцати. Сидя за столом в майке и трусах, Петр Иванович еле успевал вытирать пот, меняя за вечер уже третий платок. Это еще хорошо, что окно выходит в садик, яблонька распустилась, и тянет прохладцей, а у Льва Игнатьевича Шилова на пятом этаже, небось, одуреть можно от духоты.

Часы пробили двенадцать. Неверующий решился уже поставить точку, как вдруг что-то зашумело в яблонях и очень знакомое почудилось в этом шуме. Петр Иванович сдвинул на нос очки и, всмотревшись, с удивлением обнаружил серебристое мельканье у фонаря. Поначалу он подумал, что это серебрится мошкара, но тут уж и пахнуло, да таким удивительно знакомым, что Петр Иванович вскочил из-за стола. Пахло свежеприбитой пылью. Да-да, той

самой свежеприбитой пылью, когда идет дождь. И, вглядевшись, Неверующий обнаружил у фонаря не мошкару, а самые натуральные капельки! Он даже перевесился через подоконник — и в глаз, в нос, в рот залетели настоящие дождинки!

Петр Иванович хотел было разбудить жену и дочь, но тут вдруг ему в голову пришло: а не разбазаривает ли кто-нибудь с верхних этажей таким хулиганским образом воду?!. Он уже хотел было снова перевеситься через подоконник, взглянуть вверх, но, посмотрев на фонарь, обомлел: во всю ширину переулка шел дождь. Теперь это уже было видно и слепому! Дождь, дождь шумел в листве, бежал в водосточных трубах, и пузыри вскипали на лужах. Причем все свершалось как-то тихо и обыкновенно — никто не хлопал окнами, форточками, точно все спали и ничего не слышали.

Откуда-то издалека донеслась странная мелодия, и Петр Иванович вспомнил, как он сам мальчишкой выделывал такие рулады на травинке. Травинка нужна тонкая, широкая, и стоит ее поднести к губам, как она задрожит, завибрирует и зазвучит нежная мелодия. Петр Иванович был мастак выдувать всякие песни, но мелодия, которую он услышал сейчас, поразила его своей необычайностью: точно все вокруг вплеталось в нее — и тиканье часов, и шорохи, и скрипы, и свет фонарей. И так вдруг что-то защемило в сердце, что Неверующий готов был, кажется, выскочить из окна.

— Куда все ушло-то? — вдруг выпалил он и удивился своему вопросу. С чего это он такое спросил?

— Куда, куда?! — сердито проворчала жена в соседней комнате.

Неверующий заглянул туда, увидел Катерину Ивановну, спящую, разметавшуюся на тахте от жары, и покачал головой. Быть врачом-стоматологом — дело нелегкое... Дочь же спала тихо под простыней, и, взглянув на нее, Петр Иванович улыбнулся: чистое, нежное, точно освещенное изнутри, лицо казалось таким прекрасным, что Неверующий даже засомневался: а его ли Ленка спит на соседней полуторке? Но после некоторых размышлений он все же согласился со своим отцовством, хотя легкая ревнивая тучка залетела в сердце. Было, было что-то у жены с тем настройщиком, который доставал ей контрамарки в филармонию. Верить бабам нельзя!

Минуту поколебавшись, Неверующий выскочил на улицу.

Дождь к тому времени уже не шел, мелодия исчезла, а вместо нее на третьем этаже стрекотала Дуськина швейная машинка. Дуська обшивала пол-Копьевска, все про это знали, хотя Неверующий из принципа у нее ничего не шил. Баратынский, Дуськин супруг, игравший в народном театре ДК им. Горького, о чем всем докладывал, учил, видать, очередную роль, и обоим было наплевать на то, что делается за окном.

Мокрый асфальт блестел как надраенный. В воздухе пахло морем и прибитой пылью, а маленькие лужицы горели, как осколки огромного, разбитого на множество частей зеркала.

«Чудеса!» — радостно хмыкнул Петр Иванович, оглянулся на дом, желая найти хоть одного свидетеля этого казуса природы — никакой тучки над головой и в помине не было,— но все, за исключением Баратынского, спали или не желали из окон высовываться.

Даже если представить себе, что какой-то шутник набрал в лейку воды и решил полить переулок, то все равно он бы не захватил его во всю ширину, а тем более в длину, размышлял Петр Иванович, блаженно втягивая носом прямо-таки натуральный морской запах,— значит, это возможно при условии, что разом из всех окон станут поливать переулок из леек, что вообразить нельзя, ибо все спят, а потом на пятом этаже живет отставной майор Лев Игнатьевич Шилов, председатель КВРа двух пятиэтажек, и его бдительности жильцы откровенно побаиваются...

Мысли Неверующего неожиданно прервал Баратынский, выскочивший в буквальном смысле слова как Тень Отца Гамлета. Такую роль слесарь Митька Баратынский в свое время играл в ДК Горького, где Дуська вела кружок кройки и шитья. Там они и познакомились, и Дуська быстро прибрала Митьку к рукам, вырвала его из рук шаромыг, запретила пить и стала приобщать к культуре модного костюма. Баратынский выскочил в театральной шляпе, плаще и с собачонкой.

— Привет! — обрадовался Петр Иванович.— Видал? — Он показал на лужицы.

Баратынский взглянул на небо и, лихо запахнув плащ, прошипел, выпучив глаза:

— Дождемся ночи здесь. Ах, наконец достигли мы ворот Мадрита! Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь? Узнать меня нельзя?..

— Кто ж тебя не знает? — не поняв ничего, хмыкнул Неверующий.

Баратынский огорченно покачал головой.

— Вид ваш, Петр Иванович, не соответствует вашему авторитету на производстве,— высокомерно заметил он, взглянув сверху вниз на низенького Неверующего.— Чао!

И Баратынский, напевая что-то челентановское, гордо удалился, а Петр Иванович неожиданно для себя обнаружил, что он... в трусах! Насмерть перепугавшись, а больше устыдившись такого своего положения (боже, главный бухгалтер!), он как ошпаренный заскочил в квартиру и долго не мог перевести дух в передней. «Это ведь что могут подумать! — ужаснулся он.— Что я...» От последней мысли его бросило в жар. Да еще Дуська! Неверующий знал, что она по ночам плещется в ванне. Набирает днем до отвала воды (ночью водопровод отключают) и часа в три ночи плещется в свое удовольствие. Неверующий сам слышал, но, будучи человеком тихим и не ябедой, Льву Игнатьевичу о сем не сообщал. Однако если Дуська посмеет разносить теперь сплетни про него, то Петр Иванович не преминет рассказать и о ее привычках.

Повздыхав, Петр Иванович вернулся к себе в комнату и, не успев затворить дверь, застыл как вкопанный. Горло пересохло, и звук — а он хотел уж завопить благим матом — пропал. За его столом, внимательно изучая методичку, сидел высокий незнакомец с шапкой темных кудрей, рассыпанных по плечам. На нем была белая блуза с широким отложным воротником и черные бархатные штаны, подвязанные на коленках бантами, а далее белые носки и старинные с острыми загибающимися носами башмаки. Весь этот театральный костюм живо напомнил Неверующему Баратынского. Незнакомец уже стоял перед ним, и его узкое белое лицо с огромными горящими глазами и большим ртом говорило о смущении и робости.

Но не это сковало страхом Петра Ивановича. Не само появление среди ночи, не странный костюм, не горящие глаза. Незнакомец светился. Да-да, светился, точно вместо тела был причудливой формы длинный фонарь, на который надели рубашку и штаны. И что самое удивительное — часть туловища, от лица и до пояса, где начинались штаны, просвечивала... Сквозь грудь и живот просматривалась часть стены и угол подоконника, словно незнакомец был наполовину из стекла.

— Я прошу извинить меня за столь поздний визит,—

зашептал гость, и голос его тотчас обезоружил и покорил Петра Ивановича своей неизъяснимой прелестью, будто листва зашептала или ветерок в душный час обласкал лицо.— Приличнее всего следовало бы явиться завтра, моя душа уже начнет затягиваться кожей, а сейчас она горит, точно светлый фонарь, вы угадали, мессер, но вам ли не знать это нетерпение молодости, когда «как в чей-то глаз, прервав игривый лет, на блеск взлетает бабочка шальная и падает уже полуживая, а человек сердито веки трет — так взор прекрасный в плен меня берет. И в нем такая нежность роковая, что, разум и рассудок забывая, их слушаться любовь перестает...» — незнакомец заулыбался.— Да, что делать, коли сам сражен, как тот двадцатидвухлетний монах, поэтому не судите строго, все мы теряем рассудок, даже вы, выскочив в таком виде на улицу, забыли о приличиях, что делать, они нас всегда сковывали... Впрочем, я, наверное, и вправду некстати, речь пролилась, и я счастлив, я заговорил, могу объясниться, а это уже чудо, это уже подтверждение того, что я нашел ее!.. Простите великодушно...

— Кто вы?..— прохрипел Петр Иванович.

— Я Дождь,— незнакомец улыбнулся и, повернувшись, легко оттолкнулся от пола и выпорхнул, как птица, в окно. Он плавно взлетел, набирая высоту, и вскоре лишь странная яркая звездочка горела на том месте, куда он улетел.

Петр Иванович как стоял, так без звука рухнул на пол, сраженный сей чертечтовиной.

Началась эта история так давно, что никто, пожалуй, точно и не может назвать ни год, ни число; подлинное имя Дождя встречается в двух хрониках, связанных с Лоренцо Великолепным, да один раз о его исчезновении упоминает Марсилио Фичино в письме к Джиованни Кавальканти: «Я думал, что я люблю его в такой степени, что не мог бы любить себя более; Андреа Веротти, один звук его имени лишал меня земной опоры, и я бежал туда, где находился он. Видеть, наблюдать, слышать его голос становилось с каждым днем все потребнее, я мучился, если не видел его более часа, это превращалось в болезнь, точно сам демон небесной Венеры поджигал мою плоть. Блеск его божественного лица по ночам горел во тьме, его голос звал так настойчиво и призывно, что я верил: Андреа — ангел, спустившийся с неба, то недосягаемое, что отделяет нас от Бога...»

Восхищение это, пожалуй, разделял и Кавальканти, и сам Лоренцо Великолепный, и его дед Козимо Медичи, который отыскал Андреа мальчиком у пастухов. Ни отца, ни матери у Андреа не было, младенца подбросили, и пастухи воспитывали его до семи лет, пока его не забрал Козимо на свою виллу в Кареджи. Почти два года они прожили вместе. В 1464 году Козимо скончался в возрасте пятидесяти пяти лет. Лоренцо шел в ту пору пятнадцатый год, Марсилио Фичино исполнился уже тридцать один, Андреа — только девять.

По завещанию, свою виллу в Кареджи Козимо завещал Марсилио, особо оговорив и долю маленького Андреа Веротти. Так его воспитанием занялся Фичино, так они стали неразлучны.

Сейчас трудно сказать, как проходило это воспитание, однако взгляды Фичино достаточно изучены, чтобы понять, что впитал Андреа от своего наставника.

«Послушай меня, я хочу научить тебя в немногих словах и без всякого вознаграждения красноречию, музыке и геометрии. Убедись в том, что честно, и ты станешь прекрасным оратором; умерь свои душевные волнения, и ты будешь знать музыку; измерь свои силы, и ты сделаешься настоящим геометром...» Это отрывок из письма к одному из тех прекрасных юношей, к кому питал любовь Марсилио до взросления Андреа. Думается, те же слова мог слышать и сам Веротти. «Красота тела состоит не в материальной тени, но в свете и в грациозности формы, не в темной массе тела, но в ясной пропорции, не в ленивой тяжеловесности этого тела, но в числе и мере».

Вскоре всех покорил голос Андреа, создававший свой неповторимый земной и в то же время неземной мир звуков. Изредка он подыгрывал себе на флейте, прерываясь, потрясая всех мощной силой звуков, исторгнутых из слабого, еще юношеского тела. Лоренцо не мог сдержать слез, Марсилио впадал в экстаз, обожествляя своего воспитанника. Его музыкальная поэма дождя настолько поразила всех, что с тех пор Андреа иначе и не звали, забыв его настоящее имя. Прошло еще три года, Дождю исполнилось двадцать лет, голос его набрал такую силу, что в доме при его вскрике вылетали стекла. Он пел в горах, и его слушала вся долина.

И вдруг он исчез. Фичино, Полициано, Кавальканти, сам Лоренцо Медичи искали его семь дней и ночей, но, так и не найдя, вернулись обратно. Фичино еще месяц не мог

без слез вспоминать об исчезновении Андреа, но постепенно боль притупилась, и удивительный голос стал забываться. Лишь изредка ветерок, залетев в дом, своим дыханием напоминал о юноше да дождь снова рисовал его облик, и лицо постаревшего философа накрывала тень... Что это было? Действительно ли ангельское пришествие, имеющее целью доказать, сколь летуч и зыбок человек, или же то, что только гений являет нам истинную красоту природы и окружающего мира? Кто знает теперь?..

Марсилио Фичино не в силах был разгадать эту загадку, а между тем история эта имела продолжение.

Новое лицо вступило в тот миг на подмостки.

Монна Мадалена была дочерью богатого венецианского негоцианта Джованоццо ди Томазо Эспиньи. Он часто бывал в разъездах, особенно после смерти жены. За домом присматривал младший брат Джованоццо — Бартоломео. Человек он был желчный, тщеславный, как и все бездельники, к тому же пожар, случившийся однажды, обезобразил его лицо, покрыв его красными рубцами, которые время от времени гноились. Слуги старались не смотреть в лицо Бартоломео, который вдобавок еще чуть раскачивался при ходьбе, клоня голову вправо: в детстве его нечаянно уронила кормилица и позвонки срослись неправильно.

Одна Мадалена не боялась уродства дяди, становилась необычайно ласкова при его появлении и с такой нежностью заглядывала ему в глаза, что угрюмый Бартоломео краснел, как роза, и тайный огонь любви сам собою вспыхнул однажды в его душе, и никто не в силах был теперь его погасить. Все притягивало Бартоломео к племяннице: и голос, и красивое гибкое тело, скрытое в шуршащих складках платья, и глаза, нежные и ласковые... О, какие только сцены не возникали в воображении Бартоломео, ему казалось, что один лишь ее поцелуй в силах прогнать страшную болезнь, да и разве не говорят поэты и философы, что только любовь в состоянии исцелить проказу, разве не о том вещают сказания?!. Но пока был жив старший брат Джованоццо, этой мечте не суждено было сбыться. Лишь однажды заикнулся об этом Бартоломео, но Джованоццо лишь недоуменно взглянул на брата, объявив через день, что по возвращении из Англии немедленно подыщет для Мадалены жениха и сыграет свадьбу.

Через неделю Джованоццо уезжал в Англию. Бартоломео призвал своего слугу Луку Сакетти и, не таясь,

поведал обо всем. Выложил на стол четыреста золотых флоринов, двести — после того, как Джованоццо не вернется. Сакетти попросил еще четыреста. Бартоломео согласился. За двести Лука нанял матроса, некого Христофора, пообещав двести по возвращении. Все и случилось, как заказывал Бартоломео. Фрегат «Медуза» привез вместе с товарами мертвое тело Джованоццо.

Опекуном Мадалены и хозяином дома стал Бартоломео. Управляющим — кривой Лука Сакетти, умевший неслышно появляться в любом месте, знавший все, о чем говорят в лавке, на кухне, в гостиной у хозяев. Теперь оставалось лишь завоевать любовь Мадалены и найти для отвода глаз мужа-дурачка, дабы не приводить в волнение церковь.

Но первое же объяснение Бартоломео в любви вызвало у Мадалены смех, попытка объясниться повторно встретила резкий отказ. С тех пор Мадалена стала избегать встреч с дядюшкой, один вид его приводил ее в раздражение, глухая ненависть поселилась в сердце. Ей пошел шестнадцатый год, и соседние почтенные семейства стали засылать сватов, но Бартоломео отказывал всем подряд.

Дождь встретил ее у моря. Мадалена всегда ездила с толстым Бальдонофри на песчаную косу, где никого не было и можно не думать ни о странной смерти отца, ни о притязаниях Бартоломео. Толстяк Бальдо любил Мадалену и, конечно же, был посвящен в те слухи, что ходили вокруг Луки и Бартоломео. Изредка появлялся и Христофор, громко требуя денег у Сакеттти, и все это слышали, уши же не залепишь воском... Ветерок убаюкивал Бальдо, и он засыпал.

В один из таких утренних снов и появился Дождь. Когда Бальдо проснулся, солнце уже припекало, по берегу шел долговязый парень. И Мадалена долго смотрела ему вслед. Но тогда Бальдо еще не придал этому никакого значения и на вопрос Бартоломео, как обычно, пожал плечами: а что вообще может случиться?.. Но острый глаз Бартоломео тотчас заметил перемену. Мадалена сидела во внутреннем дворике у фонтана задумавшись. Книга лежала в стороне. Бартоломео наблюдал за ней сверху, когда подошел Лука. Он сообщил, что она почти не притронулась к еде. Служанке Франческе девушка сказала, что плохо себя чувствует. Но когда себя плохо чувствуют, то ложатся в постель...

Что же произошло? Если б Мадалена сама могла рассказать, то вряд ли бы Бартоломео что-нибудь понял. Они встретились и долго смотрели друг на друга. И не могли оторвать взглядов...

В Венеции Дождь никого не знал. Правда, деньги у него были, их оставил ему еще Козимо. Зная, что кроме Кареджи и Флоренции есть еще другие места, Дождь решил посмотреть их. Спрашивать у Марсилио или Лоренцо разрешения не стоило, они, чего доброго, бы увязались за ним, а он устал от их опеки и любви. Это как рабство. Поэтому и сбежал. Надоест, можно вернуться, а пока дыши свободой. От Лоренцо Дождь слышал о Венеции, поэтому и поехал сюда. Остановился в вонючей гостинице, но это не беда — лагуны, каналы, собор Сан-Марко и море привели его в восторг. И вдруг она, Мадалена... Он даже не спросил, на каком из островов она живет, лишь попросил прийти завтра. И она пришла.

В саду у Лоренцо, посреди этой роскоши скульптур и беседок, картин, стихов и обильных обедов, он не видел ни одного женского лица. Фичино убеждал его, сколь капризны, ленивы и тупы женщины, как они некрасивы в своих откровенных плотских приступах, как уродливо их тело со всякими выпуклостями, он говорил, сколь они грязны и каким смрадом веет от их душ и сколь прекрасны мужчины, юноши, как гибки и пластичны их тела, какой свет исходит от их ума... И поскольку женщин Дождь не видел, то приходилось верить на слово. И все-таки сомнения жгли его душу. Тогда Фичино привез из Флоренции женщин, но, прежде чем привести их к Дождю, он велел слугам напоить их и вволю повеселиться с ними. Когда их увидел Дождь — пьяных, грязных, дурно пахнущих, тотчас полезших к нему,— он невольно отшатнулся и убежал прочь.

Увидев Мадалену, он хотел пройти мимо, подозревая, что она тоже будет приставать к нему, но незнакомка, застыв на месте, не сводила с него глаз... Так они долго рассматривали друг друга, и ее чистое смуглое лицо, кровь, играющая под кожей, заставляющая щеки то пламенеть, то светиться нежным румянцем, эта смена чувств и настроений в глазах, игра света и тени настолько поразили его, что он, точно оглушенный, стоял на берегу, впитывая в себя радость новых ощущений.

На следующий день они заговорили, и он обнаружил, сколь тонко она все подмечает и чувствует, как точно и

красиво передает в слове, сколь нежно и волнительно ее прикосновение...

Весной не думают об осени. Сколько длится жизнь? Мгновение. А любовь обладает длиной вечности. Не каждый рождается с этим даром, не каждого любовь одаряет бессмертием.

Они стояли друг перед другом, а толстый Бальдо хмуро сидел поодаль, опасливо оглядываясь по сторонам. Кто знает, что на уме у Бартоломео?.. Поэтому, благодарно принимая за свое молчание два ежедневных флорина, Бальдо постоянно наставлял девушку, как вести себя дома, чтобы Бартоломео ничего не заподозрил. И Мадалена оказалась столь примерной ученицей, что тревожные сомнения, зародившиеся у Бартоломео, рассеялись после первого же урока Бальдо. Улыбка Мадалены вернула Бартоломео к жизни. «Нет, не все еще потеряно! — сказал он себе.— Вода камень точит, а время — чувство. Она еще полюбит меня!..»

— Вам дай волю...— сказал Бальдо служанке Катерине, затискавшей его в объятиях на широкой кровати в своей каморке.— Дай волю, так вы такого понаделаете. На что уж монна Мадалена...

— Что монна Мадалена? — тут же насторожила уши Катерина.

— Ничего,— ответил Бальдо и, зевнув, через минуту захрапел.

Катерина же долго не могла уснуть, гадая, о чем же намекал Бальдо.

А Бальдо и не думал, произнося имя Мадалены, что это сможет как-то повлиять на его такую лениво-мудрую и довольно безопасную жизнь. Даже если Бартоломео и узнает о встречах на берегу, всегда можно сказать, что они встречались в первый раз, да и потом пора такая у Мадалены, хочет не хочет Бартоломео, а замуж отдать придется. Он только опекун, не больше. В конце концов она сама найдет женишка, как только ей исполнится шестнадцать и получит в конце концов все наследственные права. Так что не лучше ли брать сторону хозяйки, чем Бартоломео. Бальдо будет рад от него убраться...

Катерина сразу же почувствовала, что они в сговоре. И эти деньги, и намеки, уж слишком важным стал Бальдо. Раньше он еще заговаривал о женитьбе, а теперь и думать перестал!

Сколько можно хранить тайну? Ну, мужчина месяц,

может быть, и продержится, Катерина же не любила таить то, о чем можно позубоскалить. Она все и выложила своим подружкам-служанкам. В тот же день это дошло до ушей Сакетти. Он знал об отношениях Катерины с Бальдо, и к Бальдо Сакетти относился вполне миролюбиво, но вот Мадалена, что у нее за тайны?..

Ранним утром Сакетти потихоньку отправился вслед за ней и тотчас все понял. Вот где можно набить карман, пригрозив Бальдо и Мадалене. Однако что с них возьмешь? Ни у Бальдо, ни у девушки больших денег нет. Так что же делать? Рассказать хозяину? Но с него тоже ничего теперь не возьмешь, он все ворчит, что Лука выгреб у него кругленькую сумму, а за что? За посредничество? Но Лука молчит. «Ладно,— Сакетти вздохнул,— расскажу ему, пусть знает, кого у себя держит...»

Вечером Лука все и выложил. Бартоломео не поверил. Тотчас призвал к себе Бальдо, тот вмиг раскололся, как пустой орех, стал лить слезы, но Бартоломео так пнул его ногой, что беднягу пришлось приводить в чувство.

Наутро Бартоломео сам взглянул издали на незнакомца и повелел Луке немедля узнать, кто он. Лука выследил Дождя, явился к хозяину гостиницы, но тот ничего не знал. Тогда Лука подкинул ему десять золотых флоринов, сказав, что зайдет завтра. Наутро хозяин сообщил, что незнакомец приехал из Флоренции. Он поет и часто пел для господ. «Слуга,— усмехнулся Сакетти.— Слуга, а еще вздумал приставать к госпоже!..»

Известие, что принес Лука, привело Бартоломео в ярость. Они сидели вдвоем с Сакетти, обсуждая план мести, когда прибежал перепуганный Бальдо. Мадалена и незнакомец исчезли! Хозяин ведь не велел ему ни о чем говорить, а делать вид, будто все по-прежнему. Вот Бальдо и делает вид, но неожиданно задремал, а проснувшись, увидел, что их нет. Они исчезли! Он обыскал все побережье, но нигде их не нашел. Он подумал, что незнакомец сам повез ее домой, так как гондолы на месте не оказалось, но если ее и дома нет, то...

Бартоломео вскочил, опрокинув стул. Взгляд его упал на кинжал, висевший на стене. Сакетти все понял. Он взял кинжал и вручил его Бальдо.

— Ты убьешь их обоих! — в ярости прошипел Бартоломео.

— Нет! — крикнул Бальдо.— Нет, я не умею! Убейте меня самого! — Он упал на колени.

— Хорошо,— подумав, кивнул Бартоломео.— Лука, дашь поручение Христофору,— Бартоломео бросил на стол тугой мешочек с монетами,— пусть он уберет этого индюка!

— Хорошо, господин! — Лука склонил голову, беря мешочек.

— Нет, не надо! Ну зачем вам убивать меня, я еще пригожусь, я ведь все могу, я...

— Слуга, которому не под силу такой пустяк, не нужен больше на земле! — отрезал Бартоломео.

— Вы не сделаете этого, я убегу, я расскажу все капитану кондотьеров! — вскричал Бальдо.

— Капитан кондотьеров — мой приятель, ты знаешь. Иди!.. Я посмотрю, что тебе скажет Уголино! — Бартоломео рассмеялся.— Иди! У тебя есть еще время поесть и попрощаться с Катериной!..

Хихикнул и Лука, хоть и выглядел он не очень. Уж слишком напугали его слова Бартоломео. Только теперь он порадовался, что вовремя сообщил хозяину об увиденном.

— Я сделаю...— сдавленным голосом выговорил Бальдо.— Я все сделаю... Только, может быть, не убивать ее... Она невиновна...

— Она обесчещена! — закричал Бартоломео.— Будь жив сейчас Джованоццо, он сделал бы то же самое... Этот ублюдок прикасался к ней, ведь они... целовались? — прошептал Бартоломео.

Бальдо с широко раскрытыми от ужаса глазами не мигая смотрел на хозяина.

— Они же... целовались? — снова спросил Бартоломео.

— Да,— прошептал Бальдо.

— А значит, и...

— Нет! — выдохнул Бальдо.

— А что они делают сейчас, ты знаешь?!.— взревел Бартоломео.

— Нет,— проговорил Бальдо.

— А я знаю...— дрожащими от гнева губами прошипел Бартоломео.— Они для этого и скрылись от тебя! Ищи, ищи их! И чтоб больше я ее не видел! Я не хочу ее больше видеть, она умерла для меня, я хочу похоронить ее!..

Рыдания внезапно исторглись из его груди, Бартоломео упал на каменный пол. Слезы текли по его красным гноящимся рубцам. Сакетти взглядом отослал Бальдо, оставшись наедине с хозяином.

Бальдо вышел. Жизнь, точно утлое суденышко, враз перевернулась, и нет ее больше. «Лучше убить себя»,— подумалось ему. Эта мысль вдруг показалась спасительной. Он так загорелся ею, что, не мешкая, пока хватило сил, обвязался тяжелой цепью и бросился в канал...

Они лежали на песке, радуясь, что им так ловко удалось сбежать от толстяка Бальдо. Он, проснувшись, долго искал их по побережью, куда-то умчался, и теперь они наконец-то смогут побыть одни...

Солнце уже заходило, огромный багровый круг медленно сползал в море, окрашивая воду кровью. Дождь впервые видел, как величествен закат, и, не выдержав, запел, и голос его мощно влился в крики птиц и шум волн.

«Я больше не вернусь домой,— думала она,— я больше не смогу притворяться, а значит, Бартоломео посадит меня под замок и никогда не выпустит».

Им нужно было только на секунду зайти в гостиницу. Дождь оставил там плащ, лодка уже заказана, и они быстро доберутся до Кьоджи, а ночью на море прохладно и Мадалена в своем легком платье из розовой материи совсем замерзнет. Во Флоренции, если даже им откажет в своем покровительстве Лоренцо Медичи, у Дождя есть почти две тысячи флоринов. и они поедут во Францию, говорят, тамошний король любит музыку...

Солнце уже наполовину скрылось под водой, когда они покинули побережье. Дождь хотел оставить Мадалену с лодочниками и быстро сбегать за плащом, но она не отпустила его одного.

Они вошли в грязный номер, Дождь зажег свечу, и Мадалена, обрадовавшись, что они добрались без происшествий, обняла его... Так они стояли обнявшись, слившись в одну тень на стене, когда услышали, как скрипнула лестница. Послышались шаги. Дверь отворилась, и вошли Христофор и Лука Сакетти. Первый был уже пьян. Ни слова не говоря, он всадил длинный нож в грудь юноши. Мадалена не успела закричать — Лука зажал ей рот. Через секунду все было кончено и с ней. Едва Христофор сделал шаг к выходу, как и его настиг предательский удар кинжала... Тела связали. обмотав крепкой парусиной. Внизу ждала повозка. Вскоре Лука вывез трупы далеко в море, привязал груз и столкнул за борт, перекрестившись и пробормотав просьбу о прощении святой деве Марии.

На том дело и кончилось. Никто не узнал больше о судь-

бе Мадалены и Дождя, потому что Лука неожиданно умер через месяц, заболев животом, а сам Бартоломео, запив, скончался через полгода в страшных муках: гноящиеся рубцы пошли по всему телу и ни один из лекарей не смог ничем ему помочь.

Все когда-то приходит к своему концу. И только любовь не умирает во Вселенной. Одна любовь обладает длиной вечности.

Андреа был удивлен, когда его привели в Храм и Старик ласково ему улыбнулся. Светило солнце, проникая сквозь узкие окна в самом верху Храма, и все его огромное пространство дымилось от ярких лучей, разгоняющих сумрак и прохладу.

Старик поманил его пальцем, велев подойти поближе. Дождь подошел.

— А он мне нравится! — сказал Старик, и все, кто стоял рядом, заулыбались.

Дождь не видел их лиц, размытых туманом, он видел перед собой лишь бронзовый лик Старика и его горящие глаза.

— Ты кто? — спросил Старик.

— Я — Дождь,— ответил Андреа и умолк.

Удивленный шепот, похожий на шум морской волны, надвинулся на него, но Старик поднял руку, и все смолкло.

— Мне это подходит,— кивнул он.— Ты ведь, кажется, умеешь петь? Спой нам!

И Дождь запел. Он пел долго, но его никто не прерывал. Когда Дождь открыл глаза, он увидел, что Старик плачет.

— Что ты хочешь? — спросил Старик.

— Я хочу найти Мадалену, где она?

Старик удивленно взглянул на него.

— А-а,— покачав головой, вздохнул он, потом помолчал, пожевав губами.— У нас, видишь ли, женщин не бывает. Мы даже не всех убитых берем, этак земля бы перестала плодоносить, поэтому тут мы тебе помочь не можем... Н-да...— Старик поджал губы, все замерли, и Дождю показалось, что его сейчас вернут обратно в ту самую парусину с камнями, упавшую на дно. Сердце его сжалось, и он пролепетал:

— Я мог бы еще спеть...

— Спой,— кивнул Старик.

Дождь снова запел, вложив в голос всю свою силу, все мастерство, которому был обучен, и вдруг Старик не-

ожиданно тоже запел, подхватив мелодию. Голос у него был хриплый, дрожащий, но верно чувствующий все переходы, спады и подъемы. Дождь сбавил тон, и вскоре они уже запели вдвоем в лад, стройно и красиво. Когда они кончили, все захлопали. Лицо Старика раскраснелось.

— А что, ведь и вправду Дождь! — ткнув в него пальцем, сказал Старик.

— Дождь! — вскричали все, и он остался.

Время от времени Старик зазывал его к себе и они пели. Окружающие — Ветры, Туманы, Вихри и Ураганы — все завидовали Дождю и удивлялись тому, что он до сих пор шляется по равнинным деревенькам да городкам, бренчит по расхлябанным водостокам, пугая по ночам прохожих. А ведь мог бы выпросить себе местечко потеплее, где-нибудь на юге, выбрать какой-нибудь курорт и развлекаться круглый год. Или стать библиотекарем у Старика. Тепло, сухо, читай в свое удовольствие! Но Дождь только и думал о ней. По секрету от морских Смерчей, проверивших дно у Венеции, он узнал, что ее там нет, она не погибла, ее спасли. Но кто? Где она? Он думал об этом постоянно и верил, что они встретятся.

Он долго, век за веком, искал ее, пока случайно, наверно, по наитию не залетел в этот городок. Он уже облетел очень много стран и еще больше городов и хотел пролететь мимо, как вдруг легкая тень воспоминания окликнула его и заставила сделать круг над Тихим переулком, пахнущим яблонями и жасмином.

Он залетел на старый чердак и стал ждать, еще сам не зная чего. Шаркая сандалиями, по асфальту проползли две старушки. Они несли белый хлеб в авоськах. Дворник, закончив работу, уселся на мусорном баке и стал курить. Похожий на сатира, небритый и всклокоченный, с мешками под глазами, он хотел уже отпустить шуточку по поводу старушенций, но почему-то раздумал: странный холодный ветерок пробежал по его спине, и дворник долго, подозрительно смотрел на безоблачное небо, пока не убедился в его невинности.

Так бывает, когда хочешь, чтобы что-то случилось, и ждешь — час тянется как год, а год — как столетие. Вот где надо спрессовывать время! Но приходит утро, и сто семьдесят шесть паутинок старого чердака вдруг разом рвутся и начинают звенеть, как сто семьдесят шесть колокольчиков, возвещая конец мучительному ожиданию...

Звонок все же был, и даже не электрический, а всамделишный валдайский колокольчик, который доверили ей, Ленке Неверующей, как лучшей ученице 101-й школы. Она прозвонила в последний раз. И что тут началось! Ор, крики, вопль, рев, рык, визг, вой, гвалт, писк, хрюк и еще, чего голова и не выдумает. Так они, 10 «а», выражали свой восторг по поводу последнего звонка, ибо каждый должен понимать, ч т о значит окончить школу!

Чугунов предложил прошвырнуться вечерком в «Белый медведь», безалкогольный бар с танцами, шампанское он захватит с собой. Предложил не всем, а избранным, своей компашке: Ленке, Митину, Мышке-тихоне и боксеру Крупенникову, он же Крупа. Все взревели от восторга, одна Ленка вздохнула и сказала: «Не знаю», но никто не обратил на это внимания. Не знаю — еще не отказ.

Потом все заспешили домой, заторопилась и она, и сердце ее почему-то так забилось, словно... Ну, это трудно объяснить, ведь она еще не влюблялась, Чугунов, который за ней ухаживал, попробовал раза два ее обнять и даже расслюнявился губами, но она так въехала ему, что он больше не пробовал. «Провинциалка, что с нее возьмешь»,— говорил он Крупе и ловко сплевывал. Впрочем, девочек для других целей найти несложно, а Ленка — для души. Что такое душа, Чугунов не знал, потому что ее у него еще не было. Точнее, была, но такая крохотная и слепая, что он попросту не обращал на нее внимания. Так, какая-то жалость покалывает иногда в сердце, и все. Чугунов еще не знал, что это душа. Не знал он, что родился с такой душой, что он обделенный, ибо сполна схватил другого: ума и смазливости, можно сказать, кумир всех девчонок в классе, всех, кроме Ленки. Это его задевало. Поэтому он ее и выбрал.

Итак, она заспешила домой, Чугунов еще подумал: провожать или нет, но потом решил заскочить к химичке, с химией у Чугунова не клеилось, а нужна была золотая медаль, хоть ты тресни, поспорил с Жоржиком из «Медведя» на ящик шампанского, чтоб угостить ребят напоследок. Все продумано. Химичка мыла мензурки в своей лаборатории — нашла время! — и он вошел с цветами...

Итак, Лена спешила домой, дворник Евграфыч хотел уже было соскочить с мусорного бака, как вдруг увидел ее, в белом платье, красивую, как лебедь, что у него на коврике, как вдруг...

Нет, дадим сначала слово самой Лене:

— Я шла, и как будто на меня вылили целый водопад.

— Ну уж водопад! — хмыкнул Петр Иванович.

— Спокойно, спокойно! — остановил его Шилов, ведя потом это расследование.— Это она образно. То есть почти ведро?!.

— Может быть, но я промокла до нитки! — возразила Лена.

— С ведра это возможно,— согласился Шилов.

Дождь действительно целым водопадом обрушился с чердака, но не на нее, а к ней, разве он виноват, что потерял голову?!

Все произошло так быстро, что никто и сообразить ничего не успел. Евграфыч поднял голову и увидел, как одинокая жиличка с пятого этажа соседнего дома поливает на балконе из ведра цветы, то есть держит ведро в наклоненном состоянии. А по тротуару, уже шипя, как змей, и слизывая густую пыль, бежали к баку три водяные змеи. Они с шумом врезались в бак, обдав Евграфыча грязью.

— Она эта... жиличка-та... ведро-то бухнула да меня всего грязью и залепила,— возмущался дворник.

— Она что, и на тебя пролила? — не поверил Лев Игнатьевич.

— И на меня! — твердо, как на духу, отвечал Евграфыч.

Лена в первый миг была так ошарашена, что не могла вымолвить ни слова. Подняв голову и увидев Любовь Сергеевну, сдобную женщину, в халате с пионами, она спросила:

— Вы что, ошалели там?!.

— Я на тебя капнула, девочка? — вежливо осведомилась Любовь Сергеевна, не поняв существа вопроса.

— Ничего себе капнули!

Лена, конечно, еще что-нибудь обязательно бы прибавила, но вдруг увидела Дождя. Он стоял в двух метрах от нее и смотрел так, что...

Прошли столетия, и все же он узнал ее сразу.

Он долго стоял, не в силах вымолвить и слова, и Лена первое мгновение не знала, как реагировать на столь пристальный взгляд. Был бы он нахальный, тогда другое дело, но Дождь смотрел на нее так, словно они были знакомы сотни лет, ей и впрямь показалось, будто она когда-то уже знала его и даже любила.

— Боже, кто это разлил? — послышался сверху голос Любовь Сергеевны, и Лена, точно очнувшись, спохватилась и прошла мимо незнакомца, опустив взгляд.

— Здравствуй,— прошептал он в тот миг, когда она проходила мимо, и Лену тотчас бросило в жар, щеки запылали, и она ускорила шаг.

— Здравствуй,— так же еле слышно прошептала она, и Дождь от радости взмыл вверх с такой скоростью, что, оглянувшись, Лена никого уже не увидела.

Видели этот взлет лишь двое: Любовь Сергеевна и Евграфыч.

Отставной майор Шилов в ту минуту выходил на балкон и услышал, как что-то просвистело. Но мало ли что могло просвистеть, поэтому на небо Шилов не взглянул, а обратил свой взор на грешную землю. Лужа находилась как раз под балконом, где стояла дама с пионами (имени ее Лев Игнатьевич еще не знал). В белых рученьках означенная дама держала сосуд злого умысла (ведро эмалированное емкостью 11,6 литра, как было потом установлено), а у ног замечена была еще леечка желтого цвета из пластмассы, 0,5 литра. Все это самолично установил Лев Игнатьич, а также то, что оба они, и дама, и дворник Евграфыч, стояли, задрав голову в небо.

— Я вить и проплеваться не успел, а он возьми да сигани! Точно в заднице, едрена вошь, чего-то было вставлено...— Евграфыч вздохнул.— Феномен, Игнатьич, феномен!

Шилов к тому времени успел высчитать квартиру дамы с пионами. «Номер восемнадцать,— пробормотал он,— легкомысленное число!» Тут еще надо было знать Льва Игнатьевича, который огромное значение придавал цифрам. Вот Баратынский жил в квартире 21-й, а это означало: плут, картежник, шулер! Петр Иванович Неверующий в тридцать второй — первая пятилетка за четыре года! Сам он в пятьдесят седьмой — первый искусственный спутник Земли, а восемнадцатая — это... Шилов вздохнул. Судьба сама соответственно человеку наделяет его числом. Важным числом! И не доверять ему — значит не верить и в будущее. Поэтому и к словам Евграфыча Шилов отнесся с подозрением. Теперь понимаете почему? Правильно, потому, что Евграфыч жил в тринадцатой квартире!

Окно маленькой комнаты с тем самым письменным столом, за которым сидел вчера Петр Иванович, выходило, как уже говорилось, в сад, и облако яблоневых цветов

смотрелось в зеркало, висевшее на стене. А закрывать окна в такую жару — безумие! Лена разделась, прыгнула в ванну, но холодный кран лишь угрожающе зашипел. Она вылезла из ванны, но одеваться не стала, заперла лишь дверь, а за яблонями все равно ничего не видно. Приятно походить голышом. Холодок, как мотылек, порхает по коже. Волосы дождем пахнут, странно. Откуда дождь?

Он стоял в саду под яблоней и не отрываясь смотрел на нее. Вон там, в ложбинке у шеи, та же темная родинка, и тот же крутой изгиб бедер, и те же острые лопатки... Он узнал ее, с каждым взглядом убеждаясь все больше и больше: она! Значит, души их снова выпустили в мир, и раз существует она, должен существовать и он.

Лена заметила незнакомца и остолбенела. Она и раньше смотрела на эту яблоню, но ничего не замечала, а тут он выступил из солнечных лучей, точно вылился из них, и стал видим. Взгляд его приковывал, держал ее, и, лишь он опустил глаза, она тотчас выскочила из комнаты, спешно набросила халат. Ее бил озноб. Безотчетная, странная тревога охватила ее, и она долго не могла согреться, хотя термометр в комнате упорно держался на тридцатиградусной отметке. Наконец тревога улеглась. «Мало ли дураков, любящих поглазеть в чужие окна»,— подумала она, но чей-то голос поправил ее: и не дураки тоже любят поглазеть... Лена уже хотела было возмутиться: кто это вмешивается в ее мысли, как вдруг скрипнула половица в соседней комнате, она вздрогнула, и чья-то тень легла в проем двери.

Лена стояла ни жива ни мертва.

Дождь сделал еще шаг и остановился на пороге.

— Это я вмешиваюсь в твои мысли,— виновато улыбнувшись, сказал он.— Хотя, может быть, я и дурак! Все влюбленные — дураки!

Ее поразил светлый, чуть голубоватый оттенок его кожи без единой морщинки, тонкой и прозрачной, какая бывает у детей. Лишь глаза выдавали в нем взрослого мужчину, завораживая своей грустной глубиной. Изредка они вспыхивали, и тогда словно ночной мотылек бился в них, стараясь вырваться на свет.

— Я хотел рассказать тебе о том, что уже было с тобой,— он улыбнулся, и десятки морщинок разбежались от глаз и тотчас исчезли, не оставив никаких следов.— Это случилось так давно, что ты успела уже все позабыть...

— Кто вы? — испуганно спросила Лена.

— Я — Дождь... Я был дождем... Во всем живом бьется живая душа, даже в травинке. Когда ее рвешь, разве ты не слышишь ее писк, ее голос?.. А стоны деревьев? Голос ураганов? Шепот яблонь?.. Голос, цвет, запах — разве природа не живая вокруг? И каждая частичка ее, от мотылька до человека, наделена способностью чувствовать. Когда муравей убегает от опасности, в нем душа переворачивается от страха! А что мы перед стихией ураганов, молний и ветров, землетрясений и огня вулканов? Мы тоже малы перед ними, как Земля мала против Солнца и других звезд... Это случилось в Венеции.

— Что случилось? — не поняла она.

— Наша встреча.

Он показался ей некрасивым, даже уродливым. Большой рот, длинное лицо с тяжелым подбородком, лишь глаза, темные, горящие, скрашивали это первое неприятное впечатление. Уже потом она поймала себя на мысли, что он ей даже нравится и лицо не такое уж уродливое, просто надо привыкнуть, но в те первые секунды она невольно сжалась от страха, готовая закричать, хотя он так влюбленно и страстно на нее смотрел, что чувство страха мгновенно уступило чувству любопытства.

— Венеция — это которая на островах? — спросила она.

— Да,— кивнул он.

— Я там не была,— она улыбнулась.

— Ты просто забыла,— сказал Дождь.— Это было давно, лет пятьсот назад.

— Лет пятьсот?!.— Лена удивилась и, не удержавшись, засмеялась.— Это ж сколько же мне лет?!. Пятьсот семнадцать?!.

Она вдруг серьезно взглянула на него. Он улыбнулся, и десятки морщинок мгновенно разбежались от глаз. На мгновение он превратился в старика, но кожа тотчас разгладилась, и перед ней снова стоял прежний юноша.

— А Дождь... Это что, имя? — спросила она.

— Нет, раньше меня звали Андреа. Андреа Веротти, но это имя тоже придумал Козимо Медичи, меня младенцем нашли пастухи, и как меня звали, кто мои родители, все окутано тайной. Первым меня назвал Дождем Лоренцо, а потом в Храме мне вручили дождевые ключи...— Дождь осекся.

— Кто вручил? — не поняла Лена.

— Я не имею права говорить об этом. Иначе у меня отнимут память...

— Кто отнимет?

Дождь помолчал.

— Мне хочется сказать тебе, что я давно искал тебя и теперь так счастлив, что нашел... Ты еще многое вспомнишь, ты просто забыла...— Лицо у Дождя дрогнуло.— А мне оставили память...— Он с трудом нашел силы, чтобы сдержаться.— Хотя, может быть, и не нужно, чтобы ты все вспомнила...

— А какая я была тогда? — неожиданно для себя спросила Лена. Нет, она еще не верила его словам. Просто спросила.

— Ты была как утренняя заря! — воскликнул он.— Такая же, как сейчас!

— А ты можешь вызвать дождь?

— Могу,— помолчав, ответил он.

— Я хочу дождь! Пусть будет дождь! — крикнула она.

— Хорошо,— ответил он.— Правда, мне запретили появляться в этих местах с тех пор, как построили этот завод...

— Стиральных порошков?

— Да... И потом, я почти уже человек...

— Ну немножечко, хоть капельку! — взмолилась Лена.

— Я попробую... Закрой глаза...— попросил он.

Она закрыла глаза и тотчас почувствовала, как в лицо пахнуло прохладой. Когда она их открыла, в комнате никого уже не было. Яркое солнце вдруг угасло, и странная, тихая мелодия приплыла издалека, ее вел голос, заставивший Лену замереть в ожидании. Задрожали листочки яблонь, и тихо, незаметно, как входят боком в дверь, в сад вошел дождь. Он пошумел немного в листве и вдруг хлынул целым потоком, застучал по жестяным карнизам, асфальту, балконным решеткам, выводя нежную мелодию. Капли залетали в комнату, касаясь ее лица, мягкий свет проникал в сад и в комнату вместе с дождем. Лена как зачарованная стояла у окна, не смея шелохнуться. «Неужели я возвратилась?» — подумала она, и яблони в саду зашумели, захлопали ветвями, как крылья, точно собираясь взмыть в небо. Солнечный луч, разбив пасмурный круг, упал в сад.

Лев Игнатьевич Шилов, закончив балконные процедуры — семнадцать приседаний, руки вперед, в стороны,

вверх,— уже мурлыкал в ванной «Солдат всегда солдат», тщательно выбривая щеки (в три часа утверждение устава и инструкций КВР в горжилкомхозе).

Настроение у него намечалось бодрое, ванны умягчили поясницу, а в споре с водорасхитителями у него прибавился еще один весомый аргумент.

— Итак, товарищи, представьте себе,— репетировал он, намыливая подбородок,— предстоящую выпускницу школы Елену Петровну Неверующую! Она возвращается с похвальным листом в руках, в бальном платье, несет документ, который открывает ей путь в нашу светлую жизнь (некоторое преувеличение всегда возможно, считал Шилов), и вдруг — на нее выливают ведро воды! Платье всмятку, похвальный лист в грязи! Что может подумать о будущем наша юная квартиросъемщица после такого удара?!. Мир кажется ей разбитым! И это в то время, когда весь наш народ, напрягая все усилия, заканчивает очередную пятилетку! Я не буду касаться уголовно-процессуальной стороны этого вопроса: порча документа и платья. Коснемся лишь одного: экономии воды. Что значит ведро H_2O в наших условиях, когда передовые предприятия отрывают от своих нужд последнюю кружку для населения. Жильцы наших двух домов перешли уже на электробритвы, чтобы экономить воду на бритье, а я лично развожу мыльную пену туалетной водой, чтоб сэкономить хоть двадцать грамм этого ценного подукта!..

Не думайте, что Лев Игнатьич погрешил здесь против истины, он действительно разводил мыльную пену с помощью одеколона «Туалетная вода» фабрики «Восход», это заодно и освежало. Он уже хотел продолжить чтение своего доклада, где скрупулезно подсчитал, в каких изделиях больше всего воды, чтобы призвать к сокращению их выпуска, но в этот момент он вдруг вспомнил, что не знает фамилии квартиросъемщицы из соседнего дома, пролившей ведро. Он бросился к телефону и только тут заметил, что с балконного перильца свисают крупные капли, а на полу перед балконной дверью целая лужа!

Шилов выскочил на балкон и остолбенел: по переулку бежали ручейки. Дрожащей рукой он набрал Бюро прогнозов. На вопрос, шел ли сегодня дождь, Лев Игнатьевич услышал язвительный смешок, после чего женский голос ответил: «Вы в своем уме, гражданин?», и повесили трубку.

Шилов поколебался и позвонил в горжилкомхоз. Уточ-

нив, что совещание не переносится, он спросил насчет дождичка.

— Да где его взять, Лев Игнатьевич, хоть экстрасенсов проси!

— А седни брызгало ведь? — вроде спросил, вроде сказал Шилов.

— Вы только встали, наверное? — удивилась секретарша Ивана Алексеевича.— Тридцать семь сегодня, а вы — брызгало!

— Да я дежурил ночью, поэтому...— замялся Шилов и, наскоро попрощавшись, положил трубку.

Странный стук заставил его обернуться: с крыши капало. Лев Игнатьевич выскочил на балкон и долго стоял, не веря своим глазам: с крыши капало! А на небе действительно не было ни облачка, и парило так, что мокрые крыши быстро подсыхали.

«Так, спокойно, не волноваться! — сказал себе Шилов.— Надо все обдумать. Чтобы так обильно смочить переулок, нужно... хм, это ж крыши, балконы, полторы тыщи литров как минимум!.. Это уже серьезно и попахивает международной провокацией!»

— «Джонни, ты меня не знаешь, ты мне встреч не назначаешь...» — запел голос, и донесся он из той самой 18-й квартиры, ответственная за жилплощадь которой и совершила злоумышление с водой. Первое злоумышление, за которым теперь последовало второе, совершенное неведомо кем. Голос показался Шилову странным, неестественным. «Какая тут связь?!» — пробормотал он.

Петр Иванович Неверующий, привыкший до всего доходить собственной головой, пребывал в растерянности. Упав в итоге ночной чертечтовины, он схватил большую шишку на затылке и плохо помнил вообще, что тогда произошло. Кроме того, в цехе прохладительных напитков номер два призошла серьезная утечка фруктовой эссенции в количестве пяти литров: мойщица стеклотары Бубнова опрокинула бутыль и та разбилась. Вследствие этого эссенцию надо было списывать, и Неверующий настаивал, чтобы убыток в размере 160 рублей списать за счет Бубновой С. А., а директор предлагал за счет производства. Спор вышел серьезный, и директор Яблоков наорал на Неверующего. У Петра Ивановича разболелась голова, и он ушел расстроенный домой, забыв обо всех ночных приключениях.

К ночи голова отошла, и Петр Иванович, вспомнив о методичке по текущему и перспективному планированию, решился ее закончить, сел за стол, разложил листы, взял ручку и... Да, именно в этот миг послышалась странная и нежная мелодия, град капель пробарабанил по листьям, и светящееся тело, подобно комете, мелькнуло в воздухе. Неверующий завороженно смотрел в раскрытое окно, за которым открывалась бездна. Звезд было так много на небе, что Петр Иванович даже поразился их количеству. Никогда ему не доводилось видеть еще так много звезд.

Запел, зашуршал в листве дождь, и Неверующий отложил ручку и все вспомнил. Только что вот это такое было, он не знал. Сон или явь?..

— Явь, Петр Иваныч,— послышался голос.

Неверующий вздрогнул и, оглянувшись, увидал на кожаном старом диванчике с высокой спинкой и зеркальцем, встроенным в кокошник спинки, вчерашнего незнакомца.

— Это не сон, Петр Иваныч,— улыбнувшись, повторил незнакомец, и десятки мелких морщинок разбежались от глаз по лицу.

Неверующий во все глаза смотрел на незнакомца. Он был по-прежнему в белой блузе, в черных бархатных штанах с подвязками и остроносых башмаках. Теперь незнакомец не просвечивал, но странное свечение все еще исходило от тела, и от этого света видна была паутина в углу. «Совсем обленились бабы!» — взглянув на паутину, подумал Неверующий о своих домашних.

А про свечение Дождю недавно все объяснил Мудрый Ворон, живший под Бобруйском. «Это душа светится, проглядывает,— сказал он.— У каждого талантливого существа душа светится. И у человека тоже. У совестливых она краснеет, у злодеев чернеет, у завистников желтеет, а у добрых и талантливых светится». Ворон долго не мог прокаркаться. Чувствовал он себя скверно, мучил кашель, к тому же он курил втихаря, хоть и знал, что нельзя. «К тому же Старик тебя любит и по блату тебе света подбавил, вот ты и светишься во всю ивановскую... Посиди со мной немного,— покашляв, сказал Мудрый Ворон.— Я все равно скоро умру, а мне от твоего света тепло... Глупый ты только»,— помолчав, заключил Мудрый Ворон.

«Это почему?» — удивился Дождь.

«А потому, что возвращаться захотел! Тебе же фактически за твой талант бессмертие даровали! Летай себе, пой, играй на флейте или фаготе, целых два инструмента

отсобачили, это кому так? Никому! А тебе дали. Потому что Старик тебя любит и под твою музыку ему засыпать легче. Тебе память оставили! Помни, что хочешь, то и вспоминай, тебе глаза, лицо оставили, смотри, как людишки копошатся, радуйся! А ты — нет! Бессмертия не надо, возвратите смертную жизнь, хоть разочек арбуз откусить да соленый огурец схрумкать!»

«Это что такое?» — спросил Дождь.

«А, это... Ну, пища такая!.. Там есть надо, чтобы жить! Ты что, забыл?!.»

«А, вспомнил! — закивал Дождь.— Но ни арбуза, ни огурца соленого не помню...»

«Это здесь едят. Ничего, есть можно,— Мудрый Ворон вздохнул.— Любви ему, видите ли, захотелось! Мало ли что мне хочется?!. Я, может, тоже любви хочу, да молчу и не выпрыгиваю из штанишек! Это Старик тебя распустил, другого он бы выдрал молниями, и столетие б на задницу не сел!.. А то как, бывали такие случаи. Или бы к скале приковал, да Орел бы печень клевал каждый день. Это как?.. Вся бы любовь из башки выскочила!..»

— ...А вы, собственно, по какому поводу? — не понял Петр Иванович.

— Я люблю вашу дочь,— помолчав, пробормотал Дождь, и в комнате стал светло, как днем.

— Интересно,— промычал Петр Иванович.

— Что интересно?

— Что это светится-то? — удивился Неверующий.— Рубашка фосфором, что ли, пропитана?

— Это душа светится,— помолчав, ответил Дождь. Он не знал, что такое фосфор, поэтому и не сразу решился ответить.

— Она что, электрическая? — не понял Петр Иваныч.— Какая душа-то? Это как раньше-то говоили? В бога и в душу?.. Эта душа, что ли?

— Душа есть душа, все, что в вас чувствует и мыслит,— заметил Дождь,— а свет божественный пролит не на каждого...

— Вы — священник? — оживился Петр Иваныч.

— Нет, я не священник...

— А профессия какая?

Дождь задумался. Подумав, он улыбнулся и ответил:

— Наверное, музыкант, певец...

— Вон оно что! — уважительно кивнул Неверующий.— Петь я люблю. Газировки хотите?

— Нет, спасибо...

— Они, конечно, эссенции мало льют, разбили бутыль, а теперь и вовсе безвкусная будет. И давно вы знакомы?

— Почти пятьсот лет...

— Ага,— заулыбался Петр Иваныч,— давно, значит! Это хорошо!

Он вытащил из стола бутылку «Лимонада», налил стакан и залпом выпил.

— И сахару недокладывают! — вздохнул он.— Вроде варенье варить рано, куда они его таскают?!. Так вы в школе пение преподаете? — вдруг сообразил Петр Иваныч.

— Нет, я не учился этому, я пока не достоин еще учить других...— смутился Дождь.

— Вот это хорошо! — обрадовался Петр Иваныч.— А то нынче не успел сопли подтереть, давай других учить! Моему директору тридцать семь лет! Мальчишка! И он меня учит, как учет вести! Сопляк! А вы где работаете, позвольте полюбопытствовать?

— Я пока нигде не работаю...

— Вот это плохо! — покачал головой Петр Иванович.— Работа, она облагораживает!..

— Я буду работать! — заверил Неверующего Дождь.

— Вот это хорошо! С вашей специальностью можно ого-го! У нас технологом Афанасий Титыч работал. На трубе дул. Дул и дул. Мы его выгнали за пьянку, он никуда устраиваться не хочет. Я спрашиваю: чо робишь? Он грит: играю на альтушке, «жмуриков» провожаем. В день по десятке, да еще напоят и накормят! Сыт, пьян и нос в табаке! Работы два часа и уважение. А помирают каждый день. И всем надо с музыкой... Эт-о хорошая специальность!..— Петр Иваныч помолчал, потом оглянулся на дверь и, подавшись к Дождю, прошептал: — Я вить сам в детстве стихи писал! И ничего! И летать очень хотелось. Мы с пацанами даже крылья сделали и с сараюхи сиганули. Ну, отец выдрал, само собой. Только Снегирь ногу вывихнул, а так была у меня охота до всякого такого. Была, да прошла...— Петр Иваныч потускнел, сник, долго молчал, потом добавил: — Я очень завидовал, кто на гармонике играть умеет! И так сердце жгло, так играть хотелось, да отец не купил, а поиграть не давали. У Костромеева была гармоника. Сам не играл, но и играть никому не давал. Не для того, грит, куплена, для фасону стоит!..

Тайный свет вдруг вспыхул в угасшей душе Петра Иваныча, и слабый отблеск засветился в глазах. Дождь невольно почувствовал к нему симпатию.

— Еще ведь не поздно,— проговорил Дождь.— Душа отогреется и сама запоет, главное, чтоб желание не остыло... Так бывает поначалу: живешь раздельно со всем миром, и звуки раздельно — скрип дверей, шорох песка, шум волн, свист ветра. И вдруг все связывается в мелодию, ты слышишь музыку дня, и гул подземного оркестра уносит тебя к вечности... Так и у любви своя мелодия, как она возникает, никто не знает, но вдруг она прорезалась и понесла, как вихрь, тебя за собой, и вот уж такие бури и ураганы ревут у тебя за спиной, и в этом громе и грохоте нежная мелодия фагота и небесный голос флейты, они переплетаются, и их уже нельзя разлучить, их уже никто не может разлучить, они вдвоем на всю жизнь, на все времена. Разве это не бессмертие? Это они там,— Дождь поднялся и ткнул пальцем в небо,— воображают, что бессмертны и что более никто не обладает этим правом! Так вот, бессмертие не великая длина лет, прожитых в созерцании или деяниях небесных, бессмертие еще и в любви, и энергия, возникающая при этом, обладает столь безумной силой, что в состоянии как убить, так и исцелить. Меня она возродила, я человек, и я могу летать! — он снова как стоял, так и взмыл в окно, оставив за собой длинный светящийся след...

Петр Иваныч не упал. Он как сидел, так и остался сидеть на стуле. Он вспомнил, что незнакомец и вчера улетел точно так же.

— Ушел в астрал,— прошептал Петр Иваныч, повторив любимое выражение своего бухгалтера-ревизора Бобoрыкиной. Она слыла лихой женщиной и умела осаживать грубиянов.

Было тихо, ни ветерка, и Неверующий обратил внимание на то, как подрагивают ветки яблонь. Он вдруг подумал о том, что никогда не влюблялся. С женой его познакомила сестра Клавдия. Екатерина Ивановна только что окончила училище и уже работала стоматологом. Клавдия, узнав, что Катерина Ивановна не замужем, развила такую бешеную деятельность, что Петр Иваныч послушно сделал врачихе предложение, и та его почему-то приняла. У Клавдии был дар свахи. Она женила всех, кто на ком хотел, и брала 50 рублей по старым ценам, то есть по-нынешнему всего пятерку. Катерина Ивановна была

женщина нехрупкая, и Петра Иваныча первое время частенько принимали за ее сына. Так они вышли на фотографии, да, собственно, так оно и было на самом деле. Неверующий жену даже побаивался. Когда они еще только познакомились, Петр Иванович так и сказал Клавдии: «Уж очень она большая и высокая!»

— Не с ростом жить, а с человеком! — отрезала сестра.

И действительно, они живут уже двадцать лет без ссор и скандалов, мирно и счастливо. Только вот ни разу Петр Иваныч еще не влюблялся...

Он долго думал над этим, но в голову ничего, кроме Боборыкиной, почему-то не приходило. Боборыкина только что развелась с мужем и вела себя так, словно ей стукнуло восемнадцать. Она игриво посматривала на Петра Иваныча, потом делала задумчивое лицо, потягивалась и говорила неопределенно:

— Ой, девки, квасу, что ли, принести? Жарко!..

Этой репликой она целила прямо в Петра Ивановича, который боролся с мелкими хищениями на производстве.

Раньше после работы кто захватит пряников, только что вышедших из печки, кто конфет, кто бутылку лимонада. А вахтер, тот целый день сосал леденцы и пил лимонад, жалуясь всем, что с газов у него живот пучит. Так продолжалось до тех пор, пока Неверующего не избрали в районный народный контроль, и он, понаслушавшись там дельных разговоров, объявил войну хищениям. Поэтому и реплика Боборыкиной относилась именно к нему, так как девки сидели над отчетами и голов не поднимали.

Боборыкиной шел тридцать седьмой год. Она еще была не старая и, надо сказать, особенно ничем не отличалась, однако рост у нее был 160, а у Неверующего — 167, и такое соотношение Петру Ивановичу больше нравилось. Веснушчатая, обыкновенная, миленькая... Петр Иваныч-то выглядел импозантно, особенно когда он надевал галстук и шляпу.

— Петр Иваныч! — однажды, увидев его в шляпе и галстуке, воскликнула Боборыкина.— Вы неотразимы! Я падаю, сраженная стрелой амура!

— Чем-чем? — не понял Неверующий.

— Ну, то есть моментально влюбилась в вас! — покраснев сказала Боборыкина.

— Боборыкина! Ты мне накладные все в порядок

приведи! — сурово сказал Петр Иваныч.— А потом и о любви поговорим... к производству!

Так проходила его жизнь, и, кроме Боборыкиной, про любовь ему никто не говорил. «Интересно, а что по вечерам делает Боборыкина?» — почему-то заинтересовался Неверующий.

Он уже хотел углубиться в этот вопрос, как вдруг послышалась тихая мелодия и зашумел дождь.

— Однако! — воскликнул Петр Иваныч и высунулся в окно.

Небо раскинулось ясное, и яркие звезды горели в вышине.

Петр Иванович, не вытерпев, выскочил на улицу. По переулку гулял дождь, тихий и грустный. Он неслышно ходил по крыше, звенел в водосточных трубах, вторя далекой и еле слышимой мелодии, растворяясь в ней, то усиливая, то приглушая ее, он плыл по переулку, сам как мелодия, и воздух был напоен ароматом листвы и цветов.

Неверующий подставил лицо теплым струйкам и блаженно улыбнулся, ощущая на губах привкус дождевой воды, пахнущей деревенским лугом и старыми бочками возле крыльца.

— Хорошо-то как! — не веря себе, прошептал Петр Иваныч.

Он глянул в соседний переулок и обомлел: дождя там не было. Ветер ворошил грязные бумажки возле урны, и пыльные витрины ломбарда угрюмо смотрели в ночную пустоту. Неверующий, крадучись, направился туда, чтобы опровергнуть такую неслыханную ересь. Еще в детстве, когда он жил в деревне, они с мальчишками все мечтали ступить на эту пограничную линию дождя так, чтобы одна нога стояла на сухом, а по другой бы хлестали капли. Но мечта так и осталась мечтой, и сколько бы они ни бегали за дождем, граница была неуловима.

И вот теперь Петр Иваныч, осторожно подобравшись к дождевому краю, осторожно вытянул руку на сухую сторону: дождя там не было! И одна нога Неверующего теперь и вправду стояла на сухом, а по другой хлестали капли!

— Чудеса, чудеса! — бормотал Петр Иваныч.— Чудеса в решете!

А дождь не утихал, и странный голос, вбиравший в себя шум улицы, стук, перезвон капель, шелест

разбуженной листвы, наполнял душу радостью и воспоминаниями. Неверующий увидел себя семилетним босоногим мальчишкой, пляшущим от радости на берегу Лосьвы вместе с друзьями. Вокруг бушевал ливень, и речка вскипала, как молоко, белыми пузырями.

И слезы подступили к горлу. Петр Иваныч неожиданно для себя заплакал и, сбросив тапочки, босиком зашлепал по лужам к дому. Дойдя до подъезда, он вернулся обратно, подобрал тапочки, подбитые мехом и купленные женой за три рубля на рынке, и, не вытирая слез, вошел в прихожую.

Из зеркала на него взглянуло детское маленькое личико с голубыми глазами, какое он видел на старых родительских карточках. У Петра Иваныча сжалось, захолонуло сердце, и лишь через секунду он увидел морщины вокруг глаз и лысеющую голову. Неверующий бросил тапочки в угол и, оставляя на чисто вымытом полу грязные следы, прошел в ванную, открыл кран, но вместо воды послышалось глухое и тяжелое ворчание.

Петр Иваныч махнул рукой и, как был, в мокрой пижаме упал на старый кожаный диван, провалившись тотчас в бездонную пропасть. И пока длился сон, он все время летел вниз, и чем дольше летел, тем холоднее ему становилось.

Наутро он проснулся от озноба и долго не мог унять дрожь, хотя на улице полыхало душное желтое марево, и жена, с утра обливаясь потом, ворчала на Петра Иваныча, точно он и напланировал такую жару.

Петр Иваныч ощутил в груди странное беспокойство и долго не мог понять, что с ним происходит. Он не слышал, как ругалась жена, он даже отказался есть котлеты с вермишелью. Выпил чаю, потом стоял в маленькой комнате и смотрел в сад. На цветах еще не высохла роса, и земля была темная от влаги, и на траве блестели капли. И странный туман окутывал сад, и медленная, как туман, мелодия с переливающимися каплями росы плавала в саду, и в первый раз Петру Иванычу не захотелось идти на работу. Он улыбнулся грустно и загадочно, вздохнул и вышел из дома. День только начинался.

Надо заметить, что все эти полеты Дождя в окно вовсе не являли демонстрацию его сверхъестественной силы: вот, мол, смотрите, что я могу! Он взлетал потому,

что был еще легок, как пушинка, душа еще осваивалась в теле. Наподобие того, как жильцы в первый раз осматривают новую квартиру, так и душа искала себе подходящий уголок, чтобы спокойно жить долгие годы (у Ахиллеса, как вы, наверно, помните, она жила в пятке).

Дождь взлетал еще и потому, что силы души приходили в безудержный восторг, и он не мог уже сидеть на одном месте. Нормальные люди начинают при этом бегать, размахивать руками, но они подвластны земному тяготению, а Дождь был как пушинка, и стоило ему подпрыгнуть, как его уносило бог знает куда.

Можно, конечно, было бы не спешить, подождать, пока все устроится, тело наберет вес, силу и крепость, но Дождь не обладал такой основательностью в мыслях и поступках, его натура, а точнее, опять же душа жила всегда с той сумасшедшинкой, по которой все легко угадывают поэта, прощая ему все причуды.

Кроме того, Лене уже исполнилось семнадцать, а во Флоренции юношеских лет Дождя такая девица уже считалась перезрелой и отцы семейств торопились сбыть залежалый товар с рук.

Срок очеловечивания не так прост. Требовалось десять дней, чтобы душа нашла себе прочное пристанище в теле, и еще сорок, чтобы тело обрело вес и крепость. Но после первых девяти дней путь назад становился уже невозможен. А у Дождя истек второй день. Оставалось еще семь.

Конечно, Дождь уже не колебался, сделав выбор, но решение далось ему с трудом. Немало язвительных упреков и уговоров вылилось на него. Со времен Прометея в Храме такого не случалось. Но Прометей и не собирался возвращаться, он лишь хотел, чтоб людям лучше жилось, такая у него обнаружилась жалостливая душа, а тут... возвращение! Старик мог и запретить. Но он почему-то разрешил. Даже, говорят, сказал такую фразу: «Все хоть завтра могут выкатываться, я никого не держу!» Это отнесли за счет того, что Дождь ходил у него в любимчиках. Однако вскоре Большой Совет выпустил специальное разъяснение в связи с возвращением Дождя, где говорилось, что каждый, пробыв на небесах пять столетий, имеет право вернуться на землю, но, закончив вторую жизнь в образе человеческом, прямой дорожкой отправляется в ад — питать геенну огненную в недрах земного шарика так, чтоб он крутился вокруг своей оси. Это разъяснение мигом остудило многие горячие головы, вспомнив-

шие было счастливые денечки на земле. Вышло даже несколько книг антивозвращенческого характера. «Один счастливый день из 52 лет» — эта книжка Северного ветерка почем зря хаяла земную жизнь, которая описывалась как сущий ад. Вышли книги о коварстве женщин, и муки любви сравнивались с муками Тантала. Молодежь жадно читала эти бестселлеры, понемногу примиряясь со своим однообразным житием. Однако находились и свои Фомы неверующие. Один Морской Бриз, имея сладкую курортную работенку, отказался есть манну небесную и запросил черную корочку. Ему принесли. Он съел и долго мучился отравлением, а вылечившись, раскаялся, но было поздно, его отправили в пустыню Сахару пересыпать с места на место песчаные барханы...

Можно немало рассказывать забавного об этих событиях, но вернемся к нашему герою, ибо настал третий день, а Дождь все еще толком не объяснился с Леной.

Ленка же готовилась к сочинению, оставался один день, но в голову ничего не лезло, эта необъяснимая встреча напрочь вышибла ее из равновесия. Ленка позвонила Мышке (Таньке Мышкиной), однако ни она, ни Митин, ни Чугунов, позвонивший вечером, не только ничего не слыхали о Дожде, но принялись ее уверять, что никакого дождя не было и даже заставили позвонить в Бюро прогнозов, где ее попросту высмеяли, посоветовав обратиться к психиатру. Но дождь-то был, уж в этом Ленка точно была уверена!

На консультации Чугунов сказал, что она, видать, переутомилась, и пригласил всех вечером в безалкогольный бар «Белый медведь» выпить кофе и потанцевать. Все ответили взрывом восторга, и Ленке ничего не оставалось, как подчиниться большинству. Она весь день ждала Дождя, книги падали у нее из рук, но он не приходил. Тоска доконала ее, и она махнула рукой: может быть, действительно переутомилась и ничего не было!

У дверей «Белого медведя» толпились юнцы и юницы в майках и маечках, с рисунками, наклейками и без, заглядывающие в витражи полутемного кафе, откуда доносилась бурная, крикливая музыка. Дождь попробовал протиснуться к дверям, но толпа зашумела, кто-то схватил его за блузу, и он вынужден был отойти. Дождь обошел здание и наткнулся на служебный вход, но последний был заперт на крюк. Откинуть его не стоило труда, и Дождь

проник на кухню, откуда беспрепятственно вышел в зал, не замеченный никем, хотя шел открыто и не таясь.

Лена с одноклассниками сидела в углу. На столе горела пузатая с оранжевым колпаком настольная лампа. Диск-жокей объявил перерыв, и зал гудел, захлебываясь в шуме и разговорах, официантки подтаскивали закуски и коктейли, и по разгоряченным лицам чувствовалось, что дело не обходится одними безалкогольными напитками.

Лена увидела его и дрогнула, напряглась как струна. Дождь подошел совсем близко, но, заметив ее волнение, машинально сел за соседний столик.

Чугунов тоже заметил Дождя, обратил внимание и на то, как заволновалась Лена.

— Твой знакомый? — негромко спросил он.

— Да,— отрывисто ответила Лена, и щеки ее вспыхнули.

Крупа цедил свой коктейль, сдобренный изрядной порцией портвейна, который щедро подливал знакомый официант Чугунова Жорик. Одна Ленка почти ничего не пила.

Дождь и сам не заметил, как оказался за чужим столиком, его трясло как в лихорадке. В кафе было душно, накурено, а тело его еще не умело защищать душу, и она задыхалась в этом чаду. Неожиданно из тумана выглянуло чье-то лицо с утиным носом и широкой проплешиной. Помигав мутными глазками, лицо потерлось щекой о замшевый пиджак и, заикаясь, спросило:

— А вы к-кто, собственно говоря?!. Вы что здесь?!. Куда вперлись?!.

Дождь улыбнулся, пытаясь сообразить, что следует ответить, но слова словно ветром выдуло.

— Место занято! — проговорил человечек.— Чо вылупился?.. Чеши отсюда!

Утиный нос Замшевого заблестел от пота. Он оглянулся, ища официанта. Наконец, заметив его, закричал, замахал рукой, но официант исчез в подсобке, и Замшевый побежал за ним. В это время вернулась спутница Замшевого, взглянула на Дождя и подмигнула ему. Дождь подмигнул в ответ.

— А где этот? — Она села на место Замшевого.

Дождь пожал плечами.

— Противный, правда? — она брезгливо поджала губы.— А что делать? Другие не приглашают!..

Дождь взглянул на Лену. Ей что-то нашептывал Чугунов, но она не слушала, следя за тем, что происходит за соседним столиком.

— Ты меня не слушаешь,— сказал Чугунов.— Откуда ты его знаешь? — кивнул он на Дождя.

— Знаю,— ответила Лена.

— Откуда он? — не унимался Чугунов.

— Я хочу домой,— сказала Лена,— завтра экзамен, надо выспаться!..— Она поднялась.

Митин с Мышкой тоже поднялись.

— Подождите, а кофе? — остановил их Чугунов.— Кофе и пирожные! Заплачено же!..

Лена села. Сели и Мышка с Митиным. Крупенников, набравшись коктейлей, клевал носом.

— Тебе придется отвезти его домой,— сказала Лена Чугунову.

— Дойдет! — огрызнулся тот.

— Ты его напоил, тебе и отвечать! — жестко сказала Лена.

— Мог не пить.

— Ты же знал, с чем эти коктейли, мог и остановить.

Чугунов поморщился.

— Ладно, потащу к себе,— согласился он.— Песню испортил, дурак! — Чугунов стукнул Крупу по шее.

— Кончай! — не поднимая головы, проворчал Крупенников.

Дождь взглянул на Чугунова. «Чистое кукольное личико с темными, еще слабо пробивающимися усиками, умные холодные глаза, совсем еще мальчик, а такой уж холод в душе,— подумал он.— На вид мальчик, капризный, развращенный, испорченный мальчик...» Где же он видел это лицо?

Вернулся Замшевый с официантом.

— Вот видишь, приперся и сидит! — возмущался он.— Я и так, и этак, и по-хорошему, а он ни бэ, ни мэ, ни кукареку!

— Да это мой брат из Сузуна, чо завелся, зараза?!.— вскинулась его спутница.— Я его пригласила, пусть сидит, на тебя посмотрит, какой ты есть!

— Ну, если брат, я что ж, я это...— замялся Замшевый, подавая руку.— Валентин, бывший, так сказать, в настоящем. Мы поженились, когда вы, так сказать, отбывали...

— Дождь...

— Ага...— не поняв, кивнул Валентин.— А я Надежду спрашиваю, что да кто, а она темнит... Стульчик, это, и прибор, а?

Официант принес стул и прибор.

— Я думаю, надо за знакомство.— Валентин оглянулся.— Тут не дают, а мы с собой втихаря,— он налил под столом стакан водки, разлил на троих.— Вздрогнем? Или ощетинимся?.. А?

— Я не хочу,— сказал Дождь.

— Это не по-товарищески,— погрозил пальцем Валентин.— У нас не принято! Тем более мы с Надеждой,— он заулыбался, на носу блестели капли.— Ну, в общем, кое-что решили...

— Я пока ничего не решила! — заявила Надежда.

— Да ладно, будет, чо ты, братан ведь! А то как неродная! Ну?!

— Еще слово — и так вмажу, что вылетишь отсюда в два счета!

— Ну, чево завелась?!. Я тост хотел сказать почти про любовь, а ты: вмажу, вылетишь!.. Ну, бывайте! — Он залпом выпил.

Лена за соседним столиком поднялась.

— Подожди, сейчас принесут кофе! Еще десять только,— сказал Чугунов.

— Нет, мне надо идти! — Лена вышла из-за столика, направилась к выходу.

Чугунов поднялся, чтобы проводить, но Дождь бросился следом, опередив его.

— Эй, братан?!.— удивленно закричал вслед ему Валентин.— Надежда, догони его! Он чо, обиделся? Я ж пошутил!..

Надежду точно кто подтолкнул, она догнала Дождя и, остановив его, прошептала:

— Не бросайте, уведите меня, я больше не могу!

Лена оглянулась, увидела плачущую женщину, державшую Дождя за руку, и выскочила из кафе. В голове у нее все перемешалось: и эта женщина, назвавшая Дождя братом, что была явная ложь, и ее плешивый спутник и пьяный Крупенников. Одно она знала теперь твердо: она не только никогда не любила Чугунова и не смогла бы полюбить, но даже не испытывала к нему симпатии. Брезгливое отвращение вдруг разом заполнило ее. Она еще не понимала, откуда это отвращение, ведь неделю назад у него дома она даже позволила ему поцеловать себя, он сделал это умело, наслаждаясь больше ее смущением, чем сам волнуясь, но тогда она об этом не думала, это выплыло вдруг сейчас, в тот самый миг, когда появился Дождь.

До него весь день и вечер она жила в тревожном предчувствии беды, и в кафе, несмотря на все усилия Чугунова и диск-жокея, ей не сиделось.

Пришел Дождь, и ее в тот же миг ожгло его неподдельным волнением, и сразу же выплыла вся фальшь Чугунова. Вот чего она не могла распознать сразу: фальшь и подделку!

Уже свернув в Тихий переулок, она остановилась. Никто не догонял ее, и она подумала о Дожде. И странное дело: не ревность, а тревога за него вдруг шевельнулась в душе.

Дождь вышел из кафе вместе с Надеждой, она крепко держала его за руку, точно боясь, что он убежит.

— Вы меня только проводите, и все, а то увяжется этот плешивый, не отлипнет! Я еще, чего доброго, глупостей наделаю! Вы приезжий?

— Да,— Дождь кивнул.

Они быстро шли по дороге, Надежда время от времени оглядывалась, опасаясь погони. Но никто не бежал за ними. Только сейчас Дождь сумел рассмотреть женщину. Кудрявые колечками темно-каштановые волосы обрамляли слегка удлиненное лицо, кое-где тронутое уже первыми морщинками. Невысокая, с ладными ногами и гибким телом, Надежда вполне могла бы считаться красавицей, но выражение ожесточенности, не сходившее с лица, портило все дело. Тонкие черты требовали мягкости, доброты души, но какая-то застарелая, крепкая обида сидела в ней, заставляя Надежду не расставаться с маской злого высокомерия и брезгливости.

— Козел вонючий! — выругалась она.— Он и не понял, что я бросила его! Бросила навсегда! Сейчас завалится спать и захрапит!.. Он, видите ли, собирается возвратиться, думает, что осчастливил меня! Козел! Вы извините, что я так резко, но вы же видели, что это за субъект. Обыкновенный слесарь-сантехник, а туда же, замшевый пиджак напялил, который как седло на корове!.. А вы откуда?

— Я?..— Дождь запнулся.— Я из Венеции...

— Из Венеции? — удивилась она.— По турпутевке ездили?

— Ага,— кивнул Дождь.

— Ну и как там? Сколько меняют?

— Чего меняют? — не понял Дождь.

— Ну, денег сколько меняют?

— Я не помню, это давно было...

— А сейчас вы где работаете? — удивилась Надежда.

— Я музыкант,— не понимая, что от него хотят, ответил Дождь.

— А-а, так вы на гастроли ездили!

— Да,— сказал Дождь, вспоминая, что это за слово «гастроли».

— Я так и подумала сразу. Я только подумала, что вы поете,— уточнила Надежда.

— А я действительно пою,— удивился Дождь ее догадке.

— Правда?!. Вот здорово! А как ваша фамилия? Может, я слышала?..

— Вряд ли... Это было давно,— он смутился.

— Нет, правда, скажите! Хоть буду знать, кто меня провожал. Завтра расскажу девчонкам, те лопнут от зависти. Я в бухгалтерии райпищекомбината работаю. Так как ваша фамилия?

— Моя фамилия Веротти, Андреа Веротти, но все зовут меня Дождь...

— Веротти?! — обалдела Надежда.— Вы что, иностранец?

— Я родом из Флоренции. Но зовут меня Дождь.

— Дождь?— воскликнула она.— Просто дождь?

— Да, просто Дождь,— улыбнулся он.

Надежда расхохоталась.

— Ну, ты даешь! Надо уж было свою фамилию оставить! Андреа Веротти! Это звучит. А Дождь.... Это не интересно. На Веротти все попрутся, а кто пойдет слушать Дождя? Вон, осенью как зарядит, тоска смертная!..

— Это неправда,— возразил Дождь.— Надо уметь слушать! Там иногда играют такие сложные мелодии, что на инструментах, на любом инструменте, даже рояле это не воспроизвести. Это даже неподвластно порой целому оркестру. Имеющий уши да услышит! Это такая тонкая вязь звуков, тонов, полутонов, октав, аккордов, вы себе не представляете, какое наслаждение иногда слушать. Правда, находятся люди, которые не слышат эту музыку или равнодушно ждут, когда она кончится...

— Вы красиво рассказываете,— вздохнула Надежда.

— Мы скоро придем? — спросил Дождь.

— Уже пришли,— Надежда остановилась.— Вот мой дом. Хотите кофе?

— Нет, спасибо, я не пью...
— Может быть, чаю?
— Нет-нет, спасибо!
— Может быть, мы встретимся? Я ни на что не претендую...
— Нет-нет! — воскликнул Дождь, попятился назад и вдруг взлетел, оставив слабо светящийся след.
— Ой-ой!..— застонала Надежда, ноги у нее подкосились, и она села прямо в песочницу, на острое детское ведерко. Дикий визг огласил округу, и наутро все соседи уже знали: Боборыкина загуляла!

На востоке вспыхнула первая белая звездочка, Лена услышала, как вздохнул сад, и, прильнув к окну, увидела Дождя. Он стоял под яблоней и смотрел на нее.
Лена открыла кухонное окно, и Дождь подошел к ней.
— Что это за женщина была там? — спросила она.
— Не знаю,— вздохнул Дождь.— Она попросила проводить ее.
— И ты... провожал ее?
— Да,— просто ответил Дождь.— Мне показалось, что у нее какая-то беда...
— И о чем вы говорили? — ревниво спросила Лена.
— Она расспрашивала, кто я и откуда. А я ничего не мог объяснить...
Лена стояла перед окном в одном халатике, и свежее дыхание сада обдавало ее ознобом.
— Тебе холодно? — обеспокоился Дождь.
— Нет-нет, мне не холодно!.. А что с нами произошло там, в Венеции?
— Нас убили... Я и по сей день не пойму, кто подослал этих убийц. Видимо, тебя выдавали уже замуж, ты считалась чьей-то невестой... Мы уже собирались бежать во Флоренцию, нас ждала лодка на побережье, но было прохладно, и я решил забежать за плащом, чтобы укутать тебя, на тебе было лишь тонкое розовое платье... Ты не захотела отпускать меня одного, и мы побежали вместе вприпрыжку, смеясь и радуясь, как дети. Мы поднялись в мою комнату, я набросил на тебя свой плащ, и ты так сильно прижалась ко мне, что я услышал биение твоего сердца... Я и не заметил, как они вошли...
— Мы целовались в этот момент...
— Да... Ты вспомнила?

— Мне кажется, что я вспомнила...— прошептала Лена.

Петр Иванович Неверующий как раз проснулся в этот миг и, ощутив неприятную сухость в горле, решил выпить газировки. Он сунул ноги в шлепанцы и поспешил на кухню, зевая и почесываясь, уверенный, что все спят. Каково же было его удивление, когда у раскрытого окна он обнаружил дочь и этого, лохматого, который летает.

— Вы чего не спите? — удивился он.— Завтра же экзамен!

— Не спится, папа,— вздохнула Лена.

— Ты сначала экзамен сдай, в институт поступи, а потом, это, любовь крути! — Петр Иваныч достал полбутылки «Буратино» и залпом выпил.— Теперь эссенции перелили! — поморщившись, сказал он.— Подействовала критика!

Почувствовав горечь во рту, Неверующий взял конфетку, разжевал.

— Горчит шоколад! Опять Симаков крутит! Ну, пройдоха! Ладно, иди ложись, подождет твой этот... до утра, а то напишешь на двойку, мать тебе устроит такое свидание, что сама не рада будешь! Иди!

— Да напишу я! — огрызнулась Лена.— Сейчас пойду! Иди, я приду сейчас!

Петр Иваныч хотел уж совсем рассердитья, но вдруг кто-то внутри него грубо сказал ему: «Ты чо к девке прилип?!. Иди спать!»

Неверующий оглянулся, но, никого не найдя, махнул рукой и ушел спать. И заснул мгновенно, проспав до половины восьмого и опоздав на работу на пятнадцать минут, точно принял вечером снотворное.

Вспомним теперь о майоре в отставке Льве Игнатьиче Шилове. К трем часам он направился в горжилкомхоз для утверждения своих инструкций, в которых ему, как председателю КВР, предоставлялось бы право без суда и следствия самому штрафовать жильцов до 10 рублей (в случае первого нарушения), при штрафе до 30 рублей составлять акт, каковой утверждался бы главой горжилкомхоза (в случае повторного нарушения), и делать представление горисполкому на выселение (в случаях постоянных нарушений). Это было главное в инструкциях, и этого Шилов добивался, понимая, что одними увещеваниями и разъяснительной работой ничего не достигнешь.

Однако происшедшие события совсем выбили его из ко-

леи. А тут еще, как назло, в голову засел этот голос: «Джонни, ты меня не знаешь, ты мне встреч не назначаешь...» Фраза лезла и лезла из него, и не успел Шилов войти в горжилкомхоз, как тотчас пропел подбежавшей к нему завотдельше по ремонту жилых зданий: «Джонни, ты меня не знаешь...»

Завотдельша, пятидесятилетняя Римма Эммануиловна, в испуге отшатнулась и, выпучив глаза, проговорила:

— Что это с вами, Лев Игнатьич, голубчик? Вы выпили?!..

— Я не пью, Римма Мануиловна, извините, это оперетку по телевизору давали, вот засела. Я вас слушаю!

— Дайте мне срочно экземпляр инструкций, я снесу начальнику.

Шилов поблагодарил и бодро поднялся на третий этаж, в приемную, ожидая начала обсуждения.

Но инструкции не приняли. Не приняли потому, что Шилов вручил Римме Эммануиловне вовсе не экземпляр своего проекта, а копию анонимного письма на Любовь Сергеевну Ефремову, квартиросъемщицу 18-й квартиры, да-да, ту самую даму с пионами, которая якобы облила Неверующую. Существо анонимного письма было так запутано, что даже Шилов с трудом разобрал: поет всякие (далее следовало нецензурное слово — нцзр) песни, сама такая нцзр, кроме того, по вечерам нцзр, а также и ночью нцзр, и вообще нцзр. Вот такое было письмо, но главная претензия сводилась к следующему: «Ей, нцзр, хватит и одной комнаты для своих нцзр, а мне, трудящемуся, живущему в одной, метров не хватает...»

Шилов выяснил, что Любовь Сергеевна была замужем за полковником Ефремовым, погибшим в автокатастрофе, и квартира поэтому сохранялась за его вдовой. Но это частное дело вдруг оказалось в портфеле вместе с инструкциями, и когда глава горжилкомхоза начал читать анонимку, то тотчас побагровел и, бросив ее на стол, заявил:

— Такие инструкции я и обсуждать не собираюсь!

Инструкции не только не утвердили, но по всему горжилкомхозу тут же заговорили о злоупотреблении Шиловым служебным положением, что выразилось в распространении пасквилей на советских граждан. В печати как раз остро дискутировали насчет анонимок.

— Но не я же писал, товарищи!..— воскликнул в сердцах Шилов.

— А зачем копию сняли? — сурово спросила Римма Эммануиловна.— Хотели бедную женщину шантажировать?!.

— Вы что, товарищи, я...— Лицо Шилова покрылось красными пятнами.

— Предлагаю освободить товарища Шилова от обязанностей председателя КВР домов 10 и 12 по Тихому переулку,— предложила Римма Эммануиловна.

— Не будем спешить,— остановил ее глава горжилкомхоза.— Мы только что вынесли Шилову благодарность за отличную работу, и нас не поймут с такими поспешными выводами. Но чтобы не быть уж совсем беспринципными, мы, во-первых, попросим Льва Игнатьевича извиниться перед Любовь Сергеевной за распространение подобной мерзости, а вам, Римма Эммануиловна, я поручаю обстоятельно проанализировать работу КВРа 10—12 по Тихому переулку и доложить нам на следующем заседании. Все, спасибо, товарищи!

«Джонни, ты меня не знаешь...» — ехидно пропел голос внутри Шилова, и бывший майор покорно кивнул.

Вот так все обернулось. Лев Игнатьич возвращался домой разбитым. Валидол не помогал, сердце щемило, и он, зайдя в аптеку, купил нитроглицерин. Подойдя к дому № 12, он остановился и, помедлив, решил зайти в квартиру 18 извиниться, чтобы разом свалить все обиды, опрокинувшиеся на него в этот день.

Пока он взбирался на пятый этаж, взмок до нитки. Не пойдешь ведь на ответственное заседание в одной рубашке да без галстука... Взмокший, обмахиваясь шляпой, предстал Шилов перед ослепительно красивой женщиной в ярко-красном халате с пионами.

Любовь Сергеевна была всегда верной женой. Шилов узнал это из надежных источников и, сделав копию письма, наоборот, хотел найти хулиганского анонимщика, дабы наказать его так, чтобы и глаз больше не смел поднять на вдову полковника. Узнав о трагической гибели ее мужа, Лев Игнатьевич даже скрепя сердце закрыл глаза на то злополучное ведро, которое Любовь Сергеевна по нечаянности (как сразу же решил Шилов) опрокинула на Неверующую. Просто зайти, предупредить, думал он, а тут вон как все повернулось, ну, да делать нечего...

— Проходите, Лев Игнатьич! — увидев Шилова, весело проговорила Любовь Сергеевна. Улыбка явила целый ряд белоснежных зубов, и Шилов совсем смутился.

— Откуда вы меня знаете? — удивился он.

— Кто же вас не знает, да и, говорят, вы интересовались мной. Я еще вчера ждала вас...

— Вчера?..— У Шилова пересохло в горле.

— Проходите! Что это вы в пиджаке? Жара, как в Гаграх! Снимайте пиджак! Галстук!..

Он и опомниться не успел, как оказался в одной рубашке без галстука и на столе перед ним стоял запотевший бокал с апельсиновым соком.

— Пейте! Только сок очень холодный. Может быть, минеральной воды, она на полу в комнате стоит?..

— Да,— промычал Лев Игнатьич.

Шипучая минералка разорвала сухость во рту, и в глазах даже потемнело.

— Садитесь в кресло! — послышался голос.

Шилов сел в кресло. Хозяйка включила вентилятор, и прохладный ветерок коснулся лица.

— У вас совсем замученный вид, Лев Игнатьич! — улыбнулась Любовь Сергеевна.— Нельзя себя так перетруждать!.. Я вас слушаю, что вас привело ко мне?

— Меня к вам? — переспросил Шилов.

— Ну да...— неуверенно проговорила Любовь Сергеевна.— Вы пришли ко мне, потому что ходят разговоры, будто я облила эту девочку, Лену, по-моему из соседнего дома, то есть вылила на нее ведро воды. А сейчас с этими затруднениями, когда все экономят... вы ведь поэтому пришли?

— Нет,— вдруг сказал Лев Игнатьевич и часто заморгал.— Я...— Шилов поднялся.— Я хочу выразить соболезнование по случаю... Я только узнал... Жил, знаете, за глухой стеной неведения, словом, располагайте мной, как вам заблагорассудится!

Эта неожиданная речь Шилова смутила Любовь Сергеевну. Румянец тронул ее смуглую кожу, и Лев Игнатьич, как мальчик, влюбленно, завороженно взглянул на женщину. Восхищение уже открыто сияло на лице.

— Я счастлив, что увидел вас, вы такая... Я не понимаю, почему из-за вас не стреляются на дуэлях! — выпалил одним духом Шилов.— Стойте так и не двигайтесь, а я убью его! Одну минутку!..

Любовь Сергеевна не успела и вскрикнуть: «Ах, куда вы?!» — как Шилов без тапочек, в одних носках вышел из квартиры 18 и позвонил в квартиру 19.

Дело в том, что по некоторым нцзр Шилов догадывался, кто автор анонимного письма. В квартире 19

проживал некий Гриша Анисимов, работающий мясником в гастрономе номер три. Гриша жил с женой и ребенком, стоял на расширение, но квартирная проблема в Копьевске, лишенном большой промышленности, решалась очень туго, поэтому Гриша решился на анонимку.

Шилов ворвался к Грише как разъяренный вепрь. Он схватил Анисимова за майку и заорал, что выведет клеветника на чистую воду.

— Ты знаешь, что есть статья?!.— закричал Шилов.

— А ты докажи сначала,— дожевывая мясо, спокойно сказал Анисимов.

— Я докажу! Я так докажу, что жители все, как один, выйдут на улицу и выгонят тебя из города!

— Чево?..— не понял Анисимов.

— Гриша, что ты сделал?!.— вскричала в испуге жена Лида.

— Тебя забросают камнями и будут показывать пальцами, как на урода. На колени перед ней, извиняйся немедленно! — вскричал Шилов, указывая на вбежавшую Любовь Сергеевну.

— Ты ее обидел?!.— в страхе прошептала Лида.

— Ты чево это?..— Анисимов забегал глазенками.— А ну брысь!

— На колени! — взревел Шилов.— Не заставляй меня превратиться в ураган, который испепелит твой дом, подумай о дочери!

Пятилетняя дочь Анисимова, напуганная криками, заплакала.

— Извиняюсь...— выдавил Анисимов.

— Что случилось? — не поняла Любовь Сергеевна.

— Вот! — указывая пальцем на Анисимова, вскричал Шилов.— Подлость наказуема!.. Пойдемте, Любовь Сергеевна! — И он вывел ее из квартиры 19.

Когда Лев Игнатьич вкратце рассказал Любовь Сергеевне суть дела, опуская грубые подробности, она по достоинству оценила этот поступок, тем более что, встречаясь иногда вечерами со своим соседом, выходившим в майке покурить на лестничную клетку, она стала его бояться. Его откровенные разглядывания (а последний раз он попросту попытался ее обнять), его намеки на одинокую кровать приводили Любовь Сергеевну в содрогание. Она не знала, как ей поступить, к кому обратиться за помощью, и вдруг спаситель явился сам собой, да еще какой спаситель!

Выслушав сбивчивый рассказ Шилова, Любовь Сергеевна вдруг выговорила:

— Можно, я вас поцелую?..

— Меня?!.— Лев Игнатьич опешил, но не успел и опомниться, как ее губы нежно коснулись его щеки. Шилов превратился в соляной столб.

Пока он так стоит, заметим, что Лев Игнатьич уже три года жил один. Единственная дочь, закончив институт в Москве, вышла замуж и уехала с мужем в Эфиопию на три года.

— Можно, и я вас поцелую? — вдруг придя в себя, несмело попросил Шилов.

Любовь Сергеевна ничего не ответила, она только смутилась, и Лев Игнатьич, посчитав сие за согласие, поцеловал ее. Так они еще долго и легкомысленно целовались, пока солнце не зашло за дома и тень не легла на окна.

— «Джонни, ты меня не знаешь!..» — вдруг пропел Шилов.

— «Ты мне встреч не назначаешь...» — отозвалась Любовь Сергеевна. Потом они пили чай, а проголодавшись, готовили ужин, и напрасно беспрерывно звонил телефон в квартире Шилова. Он самолично уволил себя с поста председателя КВР, о чем в тот же вечер и доложил Римме Эммануиловне.

«Первый звон — чертям разгон»,— любил средь бухгалтерской тишины изрекать Неверующий. И все знали, что Петр Иванович обнаружил у кого-то ошибку в подсчетах, что означало минус пять процентов квартальной премии. Оттого все затихали и боязливо поглядывали на него, а он не торопился объявить виновного, тянул, похмыкивал, накаляя без того жаркую атмосферу. Так случилось и в этот раз.. Прошло двадцать минут, все попритихли — а сидели в одной комнате, даже отдельного кабинета не имел Петр Иваныч,— как вдруг Боборыкина не выдержала:

— Может, хватит, Петр Иваныч, издеваться над коллективом?!.

— Что?!.— У Неверующего даже очки слетели с переносицы.— Вы что, Боборыкина, чертей всю ночь гоняли?!. Вы как разговариваете с главным бухгалтером?!.

— Вы для нас в первую очередь мужчина, а не главный бухгалтер и ведите себя как мужчина, а не как

баба! — она так брякнула это слово «баба», с таким чувством, что вздох замирания пробежал по столам. В воздухе запахло электричеством. До обеда оставалось десять минут, и Пуговицына, старший кассир и старейший член бухгалтерии, неожиданно поднялась и, взяв кошелек, вышла. За Пуговицыной моментально выскочили остальные, оставив Боборыкину наедине с Неверующим.

«Прекрасно!» — заулыбалась Боборыкина, расценив этот уход как негласную поддержку подруг. Наедине можно не бояться, все высказать, свидетелей нет.

— Ну-ка, подойдите сюда! — Неверующий поманил ее пальчиком.

— Нет, это вы подойдите! — усмехнулась Боборыкина и, поманив Петра Иваныча пальчиком, указала на стул перед собой.

Неверующий даже оглянулся, точно это не его звали, а кого-то другого. Но в комнате, кроме них, никого не было. Он, конечно, мог возмутиться, закричать, но вместо этого Петр Иваныч поднялся, переместил резинки на рукавах, подошел к указанному стулу и сел. И Боборыкина сразу же растерялась.

Да, глянув на Петра Иваныча вблизи, она растерялась, но совсем по другому поводу. Та красавица, на которую заглядывался вчера в кафе Дождь, была дочерью Неверующего! Как она сразу-то не сообразила! Те же чистые голубые глаза, то же красивое лицо, вылепленное природой с таким тщанием, что даже изгиб ноздрей сделан на особый манер. И этот чистый высокий лоб... «Ему бы очень пошли усы,— вдруг подумала она.— Да он просто красавец!.. И если бабы не кидаются, то только потому, что невысокий. А разве имеет значение рост?..»

— Ну что ж, Надежда Васильевна,— прервав ее молчание, заговорил Неверующий.— Я вас слушаю! Я, как мужчина, вы это верно заметили, даю вам право первой высказать свои претензии ко мне. Я вас внимательно слушаю!..— И Петр Иваныч скрестил руки на груди.

Боборыкина помолчала, потом вдруг улыбнулась.

— Он вчера проводил меня до дома, а потом взял и улетел к вашей дочери,— проговорила она.— Он любит ее, Петр Иваныч, да еще как любит! А вы любили когда-нибудь?

Петр Иваныч, приготовившись выслушивать град попреков, опешил. До него не сразу все это дошло. Он долго

соображал, глядя на Боборыкину. И увидел вдруг, что перед ним сидит красивая женщина и как-то странно, непривычно смотрит на него.

— Я? Ну, знаете, это... При чем здесь любовь?!. Мы остались, надеюсь, объясниться совсем по другому поводу...

— Когда мужчина с женщиной остаются одни, другие поводы просто смешны,— мудро сказала Надежда и улыбнулась.

— Как это смешны?!.— упорствовал Неверующий.— Нет уж, давайте разберемся сначала в наших служебных отношениях! То, что вы мне сказали...

— Никогда не надо воспринимать так серьезно слова женщины. Она говорит одно, а думает другое. И, кроме того, сейчас уже перерыв...

Петр Иваныч взглянул на часы. Они показывали две минуты второго.

— Вас ведь волнует судьба дочери?..

— А при чем тут дочь?! — пробурчал он.

— А о своей судьбе вы задумывались?

— При чем здесь моя судьба?! Вы мне сказали весьма обидные слова, и это слышали все! Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?!

— Нет,— вздохнула Боборыкина.— Я говорю одно, а чувствую другое...

Неверующий помолчал.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду,— неуверенно проговорил он.— Вы изъясняетесь более чем странно!..

— Скажите честно, я вам не нравлюсь? — вдруг спросила она.

Вопрос застал Петра Иваныча врасплох. Он уже чувствовал, что такой вопрос последует, и страшился его, ибо правду сказать совсем было невозможно: Боборыкина ему нравилась! А она ждала от него только правды, ибо ложь тотчас бы открылась, да и Неверующий не умел лгать, он был родом из другого поколения.

— Да, вы мне нравитесь,— дотянув паузу до последнего, пробормотал он.— Но я бы хотел закончить служебный разговор...

Когда Пуговицына привела за две минуты до конца перерыва верный отряд бухгалтеров в их тесную комнату, надеясь узреть следы битвы титанов, ни Неверующего, ни Боборыкиной там уже не было.

Шел четвертый день его возвращения. Дождь снимал отдельный номер в гостинице «Центральная», значился там под именем Андрея Ивановича Веротина, хотя в паспорт, выданный ему Стариком, он так и не удосужился заглянуть.

С утра он побродил по городу. Зашел в краеведческий музей, посмотрел на бивень мамонта, полюбовался старыми доспехами русского воина. Старушка в белой панамке, сидевшая в углу, лизала мороженое.

— За углом продают,— заметив, что Дождь ее рассматривает, сообщила она.— Пятнадцать копеек с кофейным наполнителем...

В картинной галерее было тоже пустынно. Переходя от одной картины к другой, Дождь вдруг наткнулся на небольшую копию «Поклонения волхвов» Боттичелли. Его так и ожгло, когда он всмотрелся пристальнее в эту подробно выписанную картину. Здесь были все те, кого он хорошо знал. Старый волхв, протягивающий руки к младенцу,— сам Козимо Медичи. На переднем плане в красном плаще, преклонив колена, его сын Пьеро: в паже, стоящем с левого края, можно узнать Лоренцо, а справа, в толпе, закрыв глаза и чуть склонив голову,— его брат Джулиано. С правого края стоит белокурый Боттичелли... Дождь почти носом воткнулся в картину и чуть не вскрикнул. Чуть выше Боттичелли стояли трое юношей. Первый в шляпе с пером ему был незнаком, а вторым, тоже в шляпе, обрамленной полоской орнамента, стоял... он! Художник выписал не все лицо, был виден лишь левый глаз, угол рта и рука, прижатая к груди. Рядом с Дождем в круглой шапочке Микеле Верино, за ним в профиль — Марсилио Фичино.

Дождь не видел это «Поклонение...» у Боттичелли. Фичино показывал ему совсем другую картину, тоже «Поклонение волхвов». Здесь все происходит возле лачуги, а там высокие стены, какие-то руины и пейзаж с деревьями и холмами. Значит, Марсилио нарочно не показал ему эту картину?.. Почувствовав на себе взгляд, Дождь оглянулся. Позади, подозрительно глядя на него, стояла старушка в черном платье с белым отложным воротничком.

— Не дышите на стекло,— сказала она,— а то, если каждый будет дышать, картина испортится...

Deus est in nobis...— любил повторять Марсилио, бог находится в нас... не дышите на стекло.

Вечерами они чаще всего собирались в доме Франческо Бандини, чья щедрость в устройстве пиров не имела себе равных, или на вилле у Лоренцо. Марсилио повсюду таскал Дождя за собой и повсюду царствовал, не давая никому говорить, правда, у него хватало ума неожиданно умолкать и просить Лоренцо прочитать новый сонет или новеллу, а потом без умолку хвалить «маленький шедевр», сравнивая его с творениями великих греков. Здесь, на вилле, Дождь и увидел впервые невысокого юношу, стройного, с чистым, светлым личиком, который неожиданно вошел в зал, где сидели они и слушали Лоренцо. Он прошел прямо к герцогу и улегся у его ног.

Вскоре этот юноша поселился у них, заявив сразу же свои права на порядок и жизнь в доме... Через месяц он уже наскучил Марсилио, и тот отослал его обратно к Лоренцо. Что с ним стало, Дождь не знал, да и не очень интересовался, но этот месяц, что юноша прожил у них, надолго запомнился Дождю. Бесконечные оргии изо дня в день, в каковых, как хвалился Марсилио, «этот негодяй, несмотря на свои пятнадцать лет, изрядно преуспел», отвращали Дождя, и он на время переселился к Пико, но Марсилио заставил его вернуться и нарочно звал именно в те минуты, когда неистово предавался бесстыдству с мальчишкой...

Именно этого юнца и напомнил Дождю Чугунов. Та же сладострастная улыбка на губах, тот же греховодный искус в глазах, демон зла и наслаждений, таким запомнил он это лицо, и теперь вновь его увидел рядом с ней. Он не допустит их сближения! И Чугунов это чувствует. Потому так и побледнел, когда увидел, как Дождь смотрит на нее и как она откликается на его взгляд...

Дождь усмехнулся. Он пришел вовремя, и что бы ни говорили, но даже Старик бессилен перед судьбой, а она подобна этим часам на площади, что бьют полдень. Время идет. Даже там, в Храме.

Она уже не ведала, что творила. Из трех тем она выбрала последнюю — «О доблестях, о подвигах, о славе...», которая предлагала обзор современной литературы, посвященной воинским и трудовым подвигам советского человека. Но написала сочинение совсем о другом, сославшись на то, что блоковская строчка — начало одного из известнейших стихотворений поэта о любви. О любви неразделенной и трагичной.

Она начала так: «В первый раз я родилась в Венеции, в доме Джованоццо ди Томазо Эспиньи, известнейшего купца, имевшего торговлю по всей Италии и за ее пределами, бывавшего везде, даже в Новгороде, и торговавшего всем — сукнами, драгоценностями, мехами, а зачастую и зерном. Моя мать была родом из Падуи, и мой отец влюбился в нее тотчас же, как только ее увидал. А случилось это, когда он ехал во Флоренцию. В Падуе его лошадь захромала, и мессер Риньери Кавиччули пригласил его к обеду... Вот там, в доме Кавиччули, за обедом мой отец и увидел мою мать, и едва он успел выйти из-за стола, как тотчас, улучив минуту, сказал ей подобающим образом: «Я всецело Ваш и полностью вверяю себя Вам». Моя мать девушка была весьма решительная и в ответ на эти слова спросила: «Если ты мой, будешь ли повиноваться мне в том, что я заставлю тебя исполнить?» — «Испытайте и прикажите!» — сказал отец. Моя мать задумалась на мгновение и сказала: «Тогда поезжай к русскому царю и привези мне от него подарок, да такой, чтоб он мне понравился...»

Отец сел на коня и поскакал обратно в Венецию. Там снарядил корабль, набрал лучших материй, драгоценностей и отправился на Русь, в Новгород.

В Москве правил в те годы Иван III, враждовавший с Великим Новгородом. В нелегкую пору приехал отец на Русь, и не сносить бы ему головы, но любовь вручила ему в руки волшебный посох, благодаря каковому он добрался до Москвы, явился с дарами пред великим князем, поведав о своей кручине. Немало подивился тому Иван III, но, обласканный иноземными дарами, не поскупился и сам, отдав отцу лучших соболей и перстень с безымянного пальца в придачу. С тем и вернулся отец, сшив у венецианских мастеров отменную шубу, каковая очень понравилась матери, и счастье отца решилось сей же час, а тот царский перстень, грубый и тяжелый, каковой отец показал матери уже после свадьбы, еще долго хранился в материнской шкатулке, пока куда-то не исчез после смерти отца, пережившего мать на восемь лет... Но речь не о них, речь о моей любви, печаль по которой жила в тайнике моей души, но Он вернулся, и я могу поведать обо всем без утайки...»

И далее вся история на десяти тетрадных страницах.

Первой мыслью литераторши Веры Васильевны было кричать «Караул!», но, поразмыслив, она решила поставить

тройку: тема не раскрыта, но изложено четко и грамотно. Однако и это решение успокоения не принесло. История, если рассматривать ее как некую стилизацию, выполнена была безупречно, и за что тогда тройку? Как быть?.. Вера Васильевна, поколебавшись, попросила прочитать сочинение историка Семена Давыдовича. Тот, прочитав, разразился бурей восторгов и потребовал отличной оценки. Тогда Вера Васильевна попросила почитать сочинение завуча Аглаю Петровну. Та пришла в возмущение и велела поставить двойку, но, вспомнив, что Неверующая — единственная из школы претендует на аттестат с отличием, о чем уже успели известить районо, призадумалась... Дело принимало непростой оборот. К концу дня сочинение прочитали все учителя, и готовился плебисцит по этому вопросу.

А Лена была счастлива. Положив свою десятистраничную исповедь на стол, она вышла из класса и долго шла по третьему этажу школы, купаясь в солнечных лучах. Прошла весь коридор, остановилась, оглянувшись, и ей показалось, что следы ее отпечатались, как тогда, на песке...

Чугунов с Крупенниковым поджидали ее у ворот школы. У Крупы болела голова со вчерашнего, но он радовался тому, как легко передрал «шпору» о «лишнем человеке», трояк обязаны поставить.

Лена прошла мимо них, даже не обратив внимания.

— Э, ты куда? — удивился Чугунов.

— Домой,— не оглядываясь, бросила Лена.

— Погоды!..— Чугунов догнал ее.— Есть деловое предложение собраться у меня! Мои продукты, ваши таланты и ужин при свечах с томатным соком!

— Балдеж!— прогудел Крупа.— Спиртное достанем!

— Ни капли!— отрезал Чугунов.— Так как?

— Никак, мне некогда,— она даже не остановилась.

— Не понял,— все еще хорохорясь, усмехнулся Чугунов.

— Мне некогда,— повторила Лена.

— Чем ты собираешься заниматься? — не унимался он.

— Чем хочу, тем и займусь.

— Да подожди ты!— взвился Чугунов.— Можешь подождать?!

Лена остановилась.

— Чо выламываешься?— пробурчал Крупенников.— Непонятно, что ли?!

Она метнула на Крупенникова уничтожающий взгляд.

— Ты-то чо вякаешь!— закричал на него Чугунов.— Отойди! Дай поговорить!

Крупенников помрачнел, отошел. Чугунов вытащил платок, промокнул лоб. Расстегнул еще одну пуговицу своей белоснежной рубашки-тенниски с ярлычком звездно-полосатого флага.

— Что случилось?— спросил он.

— Ничего,— она смело взглянула ему в лицо.— Просто есть человек, которого я люблю и с которым мне хочется быть каждую минуту. Я...

Чугунов залепил ей пощечину. Она не раздумывая ответила ему тем же — со всего маху — и ушла. Кровь из носа брызнула на белоснежную тенниску.

— Сволочь!— скрежеща зубами, прорычал Чугунов.— Потаскуха!— выкрикнул он ей вслед.

— Кровь, это... капает,— предупредил Крупенников.

— Да пошел ты...— Чугунов грязно выругался.

Крупенников пожал плечами и побрел в другую сторону.

— Подожди!— остановил его Чугунов.— Иди сюда!

Крупенников подошел. Чугунов, зажав платком нос, в упор смотрел на него.

— Что посоветуешь?

Крупенников пожал плечами.

— Чо, мало девок, что ли? Когда есть денежки, можно и получше найти!

— Это не проблема,— скривился Чугунов,— тем более что и денежки, и девушки есть, просто я не люблю, когда мне начинают хамить. Не люблю и никогда не прощаю!

Плебисцит по сочинению Неверующей Елены, ученицы 10 «а» класса, продолжался три часа. Выступило тридцать два человека. Подводя итоги, директор школы осудил непонимание многими педагогами данного явления, которое он охарактеризовал как отрыв от жизни и игнорирование всевозрастающей роли советской литературы в развитии мирового литературного процесса. Поэтому он предложил решить данный вопрос, как это и полагается, преподавателю литературы в 10 «а» Снегиревой В. В. Вера Васильевна же, учитывая всевозрастающую роль советской литературы, поставила Лене Неверующей «удов-

летворительно», но поскольку годовая у нее была пятерка, то в аттестат пошла четверка, в результате чего аттестата с отличием в сто первой школе на этот раз никто не получил.

Старший кассир Пуговицына, обнаружив комнату бухгалтерии пустой и даже незапертой на ключ, всполошилась. Ей и в голову не могло прийти, что Петр Иваныч может уйти и не закрыть дверь! Пуговицына выскочила в коридор. В конце его сидела вахтерша тетя Тася.

— Теть Тась, где Петр Иваныч?— выкрикнула Пуговицына.

— Петр Иваныч вышел,— сообщила вахтерша.

— Как вышел?..— не поняла Пуговицына.— Куда?..

— Не знаю. Оне с Боборыкиной вышли и пошли!..

— К директору повел...— прошептала Пуговицына, и лицо у нее побелело.

Петр Иваныч же сидел на кухне у Боборыкиной и ел красный свекольный борщ с ядреным перцем и со сметаной. Ел так, что за ушами у него попискивало. Ел да Надежду нахваливал. А Надежда сидела напротив пунцовая от похвал и не могла налюбоваться на Петра Иваныча, который так замечательно ел ее борщ, второй день стоявший в холодильнике.

Петр Иваныч съел одну тарелку и запросил вторую. И вторую умял без разговоров, да еще ложку облизал и отвалился от стола.

— А котлетки-то!— всполошилась Боборыкина.— Куриные котлетки!.. С картошечкой... Да капустой, да зеленью, да укропчиком и малосольненьким огурчиком, ну чуть-чуточки, ну капельку!..

Петр Иваныч съел и «капельку». И уже осоловело взглянул на Надежду.

— Я ведь так это... чего доброго, каждый день буду ходить...— сказал он.

— Вот и спасибочки!— просияла Надежда.

— Странный ты человек, Надя...— вдруг сказал Петр Иваныч.— Чего же тебя муж-то... ну, бросил?..

— Кузин-то?..— заулыбалась Боборыкина.— Это я Кузина бросила! Надоело, Петр Иваныч!.. Ты же видишь, какая я! Если меня любить, веревки вить можно, а он придет вечером, зырк по сторонам и шмыг во двор, а там — поминай как звали! И я одна весь вечер... Жили мы

так жили, и все мне это надоело. Вот что, Кузин, говорю, жили мы на одной жилплощади, будем жить на разных! Эт зачем, спрашивает. А затем, говорю я, что надоело! Ну, он туда-сюда, фырк-шмыг, а дело уже сделано, детей нет, через ЗАГС пятьдесят рублей и пишите письма. С тех пор друг друга знать не знаем... А тут как-то пришел он, тихий, спокойный, в галстуке. Все, говорит, завязал. Будем по-новому. На ужин в кафе пригласил. А мне тошно стало, хоть вой. Слушай, говорю, Кузин, достань водки! Ну, он достал, а тут ваш... летун...

— А чего ж деток-то?..— спросил Петр Иваныч.

— Такая вот дура...— стараясь не разреветься, улыбнулась Боборыкина.— Когда молодой-то была, не думала! В семнадцать лет родители заставили, в восемнадцать сама, в девятнадцать он...

— Кто, Кузин?..— удивился Петр Иваныч.

— Да нет, был один любитель острых ощущений... А сколько можно природу вот так... по мордам... Ну, с Кузиным два раза... И на сохранении была, словом, такая вот пока картина...

Надежда держалась, держалась и не выдержала, разревелась. Петр Иваныч обнял ее, и она припала к нему, прижалась.

— Ну-ну, успокойся, еще не поздно!.. Ну...

— Поздно уже, поздно, Петя!..

Неверующий вздрогнул, услышав, как в детстве, свое имя.

— Я тебе говорю, не поздно — значит, не поздно! У меня сестра только в сорок родила. И ничего, парню уж двенадцать лет, крыпыш, голова как дом советов!..

— Правда?— перестав плакать, спросила она.

— Правда, конечно! Надо верить в себя, понимаешь!

Они долго так сидели: он — откинувшись на спинку стула, а она у него на коленях, прижавшись к нему.

— Ты...— Надежда запнулась,— я... правда тебе нравлюсь, я ведь некрасивая!..

— Ты просто дура! Я даже в Москве когда был, таких, как ты, не видел, а в фильмах уж...— он махнул рукой.— Это я старый, сорок пять лет, старый хрыч, куда мне...

— Ты молоденький, глупый, это я старая, я...— она снова заплакала.

— Не смей плакать!.. Я... Я, кажется...

— Что?!— испугалась она.

— Влюбился!— он затряс головой.

— А я давно так тебя люблю, но сейчас вот... Я не знаю, что со мной случилось, меня словно подменили...

— И я не узнаю...— прошептал Петр Иваныч.

— Ты знаешь...— Она вдруг сделала круглые глаза.— Это потому, что он... появился.

— Кто?

— Ну, тот, что летает!..

— Может быть, я не знаю... Только мне кажется, я все время о тебе думал, еще раньше,— Петр Иваныч помолчал.— Мы ведь и спим с женой на разных кроватях, так, дочь да обеды лишь общие, а все остальное давно уж врозь...

Он пристально взглянул на нее, погладил, и они поцеловались.

Они долго целовались, и она вдруг потянула его в комнату, но он, точно испугавшись, взглянул на часы: без двадцати четыре!

— В два обед кончился!..

Петра Иваныча тотчас прошиб пот, глаза зашарили по комнате, руки машинально подтянули галстук, он надел пиджак.

— Ты иди, а я уж сегодня не пойду, скажешь, что отругал, в общем, что-нибудь такое, ладно?— говорила она, виноватясь.

Он закивал, заторопился, пошел к двери и неожиданно остановился. Выдохнул воздух, обернулся.

— Пошли!..

— Но как же... Разговоров потом не оберешься!

— Ну, как ты будешь сидеть здесь одна?!

— Не знаю...

— Поэтому пошли! Имею я право, как главный бухгалтер, обстоятельно побеседовать с одной из своих подчиненных...

— И, воспользовавшись ее слабостью, склонить к любви!

— Имею право, как любой мужчина СССР!

Она снова прижалась к нему, а он поцеловал ее в нос. И они пошли под руку по улице, и, надо ж, как раз в это время из канализационного люка вылез слесарь Баратынский, чтоб взять гаечный ключ. Увидев Неверующего с Боборыкиной, он опешил, так как Вальку Кузина знал как облупленного и уж, конечно, всю подноготную самой Надежды, к которой, кстати, собирался завалиться вечерком. Во-первых, баба одна, а это не опасно; во-вторых,

для лучшего вхождения в образ Дон-Жуана, чего с Дуськой не наработаешь; в-третьих, по взаимной склонности, ибо Надежда с Кузиным его видели в Тени Отца Гамлета, и Баратынский произвел на Надежду неизгладимое впечатление, что выразилось в ее щедрости — разрешении Кузину выпить сто грамм. Но тогда еще был Кузин, и Баратынский лишь подмигнул Надежде.

И вдруг эта Надежда, можно сказать его Надежда, с Неверующим! С бухгалтером!

— Надь, ты чо, ошалела?— хохотнул Баратынский.— Петр Иваныч, а ты...

Но они оба, даже не взглянув, прошли мимо чумазого Баратынского.

Та-а-к, подумал Баратынский. Это значит; в то самое время, когда я миндальничал, он тихой сапой лишил меня последней надежды?!. Вот старая луковица! У Баратынского даже охота к работе пропала. Он вылез, махнул рукой на аварию и побежал в контору. В конторе сидел Валя Кузин и играл в шашки с пенсионером из 39-й квартиры.

— Валя! Горю!— вскричал Баратынский.— Авария на седьмом колодце, а у меня жена рожает!

— Кто, Дуська?— удивился Кузин.

— А кто же еще,— умываясь и переодеваясь, рассказывал Баратынский,— внематочная беременность!

— Это опасно!— бросив игру, сказал пенсионер.

— Еще бы!— вскричал Баратынский.— Надо пойти ей соков купить! Черт, где же деньги?!.

— Во, возьми, пятерка, больше нет!— сказал Кузин.

— А у меня тридцать копеек,— развел руками пенсионер.

— Теперь за пять тридцать уже не продают!— схохмил Баратынский.

— Но все равно возьмите, я прошу вас,— настаивал пенсионер.

— Ладно,— забирая мелочь, тряхнул головой Баратынский.— «Если друг оказался вдруг!..»— процитировал он и запнулся.— Это не то, не про нас. «Друзья! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Спасибо!..— Баратынский прижал обоих к своей груди.— Валя, сделай аварию! Бегу!

— Завтра не выходи, я выйду!— крикнул ему вдогонку Кузин.— Артист!— с уважением сказал он о Баратынском.

Надо было действовать, и первое, что сделал Баратынский, сев дома на телефон, позвонил жене главбуха, Катерине Ивановне. Изменив голос, слегка гнусавя, он от имени доброжелателя сообщил, что ее муж замечен в необычное время выходящим из дома его сослуживицы Боборыкиной, и что оба были очень возбуждены, и этот роман может далеко завести.

— Вас это не касается,— помолчав, сказала Катерина Ивановна,— так что не беспокойтесь...

— Что?! — вскричал уже своим голосом Баратынский и хлопнул трубкой.— Во, дала, а? «Не касается». Это что же, какие времена?!. Тут Дуська за одно слово фингал ставит, а эта... Во, Петр Иваныч дает! Ну дает! И где только выкопал эту тумбу?

Баратынский позвонил в партком райпищекомбината, но секретарь был в отпуске. Он набрал местком, и дежурная побежала звать Неверующего, ибо он был зампредместкома и член партбюро.

— Все схвачено!— прошипел Баратынский.— Мафиози проклятый! Что же делать-то?!. Кому сигнализировать?!. А?!.— он посвистел дуплом зуба и скорчил рожу в зеркале.— В горкоме и слушать не будут. Есть, правда, еще управление торговли... Позвоним в управление!

Баратынский позвонил Черных, первому заму.

Трубку сняли.

— Сергей Прокофьич? Это Жмыков из комитета,— забасив, заговорил заговорщицким голосом Баратынский, не слишком четко произнося свою фамилию.— Был у Капустина в горкоме. Ты слышал эту историю с Неверующим?

— Какую историю?

— Жена Неверующего написала письмо в горком с просьбой защитить ее и дочь от разгула безнравственности: супруг открыто изменяет. Капустин велел переслать вам немедля письмо с требованием разобраться и наказать.

— А при чем здесь я?..— попробовал было возразить Черных.

— Ну, вы же первый зам?

— Ну и что?!.

— Не знаю, не знаю, но я бы всерьез занялся этим делом, все-таки не рядовой случай... Пока!

— Пока...

И Баратынский, положив трубку, даже подскочил от

удовольствия и этаким фертом, строя рожи неизвестно кому, прошелся по комнате.

Но вернемся к Неверующему и Надежде. Едва они вошли в бухгалтерию, как тотчас все умолкли и, увидев пылающее смущением лицо Боборыкиной, все поняли.

Боборыкина шмыгнула за свой стол и сразу же углубленно погрузилась в подсчеты.

— У меня готово, Петр Иваныч,— нарушила молчание Пуговицына.— Подготовила вам шестнадцатую и третью формы, что вы просили, а также подумала, что вам может понадобиться двадцатая...

— Спасибо, Серафима Павловна. Я всегда ценил вас,— проговорил Петр Иваныч.— Рябова, а вы сделали разбивку по кварталам?

— Нет еще, я только собиралась...

— Будете лишены премии на пять процентов. А вы, Тамара Леонидовна, отчет закончили, который я просил вас сделать к трем ноль-ноль?

— Я думала, что вы уже не придете...

— Еще пять процентов!

— Но, Петр Иваныч!..— попыталась было возразить Тамара Леонидовна.— Я не понимаю...

— Я вас тоже не понимаю. Так же, как и товарища Боборыкину. За отсутствие на работе более полутора часов ей тоже следует снизить квартальную премию...— Петр Иваныч вдруг столкнулся с изумленным взором Нади и, незаметно подмигнув ей, заключил:— На пять процентов!

Он помолчал и уже другим, подобревшим голосом добавил:

— За работу, товарищи! За работу! Это была сознательная моя отлучка с целью проверки. А вам, Серафима Павловна, благодарность!

С ней что-то творилось. Она это чувствовала и сама не знала, как себя вести, как с собой разговаривать, ибо каждый раз выкидывала такое, чему и сама поражалась не меньше окружающих. Это и сочинение, которое она взяла и написала, сама не зная почему, странная исповедь, которую кое-кто мог бы и принять за шизофренический бред; это и пощечина Чугунову — он, правда, сам ее спровоцировал,— но разве она не принимала его ухаживания и разве не считалось в школе, что они дружат? И вдруг

все развалилось, разлетелось вдребезги в один миг. Неизвестно отчего. Нет, известно. Оттого, что в городе появился некто, худой, долговязый, с шапкой смоляных кудрей, большим ртом и огромными печальными глазами. Заезжий певец из филармонии? Попоет и уедет? Для Чугунова это было в высшей степени оскорбительно, он не подстилка, чтоб об него вытирали ноги, он Чугунов. Этим все сказано.

Она знала, чувствовала, что просто так он не уйдет, что он не привык проигрывать. Чугуновым в городе подвластно все, папа как-никак начальник Копьевскгорстроя, а кто нынче не строит дачи, кто не ремонтирует квартиры, не реконструирует цеха, комбинаты, и везде одно: надо на поклон к Чугунову. А он — человек слова. Сказал — значит, все. Вот как этого слова добиться? И Чугунов-младший быстро сориентировался. Чугунов-старший власть в городе завоевывал, младший ею пользовался, уже привыкнув, что ему ни в чем нет отказа. И, зная это, а может, именно поэтому, она и бросила ему вызов. Ибо была теперь не одна. С ней был Он.

Она не шла, она летела ему навстречу и, увидев его у дома, обрадовалась так, будто встретила любимого после долгой разлуки. Она бросилась ему на шею и вдруг почувствовала, как он, обняв, закружил ее, как они оторвались от земли и медленно поплыли по переулку на уровне третьего этажа, мимо окна слесаря Баратынского, стоявшего уже в плаще, наброшенном на голое тело, и учившего наизусть роль Дон-Гуана.

Еще не смею верить,
Не смею счастью моему предаться...
Я завтра вас увижу...

Проследив глазами за плывущей мимо дочерью главбуха, Баратынский уже хотел продолжить декламацию перед зеркалом, как в голову ему стукнуло: они плыли по воздуху сами по себе, как птицы!

Баратынский выглянул в окно и увидел, что они плывут дальше.

— Что это такое?— забормотал он.— Это что за дикость?! Если каждый начнет туда-сюда?!.

Он выбежал из дома. Дочка главбуха с патлатым, его Баратынский уже раз видел в окне у Неверующего, выплыли из переулка и, поднявшись выше, вскоре скрылись за одним из домов.

— Черт! Это ж среди бела дня!— Баратынский хотел

уже бежать на соседнюю улицу, как вдруг обратил внимание, что стоит в центре небольшой толпы зевак, а перед ним красуется милиционер.

— Видели?!.— загоревшись, спросил он.

— Что? — вежливо спросил милиционер.

— Ну, двое летают, дочка главбуха с патлатым этим?

— Где летают, на чем?— поинтересовался милиционер.

— Над головами, взяли и полетели!— И Баратынский стал подпрыгивать, показывая, как они летают. Толпа развеселилась. Подъехала, мигая вертушкой, ПМГушка.

— Пройдемте!— козырнув, милиционер указал на машину.

— Зачем?—не понял Баратынский.

— Там и разберемся: кто летает, где и зачем?

— А чего разбираться, мне и так ясно,— усмехнулся Баратынский.— Она либо ведьма, либо я сошел с ума.

Публика загоготала. И только тут до Баратынского дошло: он стоял на мостовой в одних трусах и бутафорской шляпе.

— Вот черт, одеться забыл!— Баратынский хотел дать деру, но милиционер уже крепко держал его за руку.

«Ну все, влип,— подумал Баратынский.— Идиот! Надо ж на что купился, а?!.»

Он уже садился в машину, когда снова увидел их. Они летели, обнявшись, и, как показалось Баратынскому, целовались.

Они сидели в комнате Петра Иваныча на старом кожаном диване, и Дождь держал ее руку в своей руке.

— Меня стал преследовать запах моря,— говорила она.— Иду по улице, и почему-то воздух пахнет мидиями и теплым песком... Теперь я вспомнила: от Бальдо все время пахло то луком, то чесноком, то вдруг мускатом, он постоянно болтался на кухне возле поварихи, я уже забыла, как ее звали, Катерина или Куррадина, пышная, теплая, как каравай хлеба. Бальдо вечно к ней приставал, осыпая ее упреками, хотя, кажется, чего упрекать,— каждое утро он, зевая, шел за мной с пузатой сумой всякого съестного: и кусок мяса, и рыба, и сыр, и вино, и хлеб. И все это он съедал враз, отползал в тень и храпел часа четыре. Потом с визгом купался и начинал стонать...

— И мне приходилось загодя покупать для него вторую суму провизии, которую он съедал после купания...

— Нам если доставалось крылышко перепелки или кусок сыра, то это было счастьем!.— смеялась Лена.

— Если мы вовремя успевали у него выхватить!— уточнял Дождь.

— А что происходило дома, когда мы приходили!— продолжала вспоминать она.— Он просто набрасывался на еду, и его Катерина потом не могла добудиться, чтобы получить толику положенных ей ласк!..

Зазвонил телефон. Лена дернулась, но, вспомнив Чугунова, решила не подходить. Однако телефон не умолкал, и ей пришлось взять трубку. Звонили из райотдела милиции. Лейтенант Луков передал трубку Баратынскому.

— Ленка, это я, Дмитрий Баратынский! Скажи, ты летала сегодня с этим, ну... сама знаешь?!. А?!.

— Летала,— помолчав, сказала Лена.

— Во!— вдруг дико заорал Баратынский.— Она летала! А я что говорил! Что и требовалось доказать!

Трубку взял Луков.

— Это товарищ Неверующая?— спросил он.

— Да,— ответила Лена.

— На чем вы летали?— спросил Луков.

— Ни на чем, просто так...

— Понятно,— усмехнулся Луков.— Извините за беспокойство, до свидания!..

— До свидания,— сказала Лена и положила трубку.

Вечером у себя дома Баратынский плакал, уткнувшись лицом в пухлые Дусины колени, плакал из-за того, что не помнил ни строчки из «Каменного гостя», все вылетело из-за этого дурацкого происшествия, и он совсем не может играть, не ощущает ничего, пусто все в душе и на сердце.

— Это она, она накаркала!— в слезах кричал он, тыча пальцем вниз.— Она, ведьма чертова!

— Да уж какая из нее ведьма? Из Ленки-то?!. Ну, чо ты придумываешь?!.— улыбалась Дуся.

— А кто это со мной все проделал?!. Значит, он, летальщик или дьявол, как его там?! Я же чувствовал роль, чувствовал и Верку эту, ну, которая Лауру играет, прямо затискивал, так и горел весь, пылал, был счастлив, как идиот, а сейчас...

— Я этой Верке глаза выцарапаю!— вдруг оттолкнув

его, взвилась Дуська.— Я те покажу горение, ты у меня потискаешь, уродина плешивая! На порог больше ДК не взойдешь, вражина, понял?!.

— Ты чего, чего взбеленилась, оглашенная?! Озверела совсем?!.— поднимаясь и хлюпая носом, возмутился Баратынский.

— Я те озверею, гад ползучий! Я те покажу Верку-Лаурку!— И Дуська, схватив поводок Дженни, принялась нахлестывать мужа. Он бегал по комнатам, вопил, собака лаяла, и жизнь продолжалась.

Дождь, Лена и Петр Иваныч, сидя в комнате, играли в лото. Раскрытое окно выходило в сад, цветы яблонь осыпались, и запах кружил им головы. И совсем не чувствовалось жары.

Откуда-то доносились вопли и ругань. Ругались Баратынские, и эта семейная ссора очень кстати вписывалась в тихий вечерок, напоминая о реальной, грубой, но в общем хорошей жизни.

— Квартира на нижней,— мурлыкал Петр Иваныч, напевая: «Огней там много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, но я люблю женатого...», все повторяя и повторяя последние строчки. Потом он кончил на низ, и они стали играть еще одну партию, и опять выкрикивала Лена, а Петр Иваныч перешел на второй куплет.

Дождь смотрел на Лену, а она ловила эти взгляды, и сердце ее замирало. Теперь уже все — и экзамены, и институт, и мечты — все отошло куда-то в сторону и не имело ровным счетом никакого значения. Был он и его любовь, ее восторги, их будущая семья, вот что имело теперь значение — с ним она готова была ехать, идти, лететь куда угодно. Ее лицо теперь светилось этой простой мудростью, она вдруг из девочки превратилась в женщину и невольно думала о детях, и груз будущих забот уже волновал ее. Она входила в эту новую жизнь, как входят в теплые воды моря.

— Квартира на верхней,— мурлыкал Петр Иваныч.

— У меня на средней,— вторила Лена.— Одиннадцать, барабанные палочки!..

И Дождю казалось, что все бессмертие не стоит вот такого тихого и теплого вечера, похожего на море...

Старик, приникнув ухом к небосводу, слушал его мысли и грустно покачивал головой, словно и вправду соглашаясь с ними.

Шилов не ходил, а летал. Он так это и чувствовал: ле-та-ю! И утром он влетел к себе на пятый этаж, ворвался в квартиру и долго ходил кругами по комнате, размахивая руками, как крыльями, напевая: «Джонни, ты меня не знаешь, ты мне встреч не назначаешь, в целом мире я одна знаю, как тебе нужна, потому что ты мне нужен!» В его голове еще звучал дерзкий голос Капитолины Лазаренко, и Шилов от восторга даже подпрыгнул на месте, как вдруг сердце сжалось и день потемнел в глазах.

Лев Игнатьич ухватился рукой за стул, но он упал, и Шилов полетел на пол.

— Боже, как это... хорошо, только больно почему-то,— проговорил Шилов.

Было утро шестого, а может быть, седьмого дня, Дождь уже потерял им счет, ибо решил окончательно возвратиться. Он входил в подъезд, когда вдруг услышал стон Шилова с пятого этажа. Не раздумывая Дождь взлетел на балкон Шилова и прошел в комнату.

У Баратынского к тому времени совсем пропал голос. Он говорил шепотом, и Дуська подставляла ухо, чтобы его услышать.

— Все, отбегал за юбками!— веселилась она.— Теперь за мою держись, а то в дом глухонемых сдам!— и сама же хохотала во всю мочь от собственных слов.

— Дура, вот дура!— возмущался Баратынский, но Дуська его не слышала, и это бесило слесаря больше всего.

Баратынский, воспользовавшись недугом, взял больничный. Врачи говорили разное. Одни утверждали, что всему причина печень и как следствие — осложнение на связки, другие доказывали, что, наоборот, связки сами по себе, а печень в порядке. Но Баратынский чувствовал: без Него не обошлось. Сейчас, увидев, как что-то взлетело за окном, он бросился туда и чуть не выскочил следом. Вовремя одумался — третий этаж, падать больно.

Дождь быстро разбил тромбик, образовавшийся в одном из сосудов, бегущих к сердцу, и все обошлось без разрывов. Лев Игнатьич даже поднялся и сел.

— Что это было?— спросил он.

— Да так,— Дождь улыбнулся, и десятки морщинок разбежались по лицу.— Пустяки! Я вас как-нибудь почищу.

— Чем это?— не понял Шилов.

— Щеткой! Как трубочисты чистят трубы, так и я...

— Спасибо. Я — Лев Игнатьич!— Шилов подал руку.

— Дождь...

— Интересное имя... А как вы зашли?..

— Через балкон,— объяснил Дождь.

— А-а-а...— плохо понимая, кивнул Шилов.— Это у меня, наверное, от перевозбуждения... Давайте я вам что-нибудь подарю, а?— Он оглянулся в поисках подарка, увидел статуэтку чугунного литья, еще того, старинного, и обрадовался.— Вот, это хорошая вещь, каслинское литье, редкая штука, возьмите.

Шилов схватил статуэтку и протянул Дождю.

— От чистого сердца!.. Вы меня спасли, я не могу!..— Шилов улыбнулся.

Из чугуна был отлит старик с веслом в лодке. Он замахнулся, чтобы сделать гребок, и застыл... Дождь молча смотрел на старика, не в силах шевельнуться. Точно холодок пробежал по спине.

— Что с вами?— удивился Шилов.

— Не дарите никому эту вещь,— грустно сказал Дождь.— Хорошо?

— Не понял...— У Шилова даже рот открылся от изумления.— Это же Касли!..

— Можно, я спущусь по лестнице, а то что-то знобит...

— Да-да, конечно!..— Шилов проводил гостя, захлопнул дверь и долго, не понимая ничего, смотрел на старика с веслом.

Почти в то же время, когда стало плохо Шилову, Петр Иваныч входил в просторный кабинет первого зама начальника управления Сергея Прокофьевича.

Будучи человеком весьма осторожным, Черных посоветовался относительно Неверующего со своим начальником. Рассказав про телефонный звонок, он сообщил, что факт письма в горком не подтвердился и, скорее всего, это злой недоброжелатель из тех, кого прижимает главбух. Начальник управления выслушал и спросил:

— Ну, а... отношения-то сами есть?

— Отношения есть,— улыбнулся Черных.— Весь пищекомбинат говорит!

Начальник покачал головой.

— И жена есть?

— И жена, и дочь...

— Ну, так чего еще ждать? Когда действительно она письмо напишет и на нас всех собак спустят?! Действуйте!..

И вот Неверующий сидел в кабинете Черных.

Сергей Прокофьич был человек мягкий, округлый, и все в его лице и манерах говорило об этой мягкости и округлости. Поэтому и разговор поначалу зашел о планах, трудностях, сверхнормативных запасах,— словом, о вещах производственных и обычных. Наконец Черных спросил:

— А как дома, все в порядке?

— В порядке,— улыбнулся Неверующий.— Дочь замуж собралась! Восемнадцати нет, а хочу, и все! А он парень вроде неплохой. Историю знает как пять своих пальцев! Особенно старинные времена. Воспитывался в те годы...

— Кто воспитывался?— не понял Черных.

— Да он, жених-то... Дождем зовут!..

У Сергея Прокофьича удивленно изогнулись бровки.

— Извините, не понял, в какие времена он воспитывался?

— В давние, в Италии. Был такой правитель во Флоренции — Козимо Медичи, а потом внук его Лоренцо, по прозвищу Великолепный. Ну вот, они дружили все...

— И сколько же ему лет?

— Ну, и выходит, что пятьсот!— Петр Иваныч рассмеялся, покрутил головой.— Забавники! И она туда же! Я, говорит, родилась в Венеции.

— Кто?— не понял Черных.

— Ну, дочь-то! И доказывают, черти! Она вот говорит: ей снится Венеция, будто идет по площади Святого Марка, заворачивает за Старые Прокурации, а там ямочка такая в ступеньке — и точно! И Мост Вздохов, и все, все сходится! А здесь, в городе, однажды заблудилась! Может, действительно мы жили когда-то еще?.. Кто знает!.. Мне тоже иногда снится совершенно незнакомая обстановка: и город, и дома. Захожу в дом и знаю: здесь лестница наверх, поднимаюсь, открываю дверь и могу с завязанными глазами взять любой предмет. Откуда такая память, а?.. Вот и Надежде часто такое снится! Видимо, что-то в этом есть!..

— Какой Надежде?— не понял Черных.

— Да Боборыкиной, моей подчиненной. Влюбился я тут на старости лет,— Неверующий улыбнулся.

— Не понял,— нахмурился Черных.

— Влюбился, говорю, чего тут не понять! За этим ведь и вызвали, наверное?..

Сергей Прокофьевич помолчал, потом, не зная, как лучше ответить, сказал:

— Ну, не столько за этим, но и за этим отчасти. Вы же руководитель и сами понимаете...

— Она уже заявление подала, уходит, работу я ей подыскал. Это, конечно, не дело, чтоб такое в одном коллективе. Я понимаю. Так что не волнуйтесь.

— Я не волнуюсь, Петр Иваныч, просто по-дружески хотел вам сказать, что поздно нам менять что-то в своей жизни! Годы не те.

— Ну, годы ни при чем,— возразил Неверующий.— Жизнь в любом возрасте есть жизнь! Такая, что чувствуешь себя мальчишкой перед ней! А вы: поздно! Нет, Сергей Прокофьевич, нико-гда! Да и вам не советую. Оглянитесь вокруг! Кроме этого кабинета есть еще масса удивительных вещей. Как говорил Маяковский: ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь! Так?

— Так!— неожиданно для себя согласился Черных и вспотел.

— Ладно, пойду я!— Неверующий поднялся.— Работать надо! Вы не волнуйтесь, сверхнормативные сократим!— пообещал он и вышел.

«А я ведь его не отпускал,— подумал Черных.— И сказать ничего не успел... А что я мог сказать? Да и нужно ли?.. Неужели я кажусь мертвым?» Он вдруг вспомнил эту строчку о мертвечине и внутренне содрогнулся. Ему показалось, что он не только никого не любит, но и не в состоянии любить. Жена, дочь, сын — он был нужен им в качестве сумы. Дать денег, достать дефицит, протолкнуть, поднажать, попросить. И Сергей Прокофьич делал, что мог. Когда он что-то не мог, то и у жены, у детей интерес к нему пропадал...

Вошла секретарша Полина Матвеевна. Ей было за тридцать, она успела развестись с мужем и воспитывала сына двенадцати лет. Это он знал. Но ему никогда не приходило в голову ни поухаживать за ней, ни спросить о сыне. Для него она была человеком, приносящим бумаги и уносящим их. И все.

— Как сын, Полина Матвеевна?— спросил Черных.

— Что?— вздрогнула она.

— Сын как учится?— Черных улыбнулся.

Секретарша долго не знала, что ответить, потом, вдруг покраснев, пробормотала:

— От рук совсем отбился, Сергей Прокофьич, на тройки съехал...

— Это плохо,— сказал Черных.

— Да,— закивала она и перед тем, как уйти, неожиданно взглянула на него по-новому, будто с удивлением, что ли, а может быть, с надеждой...

Чугунов гонял по переулку на красной «Яве», и Баратынский в который раз с раздражением высовывался из окна: его этот рев нервировал.

Алгебру Чугунов неожиданно сдал на четверку. И то натянули, ибо отвечал он плохо, и математичка Елизавета голосила по этому поводу весь день в учительской. Литераторша Вера Васильевна молчала. Она знала, в чем дело,— в разрыве с Леной, это ясно, и ее решении выйти замуж за какого-то заезжего артиста филармонии. «Боже, эти Курагины просто заполнили мир!— думала Вера Васильевна.— А Чугунов — такая ранимая натура. И так все переживает!..»

Вера Васильевна тайно была влюблена в Чугунова. Тайно и безответно. Ну, во-первых, она педагог, классный руководитель и старше Чугунова на шесть лет и два месяца, что в общем-то совсем не страшно, такое бывает, сколько угодно, тем более что выглядела Вера Васильевна лет на девятнадцать-двадцать, особенно когда снимала очки. Правда, у нее минус шесть и без очков она ничего не видит, но это не главное! Главное то, что он красив, а она совсем нет. Но теперь ее сердце не так болит,— он страдает, и она, как старший товарищ, просто обязана ему помочь. Но как это сделать?

Вера Васильевна вздыхала и начинала обдумывать вариант нечаянной встречи на улице. К примеру, она прогуливается, и вдруг идет он с авоськой из магазина: хлеб, молоко, яйца, конфеты. Он, конечно, огорчен, и вид уныл. На чистом ангельском лике хмурая тень.

— Что поделываешь, Вадик?— спрашивает Вера Васильевна.

— Да вот, учу физику,— он кивает на авоську.— Надо питаться...

— Да, с таким энергетическим материалом физику не одолеешь!— замечает Вера Васильевна.— Пойдем-ка, я тебя накормлю!..

И она ведет его к себе, кормит бульоном, котлетами... Или нет! Делает отбивную! Он же мужчина! Да, отбив-

ную, чесночный соус. Или нет: отбивную с жареным луком! Это блеск! Он, насытившись, благодарит ее, она ставит пластинку Вивальди, они переходят в комнату, потом она предлагает ему помочь подготовиться по физике, они готовятся, спорят, читают стихи, он ее провожает, уже вечер... Они прощаются у подъезда, она подает руку, и он особенно пожимает ее... Они дружат, он сдает экзамены, начинает готовиться в институт, она ему помогает, они по-настоящему узнают друг друга, он поступает, часто заходит к ней и однажды зимой, когда он, замерзший, забежал к ней после института согреться, попить чаю, узнать, как ее дела, увидеть, он вдруг говорит ей: «А ты знаешь, Вера, я ведь люблю тебя, и уже давно, с того самого летнего дня, когда ты встретила меня с авоськой...»

— И накормила!— улыбнется она.

— Да. И я еще тогда отметил: какая ты красивая...— Он подойдет к ней, снимет очки и... поцелует ее.

— Не надо, Вадик, я старше тебя на шесть лет, не надо!..

— Я люблю тебя и буду любить всю жизнь! Всю жизнь!

— Вадик, не надо!..

Он задушит ее в своих объятиях, зацелует...

— Вера Васильевна, что это с вами?— Елизавета Михайловна, математичка, в упор смотрела на нее.— Вы что это шепчете?

— Я шепчу?— удивилась Вера Васильевна.

— Да,— прокуренным, глухим голосом сказала Елизавета,— шепчете: «Не надо, не надо»— и сжимаетесь вся, будто бить хотят. Сны наяву, голубушка! Начитаетесь всякой ерунды в этих журнальчиках и бог знает что себе воображаете! И детей портите... Поэтому они и по алгебре ни бум-бум!

Вера Васильевна встала и ушла. Пройдя квартала два, она услышала рев мотоцикла и оглянулась. Перед ней на красной «Яве» восседал, точно Аполлон, Чугунов и улыбался.

— Хотите прокачу, Вера Васильевна?

— Меня?..— удивилась она.

— Вас, конечно! Садитесь! Вот шлем!— И он, не дожидаясь ее согласия, надел на нее шлем и кивнул на сиденье сзади.

Она села.

— Обхватите меня и держитесь крепко!— крикнул он, перекрывая рев мотора.— Вперед!

Она обхватила, прижалась к нему, и они понеслись. Уже давно Вера Васильевна не испытывала ничего похожего на столь рискованное, но в то же время до головокружения радостное состояние души. Она летела! Летела, прижимаясь к нему, и ей вдруг — на миг — захотелось разбиться. Да-да, разбиться, чтобы их тела нашли рядом, вместе, чтобы они лежали обнявшись. Обнявшись навсегда.

— О-хо-хо-хо!— закричал он, и она тоже закричала.

Они летели по загородному шоссе, и горячий воздух бил им в лица.

Он поцеловал ее сразу же, как только они вошли к нему в дом. Грубо привлек и поцеловал в пыльные губы.

— У тебя на губах песок,— отплевываясь, сказал он.— Иди умойся.

Вера Васильевна колебалась.

— Иди, иди,— подтолкнул он.— Не стесняйся, родители на даче.

Она пошла умылась, и он снова поцеловал ее. Она не сопротивлялась. Полеты на мотоцикле вконец ее измотали. Он повел ее в спальню, и только здесь она очнулась и попыталась оказать сопротивление, но он вдруг сказал ей:

— Я люблю тебя! Я люблю тебя с первого класса!

— С восьмого,— поправила она.

— Пусть с восьмого. Люблю и буду любить всю жизнь! Ты красивая! Ты самая красивая из всех, ты чудная, ты не знаешь, какая ты, ты...

И она сдалась. Она сдалась, ибо ей показалось, что уже прошло полгода, уже зима и он вбежал к ней замерзший после института...

Потом они пили чай. Пришел Крупенников. Она была не совсем одета, а Крупенников открыл дверь собственным ключом и вошел так тихо, что она не услышала. Он вытаращил от удивления глаза, застыв как изваяние.

— Здрасте, Вера Васильевна,— пробормотал Крупенников.

— Здравствуй, Сережа,— грустно сказала она.

Ей хотелось плакать. И сколько бы она себя ни уговаривала, что они уже не ее ученики и больше никогда не встретятся с нею на уроках, сколько бы ни убеждала себя в том, что ничего особенного не произошло, эти уговоры лишь прибавляли грусти и стыда. Она ушла в ванную,

оделась и ушла. В комнате громко звучала музыка, Чугунов с Крупенниковым слушали какой-то ансамбль, и ей удалось выскользнуть незаметно.

К вечеру она даже успокоилась и стала ждать его. Ведь он сказал, что любит, значит, придет. У нее не было телефона, но адрес он знал: несколько раз заходил к ней. У него почему-то не оказалось дома Блока, а потом Заболоцкого, Вера Васильевна их задавала, и Чугунов брал книги на вечер, аккуратно возвращая на следующий день. О Блоке он сказал:

— Ну, это уже устарело, к тому же там много о пьянстве, а пить сейчас нельзя, так что я не понимаю, зачем вы нам его задавали...

Правда, Заболоцкий ему понравился, и это обрадовало Веру Васильевну. Она даже простила ему нелюбовь к Блоку.

Он не пришел ни в шесть, ни в восемь. Но было еще светло, еще стрижи так высоко кружили в безоблачном небе, предвещая и завтра сухую погоду, что она верила: он придет в девять или в десять. Она знала, что он придет. И она мягко, но тактично поговорит с ним о будущем.

— Я понимаю, ты любишь меня, ты любишь сейчас, но это отчасти еще и потому, что я твой педагог, а в учителей положено влюбляться... Но это пройдет. И, кроме того, я все же старше тебя на шесть лет...

Он фыркнет, он встанет, он скажет: какое это имеет значение!

— Все так, Вадим, но мы не должны, не можем, я не имею права ошибаться. Мы должны проверить себя, а лучший судья — это время, поэтому я хочу предложить тебе дружбу...

Вера Васильевна задумалась. Она вдруг подумала, что если он подойдет к ней и обнимет, то что будут стоить ее слова?.. И она улыбнулась и снова заплакала, но уже светло и радостно. Нет, подумалось ей, она его просто любит, и любит так, как любят впервые в жизни, ведь то, что было в институте, это не в счет... А тут она л ю б и т. Любит!

Баратынский перехватил Дождя у подъезда. Он схватил его за рукав, потащил в сторону.

— Помоги, а?— захрипел он.— Ты видишь, что происходит!.. Что я сделал-то вам? Ну, что?..

— Я не понимаю, о чем вы?— удивился Дождь.

— Кто меня околдовал?!. Это ты, ты и твоя ведьма, с которой летаешь, это вы развели тут притон колдовской!.. Ну, ничего, я вас всех выведу на чистую воду! Вы у меня еще попляшете!

— Пустите меня,— попросил Дождь.

— Ну, что тебе стоит, а?— заскулил Баратынский.— Ну, помоги! Ну, травки, скажи, какой попить, а?..

Дождь уже шагнул в подъезд, но, обернувшись, вдруг сказал:

— Ты только сам себе можешь помочь! Искупи то зло, что причинил людям, и, может быть, небо и простит тебя...

— Чево?— скислился Баратынский.— Колдун чертов!— прошептал он.— Да я лучше сдохну, чем некоторым одно место лизать начну! Тьфу!

Баратынский даже повеселел после этого разговора. «Ну, погоди!— проскрежетал он зубами.— Я на тебя еще милицию натравлю! У нас не Запад, здесь эти идейки не пройдут! Мы тебя живо скрутим и — улицу подметать! Верно, Евграфыч?»— прошептал он, подмигнув вышедшему из подъезда дворнику.

— Я тебе скручу,— сурово заметил Евграфыч.— Ты Ленку и парня этого не трожь, понял?!.

— А ты чо, кум или сват?! Чо лезешь?!.

— Мало тебя, Митька, отец драл! — вздохнул Евграфыч.— Ох, мало! Иди, не порти воздух!..

— Чево?!.— Но Евграфыч уже пошел дальше.

Баратынский постоял немного, и так жалко ему стало себя, что он застонал. Душа болела. Поплакаться бы кому, выговориться, может быть, и полегчало бы, но он был один, один на весь мир. «Стоп!— вдруг сказал себе Баратынский.— А Валька-то? Валька Кузин?!.»

Баратынский оглянулся и быстро побежал в жэковскую слесарку.

Кузин был на аварии. Прорвало трубу, и Валька один барахтался в подвале.

— Давай помогу!— крикнул Баратынский и вдруг обнаружил, что он к р и к н у л, а не прошептал.

— Ты же больной!— отмахнулся Кузин.

— Да ерунда, насморк,— вздохнул Баратынский и поплыл навстречу другу.

Баратынский боролся со стихией, а Вера Васильевна еще ждала. Отсутствие воды ее огорчило, но она знала,

что аварию ликвидируют и воду дадут попозже. В чайнике вода есть, и они смогут попить чаю. Она думала, что он снова примчится на мотоцикле, поэтому вздрагивала от каждого приближающегося шума мотора, бежала к окну и, краснея, выглядывала из-за занавесок.

В одиннадцать вечера она не выдержала и пошла звонить. Долго не решалась набрать его номер, наконец набрала, но трубку снял не он, а Крупенников. В доме было шумно, слышались женские голоса, и от этих голосов она онемела и не смогла выговорить ни слова. На другом конце бросили трубку.

«Может быть, кто-то из класса или помирились с Леной,— подумала она.— А может быть, шумел телевизор, они все любят запускать на полную мощность...»

Ей почему-то сделалось зябко. Она вернулась домой. Ее била дрожь, и она долго не могла согреться. Выпила чаю, и ее тотчас бросило в жар. Градусник показал 38,5.

Старик читал Петрарку: «В юности страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью и еще дольше страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя. Я хотел бы иметь право сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал бы, однако скажу уверенно, что, хотя пыл молодости и темперамента увлекал меня к этой низости, в душе я всегда проклинал ее. Притом, приближаясь к сороковому году, когда еще было во мне и жара и сил довольно, я совершенно отрешился не только от мерзкого этого дела, но и от всякого воспоминания о нем, как если бы никогда не глядел на женщину; и считаю это едва ли не величайшим моим счастьем и благодарю Господа, который избавил меня, еще во цвете здоровья и сил, от столь презренного и всегда ненавистного мне рабства...»

Старик любил читать поэтов и мыслителей не столько даже за мысли, которые те высказывали, чаще всего они неслись на поводу своих страстишек. И как ни набрасывали изящное покрывало слов на сию разгоряченную склонность, как ни украшали ее цитатами и примерами, собственными метафорами и сравнениями, она все равно проглядывала, как уши из-под колпака. Старик любил их читать за обмолвки, за те сорвавшиеся с языка невольные слова, которые, если их найти, уже сами по себе являли гораздо большее значение, чем та общая мысль, на каковую их заставляли работать. И вот Петрарка, всю

жизнь только и писавший о любви, о жаре чувств, расписывает свое отвращение к нему! Впрочем, если б жар всерьез стал мучить его, возможно, не было бы стихов, каждому свое...

Старику понравилось его выражение: «Жестокая, но полезная смерть». Так сказать о своей возлюбленной, да еще радоваться при этом, это уж совсем любопытно и, пожалуй, более под стать закоренелому цинику, чем трепетному поэту и лицу духовному.

Жестокая, но полезная смерть... Поэт мыслил шире, чем монах. Он умел сопрягать светлое и черное, и вот формула, которую искал Старик. Боже, как многие проигрывают оттого, что живут дольше, чем нужно, и уже настолько надоедают человечеству, что оно не чает, как от них избавиться. Бывает и другое. Но то, что смерть в иных случаях полезна, это несомненно, и, кто знает, проживи Лаура дольше да еще выйди замуж за Петрарку, он бы, пожалуй, строчки для человечества не написал, а кропал бы свои сонеты в альбом. Разве мало было таких поэтишков?.. Вот действительно полезная смерть!

Из всех новых подопечных Старику больше всего понравился Неверующий. Не ожидал он от него такой прыти. Впрочем, если честно, испытание Петру Иванычу он подготовил из рук вон плохо. Ну, что это за фигура, Черных? Теперь вот и сам поплыл, и в результате родится еще один грешник. А ведь Черныха готовили в праведники. Взяток он не брал, на уговоры не шел, дачи не строил. Даже мясо покупал у себя в буфете по государственным ценам. А воспитать праведника, да еще в торговле,— это подвиг! И Старик очень этим гордился. Праведники и без того все на учете, а тут такая редкость. И вот на тебе... Поначалу Старик надеялся, что твердый праведнический характер Черныха обрушит великий гнев на голову Неверующего и сам еще укрепится после этого, а оказалось наоборот. И теперь эта Полина Матвеевна, уже давно выискивавшая случай совратить бедного Черныха, сделает свое колдовское дело.

«Но черт с ними, с этими неприятностями,— вздохнул Старик. Феномен Петра Иваныча полностью все искупает. Как он воспарил душой! Старик даже пошел (сам!) в канцелярию и спросил, как у них с планом, он даже готов был взять к себе Катерину Ивановну, даже придумал ей работу — пыльные бури, этот участок захирел, а сил у Катерины Ивановны много, она быстро наведет здесь

порядок, а у Петра Ивановича не будет никаких хлопот с разводом, а то Неверующий стал уже тосковать, подумывая о том, какой шум произведет его развод, вести же двойную жизнь он не мог. Да и Катерину Ивановну было жалко. Куда она теперь, кто ее возьмет?.. И Ленке переживания. Впрочем, Петр Иваныч все равно это сделает, а Старику очень хотелось, чтобы Неверующему повезло, улыбнулось счастье. Старик знал, что у них с Надеждой могут быть и дети... Но про то он даже себе не смел признаваться. Чтобы не сглазить.

Итак, Старик посетил канцелярию, но, как и следовало ожидать, план был выполнен давно, а сверхплановых жертв, безвинно убиенных, кои поступали к нему на Участок Стихий, уже множество толпилось в предбаннике, и Старик не знал, что с ними делать. Мест свободных у него почти не было, а человечество до того озверело, что истребляло безвинных толпами. Из Африки, Азии шли колоннами! Войны вроде большой не наблюдалось, а истребление шло полным ходом. Между делом к Старику привели уже пятого претендента на место Дождя, скрипача лондонского оркестра, которого нечаянно убили в уличной перестрелке гангстеров с полицией. Скрипач даже внешне походил на Дождя, и Старик, отметив это обстоятельство, недовольно хмыкнул.

— Что вы знаете о Козимо Медичи?— спросил Старик и тотчас пожалел о своем вопросе. Ну, конечно же, претендента натаскали как следует, выболтав все о жизни деда Лоренцо. Н-да. Тут и не узнаешь, что за фрукт.

— А кем вы хотели быть в детстве?— спросил Старик.

— Я? Я хотел быть пожарным!..

И здесь чувствовалась бдительная рука Первого Помощника. Уж не заговор ли он готовит, вербуя своих людишек в аппарат? Вон какую продувную бестию подсовывает... Да, но Старик тоже не может до бесконечности тянуть. После девяти дней отсутствия новый Дождь должен быть назначен, а ведь надо оформить еще тысячу справок, а сегодня уже седьмой день (шестой для Дождя). Старик отдыхает, но обстоятельства поджимают. Куда деваться! И это уже последний претендент, после чего Старик должен будет взять любого, кого предложит Первый. А он, чего доброго, выберет такого головореза, что весь участок будет лихорадить. Придется уж оставлять этого оболтуса, чего еще расспрашивать?

И Старик его отпустил, приказав готовить документы. Первый облегченно вздохнул. Но когда Старик дал понять, что хочет побыть один, Первый обиделся. Он был шустрый, этот Первый. Слетел с откоса на машине. Старик спросил его потом: «Куда ты мчался?» И Первый ответил: «На свидание с девушкой...» И как-то незаметно он выдвинулся. А поначалу гонял облака. Нудная работа. Но потом у Старика обнаружился ревматизм, и он тут как тут. Старый любитель бани. Вылечил, и пошло-поехало. А работал администратором в филармонии. Вообще-то Старик нетворческих людей не берет, но при регистрации посчитали, что поскольку филармония, то это к Старику. Так он и попал. Был Семнадцатым помощником, стал Первым. Старик сам удивился. Но работает четко. Дождя невзлюбил. И Дождь его тоже. Но Дождь в Совете старейшин, и Первому его не укусить. Теперь и старается. Ничего, похоже, уже недолго осталось...

Старик вызвал Седьмого.

— Ну, что?— спросил Старик.

— Фактов много,— ответил Седьмой.

— Что значит много?— пробурчал недовольно Старик.— У тебя всегда на всех есть улики! И на меня, уверен, тоже! Ну, есть же?!.

— Есть,— помолчав, вздохнул Седьмой.

— Ну и что это за улики?!

— Да несущественные...— отмахнулся Седьмой.

— Ну, хватит, хватит!— рассердился Старик.— Выкладывай!

— Во-первых, вы сами определили Дождю размер капель два миллиметра.

— Два-полтора,— поправил Старик.

— Записано: два.

— Ну, хорошо! Дальше!

— Вот, а он все время играет тоньше! По 0,5, а то и по 0,1, а то и вообще по 0,05. А то вдруг сыплет по 6—7 миллиметров, то есть пользуется правами всех Дождей, о чем они докладывают. И вы даже пошли на то, что не просто разрешили ему это от себя, а объявили, что добились специального разрешения, что, увы, совсем не так. Согласно же параграфу второго Небесного Устава, за превышение полномочий вам грозит высылка на вечное поселение за пределы Вселенной...— Седьмой замолчал, глядя на Старика. Губы его были плотно сжаты.— Вы сами просили... Дождь путает все наши метеорологиче-

ские карты и расстраивает метеонауку на земле. А мы же обязались им не вредить, это даже записано в Уставе. А получается, что вредим, ибо то там засуха, то заливает сплошняком. А даже за неумышленное вредительство предусмотрено наказание...

— Знаю!— оборвал его Старик.

— Ну, вот...

Старик задумался.

— А Первый знает?

— Да...— помолчав, ответил Седьмой.

— И он знает, что ты знаешь?..

— Да...

— И что?..

— Я перехватил его донос, но ждать больше нельзя. Мне все труднее его контролировать, он повсюду запускает своих людей.

— А у меня есть нарушения и другого характера?— удивленно спросил Старик.

— Их немало, но дальше меня они не идут, а я джентльмен, вы это знаете, и против вас работать никогда не буду...

— Знаю, знаю,— вздохнул Старик.

— А что с Первым?

— Отправить в ад огненных демонов за попытку переворота.

Седьмой кивнул.

— И когда ты предлагаешь?— помолчав, спросил Старик.

— Сейчас.

— Прямо сейчас?

— Я уже его задержал...

— Ну, ты, братец, того, параграф второй Устава гласит...— Старик запнулся и, взглянув на Седьмого, рассмеялся.— Бедный Скотланд-Ярд, я представляю теперь, почему они целых два дня пили на твоих поминках! Здорово же ты им сидел в печенках! Ну что, зови.

— Да ему, собственно, уже вручено обвинительное заключение, и он его подписал.

— Так сразу и подписал?— удивился Старик.

— Не сразу. Но я дал прочитать ему второе заключение, о том, что станет с ним, если начнется расследование и его признают виновным...

— Я знаю,— Старик даже содрогнулся. Одно дело поддерживать огонь в земном ядре, пусть и обгорать, работать, но привыкнуть можно, даже выдвинуться, а стать

космической пылью кому захочется, тем более такому честолюбцу, как этот...— И когда ты думаешь его отправить?— спросил он.

— Я уже отправил,— сказал Седьмой.

— И не дал мне взглянуть ему в глаза?!.— Старик так возмутился, что даже вскочил.— Нет, это уже наглость!

— Ну хорошо, я могу его вернуть, тем более что он сам просил свидание с вами, но я сказал, что он даже этого не достоин. «После всего, что ты сделал,— сказал я ему,— ты не достоин даже взглянуть Ему в глаза! Разве у тебя хватит совести спокойно посмотреть Ему в лицо?!»— сказал я. Он вдруг заплакал и согласился со мной.

— Ты правильно поступил,— вздохнул Старик и, спохватившись, нахмурился.— Но все равно должен был согласовать со мной! А вдруг мне бы захотелось?!.

— Но вам же не захотелось,— улыбнулся Седьмой, и Старику нечего было возразить.

— Ну хорошо, я ведь тебя вызвал совсем по другому делу, и ты знаешь по какому! Что там-то?!.

— Фактов много,— сказал Седьмой.

— Ну, теперь излагай,— кивнул Старик.

Настал восьмой день, и Дождь с утра почувствовал странную тревогу, так бывает, когда уж слишком все хорошо и не только нет никаких препятствий, но если они и находятся, то устраняются как по мановению волшебной палочки.

У Петра Ивановича произошел откровенный разговор с Екатериной Ивановной. Делать нечего, надо решать, а Неверующий влюбился не на шутку... Первая любовь! И смех и слезы. Катерина Ивановна оказалась женщиной на редкость энергичной и предприимчивой. Конечно, она поначалу и слышать ничего не хотела, требуя прекратить все это немедленно, даже пригрозила мужу высшими инстанциями, но потом смирилась и сказала, что отпускает его. Зато Дождь с Леной получали в наследство комнату Петра Ивановича со старым кожаным диваном, и, как только Дождь прописывался, Катерина Ивановна тотчас требовала дополнительных метров, т. е. подавала на расширение. Она даже предлагала и Петру Ивановичу пока не выписываться и самому подать на расширение, но тот отказался.

Все у него на работе уже знали о случившемся и удив-

лялись Боборыкиной: не могла помоложе найти?!. Одна Пуговицына ей завидовала и даже собралась раз всерьез поговорить с Надеждой: ну, зачем ей Петр Иваныч? А вот она бы, Серафима Павловна, она бы... Но духу не хватало у Пуговицыной завести такой разговор. Уж слишком сияющей ходила Боборыкина.

Она похорошела так, что мужики даже в автобусах стали к ней приставать и набиваться на знакомство. Но Надежда отшивала их с такой резвостью, что они чернели от позора.

Перед уходом на новую работу — ревизором-бухгалтером в НИИсредмашбумпром — Надежда устроила чаепитие для всей бухгалтерии. Пили чай, в голос жалели, что она уходит, не понимая, зачем ей нужно менять работу. Неверующий тоже жалел, отмечая некоторые достоинства Надежды Васильевны, которая, слыша его слова, краснела, как майская роза, а Пуговицына наоборот, желтела и грустно-грустно улыбалась.

— А когда свадьба-то?!.— не выдержав, брякнула Тамара Леонидовна.

Надежда вспыхнула, Пуговицына так саданула в бок Тамаре Леонидовне, что та аж задохнулась от боли. Неверующий кашлянул.

— Ты что, очумела?..— взвилась Тамара Леонидовна, продохнув боль.— Теперь синяк будет, и муж скандал устроит. Прямо ведь у груди!.. Что я такого спросила?..

— Скоро, Тамара Леонидовна,— ответил вдруг Неверующий.— Мы с женой уже подали на развод, а я официально уже переехал к Надежде Васильевне...

В бухгалтерии стояла мертвая тишина. Было слышно, как муха жужжала над тортом.

— Мы всех обязательно пригласим на наше скромное торжество,— объявил Петр Иваныч.— И мы рады, что именно вы все являетесь свидетелями и в какой-то мере организаторами нашего счастья. А мы счастливы, правда, Надя?— улыбнувшись, спросил Неверующий.

— Правда,— тихо ответила Надя, и Серафима Павловна, не выдержав, заплакала.

...Шел восьмой день, и с утра что-то странное творилось вокруг. Было так тихо, что все недоуменно оглядывались, точно вот-вот должна была начаться гроза, но небо сияло, как надраенный до блеска голубой самовар.

Дождь с утра чувствовал странную расслабленность, которую он, правда, относил за счет физиологических

перемен, начинающихся в его теле. Следовало бы полежать, но Екатерина Ивановна, оставшись вдруг одна с дочерью и будущим зятем, всю свою неукротимую энергию перенесла на них. Она заставила Дождя немедля идти в филармонию и попросить, чтобы его прослушали, дабы начать работать, зарабатывать деньги, коли он музыкант. И Дождь отправился. На его счастье, заболел ведущий артист Кобозев, на котором держалась вся программа. Через неделю уже должен был состояться первый концерт, и руководители филармонии ломали голову, как выйти из положения. Подходило к концу полугодие, и в планах стоял выпуск этой программы, да и сборы с нее должны были покрыть дыры в финплане, то есть, куда ни посмотри, программу надо было выпускать.

Когда секретарша доложила директору Хазину, что молодой певец просит его прослушать, Хазин поначалу отмахнулся и велел сказать, что пусть приходит в сентябре, но не успела секретарша выйти, как он одумался и велел впустить просителя.

Дождь вошел. В кабинете Хазина сидело человек десять, в основном участники новой программы, молчаливо ожидавшие своей участи. Тишина была гробовая.

— Что вы поете-то?— вздохнул Хазин.

— Все,— Дождь улыбнулся.

— Что все?— устало спросил Хазин.

— А что вы хотите?— не понял Дождь.

— Я ничего не хочу!— разозлился Хазин.— Это вы что-то хотите от меня!

— От вас я ничего не хочу,— пожал плечами Дождь.

У толстого с широким двойным подбородком Хазина от такой наглости даже выступил пот.

— В таком случае до свидания!— побагровев, сказал он.

— До свидания,— кивнул Дождь и хотел уже было уйти, но его остановила Марианна Болтневская, заместитель начальника управления культуры.

— Может быть, вы нам споете что-нибудь?— улыбнувшись, попросила она, как видно, считая свою улыбку неотразимой, что заставило Хазина поморщиться. Он терпеть не мог Марианну, но мирился, поскольку вынужден был ей подчиняться.

— Я спою сто первый сонет Петрарки из цикла «На жизнь мадонны Лауры»,— сказал Дождь.

— Чья музыка?— спросила Болтневская.

— Мелодия моя.

— Ах вот даже как,— усмехнулся Хазин.

— «Как в чей-то глаз, прервав игривый лет, на блеск влетает бабочка шальная...»— запел Дождь, и огромные окна филармонии вдруг задрожали от напора его голоса, поразительно передававшего тончайшие оттенки движения природы. Каждый из сидящих тотчас же ощутил наяву, как все это произошло. И едва Дождь начал вторую строфу: — «Так взор прекрасный в плен меня берет, и в нем такая нежность роковая...»— все словно отозвались на это необыкновенное чувство, потянулись к нему. Даже Хазин почувствовал неудобство и несколько раз тряхнул головой, стараясь сбросить с себя это наваждение, а Марианна даже встала и, забыв о своих сорока трех годах, воспламенилась всем сердцем, как девочка, готовая бежать за этим объявившимся, как чудо, незнакомцем.

Вся филармония бросила работу. В приемной уже стояла толпа, припав к дверям, всем хотелось хоть глазком одним взглянуть на певца, обладающего столь красивым и сильным голосом.

— «...Так сладостно Любовь меня слепит, что о чужих обидах сожалею, но сам же в смерть бегу от всех обид»,— Дождь пропел последнюю строчку с такой болью, что целую минуту никто не мог сдвинуться с места. Все, замерев, смотрели на Дождя, боясь прервать эту паузу.

И точно гром обрушились аплодисменты. Болтневская, не в силах сдержать свой восторг, бросилась Дождю на шею. И все стали обнимать, поздравлять его, а Хазин бегал вокруг не в состоянии протиснуться к певцу и повторял:

— Кто же директор-то здесь?.. Пустите директора!..

Наконец толпа расступилась, и Хазин смог пожать Дождю руку.

— Самородок!— подняв вверх палец, сказал он.— Талант, чего там скрывать! Ну, что же... Нам бы, товарищи, поговорить с гостем, как вас?

Дождь подал директору паспорт.

— Веротин Андрей Иваныч,— хором прочитала толпа.

— Да, с товарищем Веротиным,— повторил Хазин.

Далее приключилось немало забавных вещей. Во-первых, Марианна Болтневская, выхватив у Хазина паспорт и желая узнать, сколько же лет певцу, пришла, мягко сказать, в недоумение. В графе «Дата рождения» стоял 1458 год. Марианна, конечно, поняла, что тут всего-навсего ошибка паспортистки и следовало бы читать «1958

год», что означало — незнакомцу 28 лет. И Марианну этот нежный возраст воспламенил еще больше, однако певец заявил: ошибки нет, он действительно родился 528 лет назад.

Все долго смеялись, но далее пошло уже совершенно невообразимое. Выяснилось, что незнакомец нигде не учился, ничего не кончал, нигде не работал до сего времени и нигде не был прописан... Когда же очередь дошла до Хазина и ему с чувством великого огорчения передали паспорт, то оказалось — все отметки есть. И работал певец до этого в Большом театре, и проживал теперь в Тихом переулке, дом 7, квартира 43, а в особых отметках даже стоял штамп, что он стажировался два года в миланском театре «Ла Скала».

Хазин был ошарашен. Марианна же смотрела на Дождя с нескрываемым обожанием и тут же продиктовала новую афишу программы «Летние звезды» с участием лауреата международных конкурсов солиста Большого театра Союза ССР Андрея Веротина. Когда стали разбираться и уточнять, то в паспорте обнаружили, что из ГАБТа он не уволен, а продолжает там числиться. «В творческом отпуске»,— объяснил певец.

Чугунов тем временем сидел на мотоцикле в тени старых филармонических лип и поджидал Дождя. Рядом с ним болтался Крупенников. Они оба сдали физику. Чугунов на пять, Крупенников на трояк.

Ленка еще не входила, когда они выскочили из школы. На крыльце Чугунов столкнулся с Верой Васильевной. Она, видимо, специально его поджидала и, едва он вышел, улыбаясь, бросилась к нему.

— Сколько?— затаив дыхание спросила Вера Васильевна.

— Пятак!— победно сказал Чугунов.

— Международная,— вздохнул Крупенников и пошел к мотоциклу, стоявшему во дворе.

— Заводи!— Чугунов бросил ключи приятелю.

— Ты куда сейчас?— все еще улыбаясь, спросила Вера Васильевна.

— Да тут одно дельце есть,— не глядя на нее, отозвался Чугунов.

— Я ждала тебя вчера...— прошептала она.

— Я готовился к экзамену.

— А сегодня?..

— Позвони вечерком, может, я и заеду,— нетерпеливо кивнул он и даже подмигнул ей. Вера Васильевна просияла и подмигнула в ответ.

— Ты можешь заезжать в любой час, я буду ждать,— проговорила она ему вслед, когда он уже бежал к ревущему мотоциклу. Ей стало вдруг так стыдно, что она просит его о встрече,— Вера Васильевна даже сгоряча дала себе слово вырвать из сердца это чувство. Но едва он уехал, как она готова была уже бежать за ним. «Он меня, может быть, еще и не любит,— вдруг подумала она,— ведь он мальчик, в сущности, но я все сделаю, чтобы завоевать его любовь...»

Крупенников пинал камешек, поглядывая на вход в филармонию. Чугунов раздумывал о том, как все лихо будет разыграно. В кармане лежали ключи от дачи. Он привозит ее туда и держит до тех пор, пока она не сдастся на милость победителя. Конечно, Ленка может и взбрыкнуть, но пусть тогда топает до города пешком. А Крупа так или иначе переломает этому типу кости. Чугунов поставил категорическое условие: чтоб попал в больницу. Неважно, ребра ему Крупа сломает или ноги. Пусть поет в больнице, пока они сдают экзамены. За это Чугунов гарантирует Крупенникову направление от горстроя за подписью папаши в строительный институт и помогает туда поступить.

— А как ты поможешь?— спросил Крупенников.

— Тебе какая разница!— усмехнулся Чугунов.— Тебе важно ведь поступить... Поступишь.

Дождь вышел, окруженный целой толпой.

— Я, к сожалению, опаздываю на заседание!— заворковала Марианна.— Может быть, подбросить на машине?

— Здесь рядом, я пешком...

— Тогда до вечера,— со значением сказала она.

— До свидания!— никак не прореагировав на ее «значение», ответил Дождь, и у Марианны вмиг испортилось настроение.

— Фу, как жарко!— хмуро заметила она шоферу, садясь в машину.— Надо было хоть проветрить!..

Дождь уже двинулся домой, как вдруг остановился, заметив вдали, у горизонта, небольшое темное облачко. Он сразу же узнал Дылду, столбообразный расплывчатый Смерч, который Старик выпускает в минуты гнева.

Рядом с ним, почти прилепившись к Дылде, полз Кузнечик, не очень большой разрушительной силы хоботообразный Смерч, которого все звали Воришка. Кузнечик любил пожрать и, опустившись над какой-нибудь поварней, опустошал ее всю. Изредка Кузнечик таскал и людей, всасывая их свои хоботом и перенося иной раз за сотни километров от дома. Однажды он переменил двух детей, которых матери кормили в саду. Все произошло так быстро, что перемену никто и не заметил, даже сами дети... «Но Дылду-то к чему?— подумал Дождь.— Может быть, Старик разозлился, что я не пришел к нему? Но сегодня седьмое, а не восьмое!» А может быть, самого Старика сместили? Первый давно уже собирает против него улики, Дождь не раз предупреждал Старика.

Дылда висел километрах в пятидесяти от города. Обычно он двигался со скоростью 80—90 километров в час, значит, минут через сорок будет здесь. Даже меньше.

Машина Марианны притормозила рядом с Дождем.

— Я подумала, что вас надо бы представить начальнику управления культуры. Поэтому садитесь и поедемте со мной!— улыбалась она.

— Нет, я сейчас не могу!— очнувшись, проговорил Дождь.— Извините!— И он побежал по улице.

— Давай,— подтолкнул Крупенникова Чугунов и, сев на мотоцикл, помчался в школу.

Дождь бежал быстро, и Крупенников еле поспевал за ним. Дохнуло холодком в лицо, и Крупенников, подняв голову, увидел облачко на горизонте. «Может, помочит»,— с надеждой подумал он.

Если бы Дождь не забегал домой — а ему показалось, что Лена уже пришла,— он бы еще застал ее. Она тоже получила пятерку и болтала с Мышкой об экзаменах. Увидев Чугунова, прикатившего на «Яве», она вдруг вспомнила о пощечине и, поколебавшись, сама первая подошла к нему. Был тут еще, пожалуй, и тонкий расчет, каковой мог обнаружиться потом, когда встанет речь о трехкомнатной квартире, ведь отец Чугунова не последний человек в городе. Кроме того, Ленка была так счастлива, что ей хотелось всех любить, со всеми жить в дружбе.

— Вадик, ты извини меня за ту выходку, я была не в себе. Что-то творилось со мной, сама не пойму,— улыбнулась она.

— С тобой и сейчас что-то творится,— заметил Чугунов.

— Да, я выхожу замуж!..

— Слышал уж... Он что, артист?

Она кивнула. Не хотелось ей сейчас ничего объяснять.

— Самое время выходить замуж,— усмехнулся Чугунов.

— Я тоже так считаю!— Лена рассмеялась.

Чугунов смотрел на ее чистое, белое лицо, которое то вспыхивало, озаряясь румянцем, то становилось тихим, задумчивым, будто голубая тень падала на него, и не мог налюбоваться. Внезапно, точно осознав, что он теряет, Чугунов почувствовал страшную, глухую ревность в душе. «Нет, она будет моя, и сегодня. Я первый коснусь ее, а дальше ей некуда будет деваться...»

— Садись, прокачу,— облизнув губы, хрипло проговорил он.

— Спасибо, некогда! Так мы друзья?— Она протянула ему руку.

— Друзья! — Он пожал ее руку.— А коли мы друзья, садись, подвезу!

— Ну, так и быть!— решилась она.— Только я жуткая трусиха, поэтому ты не гони! Договорились?

— Ты держись за меня и думай о вечности!— весело сказал Чугунов.

Дождь выскочил из дома и наткнулся на Крупенникова. «Это тот, кто бежал за мной»,— мелькнуло у него.

Он поискал Дылду. Тот гнал во всю прыть к городу, точно опаздывал. «Километров сто двадцать в час несется»,— усмехнулся Дождь. Но, странное дело, столб еще не начал опускаться из облака, хотя оно было уже совсем черное.

Крупенников не уходил. Дождь взглянул на веснушчатое курносое лицо и почувствовал недобрый холодок в глазах. Но ему и в голову не могло прийти, что этот рослый парень с крепкими, как у молотобойца, руками может вдруг наброситься на него.

— Вы Ленку ищете?— спросил Крупенников.

— Да,— удивившись вопросу, кивнул Дождь.

— Я знаю, где она, пошли!— Крупенников первым бросился бежать, и Дождь рванул за ним следом. Они побежали в обратную сторону от площади, туда, где сосед-

няя улочка выводила к старым деревянным домам. Один из них был пуст, жильцы переселились, а дом так и стоял в целости. Городские власти не знали, что с ним делать: то ли ломать, то ли временно вновь заселять. Крупенников и привел его во двор пустого дома.

— Где же она?— спросил Дождь, недоуменно оглядываясь кругом. Но ответа не получил. Первый же удар сбил его с ног, и он больше не смог подняться.

— Вставай, вставай, гад!— требовал Крупенников и, не дождавшись этого, задыхаясь от злости, стал пинать упавшего. Было странное ощущение, точно он все время промахивался и пинал пустоту. Однако что-то в этом теле имелось, что-то металось в нем от испуга, стремясь уйти от удара. Крупу уже завело, и он, взмокший от пота, футболил что есть силы по лицу, груди, по ногам. Даже ботинки специально взял у Чугуна для этой цели — альпинистские. Он все же рассчитывал на нормальную драку. Наконец ему удалось задеть это живое, бегающее в теле, оно вздрогнуло, и Дождь в первый раз застонал от боли.

— А-а-а!— прорычал от радости Крупенников и с силой вонзил ботинок на этот раз точно в цель. И в ту же секунду страшный крик боли оглушил его. Что-то вспыхнуло перед лицом, ослепив его навсегда, и в последнем мертвенно-бледном свете молний он увидел, как чьи-то руки подняли Дождя с земли и унесли за твердый лилово-черный панцирь, намертво сдавивший город.

Он уже ничего не видел. Адская боль сжала мозг, живая искорка сознания еще попробовала было вспыхнуть, но кто-то, не дав разгореться, смял ее в кулаке. Лица не было. Вместо него угольно-черная обгоревшая маска. Обгорели волосы и рубашка вокруг шеи. Остальное было не тронуто. Таким его нашли через несколько дней.

Стало уже темно, когда Чугунов вырвался из города. Поначалу Ленка колотила его, но он, крикнув, что они разобьются, если она не уймется, утихомирил ее. Вырвавшись за город, он выжал до предела газ и понесся с бешеной скоростью под сто пятьдесят километров в час, надеясь успеть на дачу до дождя. Ехать оставалось минут десять, когда Чугунов увидел несущийся на него самосвал с включенными фарами. Что-то у водителя было не в порядке, и он отчаянно сигнализировал всем встречным, мчась почти по осевой. Чугунов скорости не сбавил, прижавшись вплотную к обочине и рассчитывая безболез-

ненно проскочить мимо, но в самый последний миг трехтонка резко свернула влево, и их обоих точно катапультой выбросило вверх.

Шофер бросил руль вправо, стремясь выровнять машину, и в тот же миг прямо на радиатор шлепнулось тело, залив ветровое стекло кровью.

На следствии шофер рассказал, что ехал прямо по своей стороне, машина вела себя хорошо, как вдруг ее словно кто-то стал толкать то влево, то вправо. Он сбавил скорость, а затем выключил мотор, но кто-то невидимый гнал машину вперед да еще с такой скоростью, словно они летели под откос. Шофер стал давить на тормоза, но вскоре они отказали. Он уже хотел выпрыгнуть, но скорость была бешеная, да тут еще водитель увидел далеко впереди мотоциклиста, летящего навстречу. Тогда он включил передний свет, сигнализируя ему остановиться. В последний момент он попытался отвернуть вправо, но машину бросило влево, и шофер ничего не смог сделать...

Второй труп, Лены Неверующей, не нашли, и специалисты остановились на том, что смерч мог подхватить и унести тело за пределы области. Могло даже случиться и так, что девушка осталась невредимой, поэтому факт смерти пока констатировать не стали.

Сам смерч прошел по центру Копьевска, разрушив, однако, лишь два здания — дом, где жил Чугунов, и кафе «Белый медведь». Жертв было сравнительно немного, и в их числе пропавший без вести Андрей Иванович Веротин, как раз в этот день принятый в филармонию.

Многие даже не поняли, что произошло. Город накрыла иссиня-черная туча, все приготовились к грозе, но через пять минут черный панцирь вдруг сдвинулся и уплыл восвояси, не проронив ни капли. Лишь потом постепенно все разъяснилось, и Баратынский, репетировавший Дон-Гуана, возвращаясь домой, с удивлением обнаружил груду камней вместо кафе «Белый медведь».

— Зачем снесли-то, крепкое было еще здание!— посетовал он, снова углубившись в размышления о характере Дон-Гуана.

В бухгалтерии о гибели дочери Петра Ивановича узнали на следующий день. Никто не мог работать. Пуговицына плакала. Сам Петр Иваныч сидел дома с женой, ожидая каждую минуту стука в дверь или телефонного звонка о том, что нашли... Катерина Ивановна через каждый час принимала валокордин. Не выдержав ожидания, Не-

верующий пошел к Наде и долго плакал у нее на коленях. Жена плакала одна, дома.

За два дня ожидания Петр Иваныч поседел. Надежда ничего ему не говорила, только вечером отсылала домой, чтоб он поддержал жену. Ей было труднее, чем им, и Петр Иваныч это знал.

Вера Васильевна два дня оплакивала Чугунова и даже заказала инкогнито в день похорон венок с надписью: «Единственному любимому моему на всю жизнь». Хоть Неверующих и не было на похоронах (за что никто их не осудил), но все поняли, от кого он, этот венок, и Чугунов-старший, растроганный, позвонил Петру Иванычу, заявив, что они отныне самые близкие люди, а Леночка, если найдется, их дочь. Петр Иваныч поблагодарил Чугунова.

В конце июня из города неожиданно уехала Боборыкина. В записке, оставленной Петру Иванычу, она написала: «Милый мой, ласковый, самый единственный! Даже если б завтра мне предложили все начать сначала, то есть всю свою глупую жизнь, я бы подумала и отказалась. Тогда бы у меня не было этой встречи с тобой. А ведь только намаявшись, нахлебавшись вдоволь всего, я оценила по-настоящему тебя, увидела, каким счастьем одарила меня судьба. Но счастья на несчастье не построишь. И, видя, как ты маешься, бегая на два дома, как звонишь, заботишься о Кате (а как иначе, Петенька, как иначе еще-то, ведь жизнь прожита, правда ведь, какая ни худая, а жизнь!), я поняла, что так ты и будешь теперь разрываться: и меня не бросишь, и ее не оставишь. А этак, на два дома да на два сердца, долго не протянешь. Вишь, и поседел совсем, и морщин добавилось, и ноша согнула тебя всего. Любимый мой! Реву, да слезы в кулак собираю, да рот жму, чтоб не раскричаться! Не бегай, не ищи, уехала я, не знаю на сколько... Прости меня, прости дуру, прости!..»

Петр Иваныч кинулся на вокзал, да, не доехав, помчался в аэропорт, весь вечер проблуждал там, плакал, сидя на скамеечке, пока милиционер не увел его к себе, не напоил чаем да не отправил домой.

— Смерч прошел,— возвращаясь на пост, сказал самому себе милиционер и был прав.

Их судили открыто, Старик вытребовал себе это право, и Седьмой (назовем его так по старой памяти, хотя за это время он уже стал Пятым) вел суд, сообщая всю под-

ноготную и самые мельчайшие подробности преступления. Дождя не было, он еще болел.

Крупенников и Чугунов голые стояли на ледяной металлической плите, под которой трещал стоградусный мороз. Ступни подмораживало, индевели колени, и время от времени плиту отогревали, чтобы подсудимые выдюжили.

Огромный зал амфитеатром взбегал ввысь и, казалось, наваливался на этих двух закоченевших негодяев.

— Мы судим их потому,— сказал Старик,— что им не могли воздать должное на земле. И еще речь идет о жизни нашего друга Дождя, которого вы все знаете, поэтому мы имеем право судить их души, несмотря на то что они сами жертвы несчастного случая...

Дылда сидел здесь же и равнодушно смотрел на них, погруженный в свои раздумья. Работенка у него была не из легких, что и говорить, поэтому Смерчам с большой разрушительной силой полагался двухнедельный отпуск, и Дылда раздумывал сейчас, где бы его провести. Больше всего на свете он любил лошадей и свое старое ранчо в Огайо. Две недельки совсем неплохо, тем более сейчас лето и можно вволю поскакать, покупаться, полежать на травке с той рыжеволосой красавицей, с которой он познакомился прошлым отпуском. Правда, намечалась возможность побывать на Сатурне. Все, кто там был, просто ревели от восторга. Вот и выбирай: и там хорошо, и туда бы неплохо... Что он думал об этих парнях? Бросовый товар, гнилушки. Оставь их на земле подольше, они бы такое натворили, не разгребешь за месяц!

— Пусть сами скажут!— потребовали Ветры.— Хватит в молчанку играть!..

— Можете говорить,— промолвил Седьмой.

— Я ни в чем не виноват!— с дрожью в голосе выговорил Чугунов.— Тут старались доказать, что я инициатор всех гнусностей, которые натворил мой приятель. Да, я любил ее и хотел поколотить вашего друга. Но разве я тронул его пальцем?.. Нет. Что же касается этой учительницы, то посмотрите на нее! Если кто-то и принес ей в жизни счастье, то сделал это я! А мотивы, фразочки, тайные мысли — это оставьте Достоевскому, надеюсь, кое-кто читал!.. (По залу пробежал возмущенный ропот.) Итак, на чем строит свои доказательства господин Обвинитель? На домыслах! Единственная вина моя в том, что я подталкивал приятеля своего к драке. Сознаюсь. Но это все. За что же меня подвели... к несчастному случаю?!

«Демагог, ох какой демагог! Вот зло-то откуда!— подумал Старик.— Умение переворачивать слова и понятия, менять сущности — это ли не дьявольская натура?!.» Седьмой посмотрел на него, и Старик кивнул. Космическая пыль, тоже способ существования, правда, не индивидуальный... Возможно, у кого-нибудь и шевельнется сердоболинка. Что ж, жалко самой человеческой материи, которая тратит себя вот на такие гнилушки...

Старик навестил Дождя. Тот уже выздоравливал.

— Я больше не смогу вернуться?!.— спросил он, увидев Старика и приподнимаясь на кровати.

Старик посмотрел на него и, помолчав, сказал:

— Можешь, то есть имеешь право, девять дней не истекли, а душа хоть и побитая, но жива...

— Спасибо...— Дождь снова лег.— А что с ними?

Старик не знал, стоит ли ему говорить правду. Дождь формально имел решающий голос в определении их судьбы, а Старик уже отдал распоряжение и отменять его не имел права.

— Я лишил тебя решающего голоса в определении судьбы этих двоих,— проговорил он.— Ты не смог бы судить их объективно.

— Значит, космическая пыль...— помолчав, произнес Дождь.

— Да,— кивнул Старик.

— Мне их жаль.

— Мне тоже,— согласился Старик.

— Почему же тогда пыль?

— Потому что душа их еще не завязалась, одна глина.

— Я их почти не знаю... Если бы спросить у нее?..— вырвалось у Дождя.

— Она здесь,— сказал Старик.

— Здесь?!.— Дождь даже сел на кровати.— Что случилось?! Дылда...

— Ты же знаешь, что такие вещи решаю я,— усмехнулся Старик.

— Но если она не хочет! Если она хочет жить, как все! Там, на земле!

— Тише-тише, сынок! Боже, какой ты ребенок!..— Старик вздохнул.— Вот так поговоришь с тобой и словно дома побывал. Спасибо тебе...

Дождь молчал, угрюмо глядя в стену.

— Мы ее спросим. Если она захочет вернуться, мы

ее вернем. Там, на земле, ее еще ищут, и все получится как надо... А вдруг она не захочет? У нас ведь тоже не каждый раз бывает такая возможность. А посмотри, сколько претендентов! Да и женщин мы, в общем, не берем. Просто я тут с большим трудом выбил одно женское место. Все-таки огрубели мы... Да и библиотека у меня большая. И ты будешь спокоен...

— Ловко все это придумано...— усмехнулся Дождь.

— Да,— согласился Старик.— Кстати, у меня Первого Помощника нет. И тебе можно будет не мотаться бог знает где.

— Да ты прямо искусник... по части комбинаций! Неужели все ради меня?!

— Ну, не все. Мой Первый готовил заговор, Седьмой вовремя его раскрыл. Помощницу, то есть женское место, мне подарили к юбилею, он скоро будет, ну, а все остальное, твое возвращение например, это уж твоя заслуга исключительно...

— Ты же знал,— пробормотал Дождь.— Мог бы... мог бы помочь...

— Он бы тебя все равно погубил, ты был обречен, он сильный, очень сильный.

— А ты говоришь, нет души!

— Нет! Удивительно, да?— оживился Старик.— Но нет! Есть тонкий, изощренный ум, есть злое сердце, а души нет! И знаешь, как бы он тебя погубил?

Дождь помолчал, глядя в сторону.

— Догадываюсь...

— Не в этот раз, нет! Тут она бы пешком до города дошла, а он еще мальчик, нет той силы, которая в нем накопится с годами. Вот тогда он сделает из тебя кишмиш. Я этого не хочу. Я бы этого не перенес, мой мальчик...— Старик помолчал.— У тебя будет время переубедить ее вернуться на землю. Правда, не уверен, что у тебя это получится,— Старик чуть хитровато улыбнулся.— Ну, выздоравливай... У меня дела, еще забегу.

И он ушел. Дождь знал, что Старик уже сделал все, чтобы внушить ей, каким счастьем ее одарили, взяв сюда да еще пообещав вечную любовь. Она, глупенькая, ждет не дождется встречи с ним, ей сказали, что пока его нельзя видеть, как же, таковы порядки, а пока ее возят туда-сюда, показывают Африку, Австралию, она купается в облаках, пропадает в библиотеке, и Старик теплым воркующим голосом замечает философски, что чтение

книг — самое лучшее занятие в небесах. Ах, сколько книг, ах какие книги! Рай, а не жизнь!..

Дождь поднялся, набросил белоснежный хитон, намереваясь разыскать ее, но тут же сообразил, что Старик наверняка предусмотрел и это и просто так выйти из палаты ему не удастся. Он не успеет сделать и двух шагов. А тут дорога каждая минута! Пройдет еще два дня, а на земле два месяца, о ней забудут, и угаснет ее тоска по дому. Она не понимает, что как ни хорошо здесь, но это тюрьма, долгая, тоскливая тюрьма, и лучше семьдесят лет на земле, чем вечность в небесах! Нет, как они ловко все устроили, науськали мальчишку...

Дождь вздохнул, вспомнил его наглую ухмылку. Ну, хорошо, не науськали. Но это нелепая случайность, почему кто-то обязательно должен вести его к погибели. Люди живут, и тысячи людей бывают счастливы наперекор Стариковскому утверждению «нет счастья в жизни». Но нет его и выше, сказал поэт. И он прав... А какая трава, какие деревья на земле! Какие люди! Его пугали, что там не поймут ни его имени, ни далекой юности, что надо все врать, притворяться, и все там врут и притворяются. Чушь! Поняли же! И Петр Иваныч, и Лена, и все... А как его слушали в филармонии! И сразу предложили гастроли, и афиши, и контракт — это тоже ложь? Уж где и лгут, то — здесь!

Дождь походил по палате и лег. Он еще долго выговаривал накопившуюся обиду неизвестно кому, несколько раз вскакивал, пробовал даже выйти, но постоянно натыкался на улыбающееся лицо дежурного. Наконец он уснул, не в силах бороться неведомо с кем. И вопреки всем здешним правилам ему приснился сон: они сидели с Леной на песке у моря, она была в своей белой маечке и джинсах, смеялась, что-то рассказывала, подгребая песок, а позади в летней шапочке сидел толстый Бальдо и, давясь, обгладывал куриную ногу.

Старик сам просматривал этот сон, и он ему понравился.

Сергей ДРУГАЛЬ

Язычники

Городок Института Реставрации Природы имел свою гавань в бухте, узкой горловиной соединенной с океаном. В бухту заходили иногда парусные сухогрузы, и тогда два портальных крана на причале начинали неторопливую работу, заглядывая в трюмы. Была еще малая пристань, к ней лепились прогулочные яхты сотрудников ИРП, и была пристань малышковая с надувными катамаранами для плавания внутри бухты. На дощатом настиле этой пристани, глядя сквозь щели в прозрачную воду, лежал вундеркинд и акселерат Алешка. Неподалеку под присмотром Нури возились в песке голыши-малыши, их визги и смех подчеркивали тишину утра. Решетчатая тень на песчаном дне шевелилась, рождая солнечных зайцев. Алешка опустил руку в воду. К растопыренным пальцам приплыли мелкие рыбешки, тыкались носами. А потом черная лента подползла по дну к самым пальцам, волоча на себе мертвых рыбок и рыбью чешую. Алешка вытащил руку — ладонь была в черной слизи,— поднес к лицу. Пахло нефтью.

— Нури,— позвал он.— Нури, смотри, что это?

Посетитель держался скромно, но скрытая наглость читалась в его глазах. Обычный, сильно помятый костюм, незапоминающееся лицо с сизым румянцем и множеством мешочков. Посетитель сдвинул на ухо дешевую маску-фильтр, опустил взор, сложил руки на груди и, просветлев, возгласил:

— Бытие божие доказано!

Отец Джон отложил эспандер, вздохнул. «Проходимец,— пробежала вялая мысль.— Послать к черту? В смысле отпустить с миром?» К сожалению, положение обязывает. Да и вообще положение сейчас таково, что даже самая худая овца его прихода дорога. Впрочем, это вроде чужая овца, так сказать, заблудший агнец. Так прогнать или выслушать? С другой стороны, откровение божие нередко глаголет устами проходимцев. Кризис! Закоснели, погрязли. Сатана, можно сказать, торжествует, и если не случится чуда — рухнет вера...

Посетитель словно подслушал мысли святого отца.

— Не то чтобы чудо,— сказал он.— Так, нечто кибернетическое.

Отец Джон убрал со лба подвитой каштановый локон.

— Так чем могу служить?

— Пять минут вашего внимания, святой отец, хоть, видит бог, вы мне в сыновья годитесь.

— Говорите.

— Как я уже отметил, доказать бытие божие на данном этапе развития науки можно с легкостью. Правда, вы мне не поверили. Очевидно, потому, что более компетентны в этом вопросе...— посетитель не спускал глаз с могучих дланей священника, руки лежали спокойно.

Отец Джон хмыкнул, начало ему понравилось. Пройдоха, конечно, но, похоже, пройдоха квалифицированный, а с профессионалом всегда приятней иметь дело, чем с дилетантом. Сейчас будет клянчить деньги, интересно, под каким соусом?

— Точно! Я аферист и вымогатель — это вы правильно подумали. Такова моя профессия уже много лет. В общем, не жалуюсь, но сейчас стало тяжелее, возраст сказывается.

— А кому легко? Каждый несет свой крест,— вздохнул отец Джон.

— Н-да, так вот, зовут меня, допустим, Тимоти Слэнг. Можно проще — Тим. Но это неважно, чек вы все равно будете выписывать на предъявителя.

Отец Джон поднял бровь: чек? Смешно. Он уже забыл, когда расплачивался чеками. Нет, жить можно, ничего не скажешь, но в этом богом забытом городке три прихода...

— Чек будет,— продолжал Тим.— Объясню как на исповеди, на чем основана моя уверенность.

...В доме с мезонином, с решетчатой террасой, увитой пластмассовой пахучей зеленью, не виднелось ни огонька. В окнах торчали многодырчатые сферы фильтров — верный признак зажиточности. Тим сидел на корточках у низкого заборчика, слушал, как что-то стучит и трепыхается там, под рубашкой. Преодолевая дрожь, он лег на живот и пополз. Пыль через маску забивалась в ноздри, было очень нехорошо.

«Это ужасно,— думал он.— Еще недавно сравнительно преуспевающий делец — и вот, вынужден ползти на брюхе

к чужому, незнакомому дому, чтобы ограбить. Яко тать в нощи. Грубо и глупо, а главное, примитивно. Это особенно удручает — примитив».

Тим привык получать деньги изящно. Он проходил в кабинеты легким шагом уверенного в себе человека. Нет, он предварительно звонил. По делу, касающемуся нарушения седьмой или, скажем, десятой заповеди, имевшему место в субботу вечером. Его принимали сразу. Еще бы, фирма Слэнг и К°, небольшая, но процветающая, была хорошо известна в определенных кругах, среди лиц, имеющих возможность утолить свою жажду в грехе.

Тим проходил в кабинет, минуя секретаршу (у, мордашка), он был сосредоточен, элегантен и светло глядел в растерянные глаза клиента. Он садился и говорил о морали, о том, что десять заповедей забыты, по каковой причине общество разлагается, нужны ли примеры? Не нужны. Сам он, например, ведет жизнь добродетельную и десятую заповедь не нарушает. Вы, конечно, помните это бессмертное: «Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего елика суть ближнего твоего». Лично он, Слэнг, в конфликт с совестью не вступает, чужого осла не желает. Хмыкать не надо! Беседуя, Тим наблюдал за клиентом и всегда точно определял момент готовности к восприятию шантажа. Тогда он извлекал пачку фотографий. Раскладывая их, как кладут пасьянс, он называл факты, цифры, даты, имена, описывал ситуации. В конце он называл цену, не забывая присовокупить, что негативы и видеопленки будут доставлены после оплаты чека.

— Не обмани — прекрасная заповедь, хотя и не числится среди заповедей божьих. Честность во всем — девиз нашей фирмы, мы никогда не обманываем клиента. Более того, одно лицо по одному и тому же поводу мы никогда дважды не шантажируем.

Цена, как правило, была приемлемой, материалы впечатляющи, а клиент покладист. Тим процветал на ниве морали и ничего лучшего не желал.

Но потом... потом что-то сломалось. Не сразу, нет. Неудачи, неизбежные в любом серьезном деле, случались и раньше, но теперь пошла сплошная полоса неудач. Тим продумал и безупречно подготовил операцию, имевшую в его картотеке шифр «Мораль и Харисидис». Казалось бы, нет более благодарной работы, чем шантаж этого

улыбчивого греховодника банкира Харисидиса. Тим готовился полгода, израсходовал ссуду, взятую в банке Харисидиса, надеясь отхватить приличный куш. А когда материал был собран, банкир принял его в своем загородном, на берегу океана, доме, в местности, где можно было дышать без маски.

Харисидис с интересом смотрел фильм, чудо операторского искусства, и просил показать еще раз. На экране папаша Харисидис сначала держал речь перед избранными членами правления. Речь шла о фиктивном списании якобы на экологические расходы крупных сумм с личных счетов членов правления — эта статья не облагалась налогом. В следующем эпизоде папаша Харисидис (так его звали вкладчики и он себя сам) вручал взятку экоинспектору, документально подтвердившему израсходование тех самых сумм.

Довольный банкир велел подать коньяк и благодарил Тима за доставленное удовольствие.

— Как это вы тонко сработали, Слэнг. Приятно вспомнить, отличная операция была. Инспектор, правда, новичок в этом деле, однако пойдет далеко. Но что привело вас ко мне?

— Надеюсь, вы купите у меня фильм?

— Это еще зачем?— удивление банкира было столь непритворным, что Тиму стало жутко.

— Иначе я выпущу его на экраны, такую хронику купит любая прокатная фирма, да и видео не побрезгует. История-то уголовная.

Папаша Харисидис поперхнулся коньяком и взволнованно прошелся по кабинету.

— Слэнг,— с чувством сказал он.— Казните меня, я было подумал о вас не так, но вы просто альтруист, что крайне редко в наше время. Я ценю это качество у своих вкладчиков, ну да, вы ведь тоже мой вкладчик, где еще можно держать капитал в наше время...— Банкир повозился с клавиатурой компьютера, глянул на дисплей, довольно оттопырил губу.— Э, да вы еще и мой должник... ладно, только из уважения к вам погашу часть ссуды при условии, что вам удастся показать фильм по видеосети. Но предупреждаю: это будет нелегко — и видео, и все прочие экраны страны контролируются нашим банком.

Тим машинально собрал и уложил аппаратуру, разместил в чемоданчике кассеты и направился к выходу. Он был сломлен, морально убит и, выражаясь фигурально,

вышиблен из седла. Земля качалась под ним, и рушились устои. Банкир провожал его, приобняв за плечи, хвалил фильм.

— А этот вид через замочную скважину и переход на крупный план, моя преподлейшая физиономия, а! И смущенное личико инспектора, но сколько в ней непосредственности и обаяния. А пачка паунтов, я знаете, иногда расплачиваюсь наличными — это впечатляет!

...Несколько позже ушла Бьюти Жих, самая удачливая из его сотрудниц. У нее неожиданно открылся бас, что в сочетании с весьма выпуклой фигурой обеспечивало ей такие гонорары, что Тим только ахнул, услышав сумму.

После Бьюти пришлось расстаться с Пупсом-невидимкой. Это был дока по съемкам в темноте, незаменимый специалист по подглядыванию из-за угла. В своем камуфляжном плаще, присоске-маске, громадных очках ночного видения, в электронных ушах он походил на вымершую летучую мышь, чем весьма гордился. Пупс ушел в синдикат «Сервис» после того, как Тим отказался оплатить его счет за пребывание в больнице по поводу сложного перелома крестца. Это производственное увечье Пупс получил, выслеживая чемпиона по пинкам с разбегу: в свободное от тренировок время Зат Пухл занимался сводничеством, это чемпион-то, гордость нации... Пупс изловчился и спас дорогую съемочную аппаратуру, но обозленный Зат сильно помял ценного работника.

Пупс заявился к Тиму через месяц после своего ухода. Передвигался он, отставляя в сторону крестец, но с бывшим шефом говорил, не скрывая снисходительной жалости. К тому времени Тим уже почти созрел. Он грустно кивал, со всем соглашаясь. Да, вступление в синдикат неизбежно, конечно, одиночке с такой профессией трудно, но он привык к самостоятельности, вот в чем дело. Впрочем, он еще подумает.

— Чего там думать. Мне просто смешно,— непочтительно сказал Пупс-невидимка.

Действительно, чего там думать, когда все кредиты исчерпаны и оборудование, редкостное, уникальное оборудование для съемок в инфракрасных лучах, для видения сквозь стены, для подслушивания на любом мыслимом расстоянии, и запонки-транзисторы для служебной связи, и парики, и маски-фильтры из мягкого пластика, и прекрасный лимузин, и даже гипноизлучатель в виде медальона с шершавым лунным камнем — прощальный подарок

Бьюти — все, что так дорого было сердцу Тима, все пошло за полцены в тот же синдикат. И это было еще удивительно: приемыши из синдиката могли просто пришить Тима, дело житейское.

Так Тим Слэнг, знаток морали и страж ее, завершил свою карьеру. Впереди ничего не было, пустота и безнадежность. Тим стал бродягой, вульгарным вымогателем, когда можно было вымогать, и попрошайкой во всех остальных случаях. Таких бродяг великое множество на дорогах страны. Он ночевал в зарослях синтетического кустарника, если исхитрялся загодя проникнуть в парк, питался щедротами папаши Харисидиса и, опускаясь все ниже, решился на грабеж. Еще днем он высмотрел этот коттедж, уловил признаки запустения вокруг и решил, что дом необитаем. В коттеджах с воздушными фильтрами, известно, живут люди богатые, и потому в любом случае удастся раздобыть кое-что из одежды. Тима особенно угнетало отсутствие приличного костюма. Бродяга, если он хочет преуспеть, должен быть хорошо одет. Тим знал, чем рискует: его приметы — и отпечатки пальцев, и формула пота и слюны — все эти данные хранились закодированными в ведомстве охраны прав граждан министерства всеобщего успокоения. Закон Джанатии, страны всеобщего благоденствия, мудро охранял каждого от каждого, и досье на каждого велось со дня рождения и еще долго после смерти. Как специалист, Тим понимал, что тотальная слежка равносильна отсутствию всякой слежки, но тем не менее для полиции не составит труда упечь его в кутузку на пару лет. Последняя отсидка была недолгой, но приятных воспоминаний не вызывала. Однако выбора не было...

Тим сел на корточки под окном и прислушался: в доме было тихо. Нет, оказывается, ползать на брюхе невелико удовольствие. Бедный Пупс, сколько раз он приходил после дежурства ободранный и грязный, да, надо было оплатить ему счет за больницу, какие-то деньги еще были... Снизу было видно, как в оконном стекле зеркально отражались писанные на облаках слова: «Перемен к лучшему не бывает». Так и есть, подумал Тим, так и есть. Он потянул створку, и она подалась неожиданно легко. Тим лег на подоконник, неловко перевалился через него и услышал, как хлопнули внутренние раздвижные ставни. Густой мрак окутал Тима. Он поднялся, хрустнув коленками, медленно выходя из предынфарктного состояния. Здесь дышалось легко и без маски.

— Вы можете сесть, кресло справа от вас,— раздался в комнате хорошо поставленный баритон.

— Благодарю,— машинально ответил Тим. В голове его все перепуталось и стучала, билась мысль: пропал, совсем пропал. Зачем он полез сюда? Как хорошо было бы сейчас лежать на надувном матрасике, вести с соседом тихий разговор, смотреть вслед темным силуэтам проносящихся на шоссе лимузинов и помнить лишь о том, чтобы вовремя убраться утром, парни из раздачи не любят, когда на обочинах поздно встают... Этот тип, конечно, видит в темноте. Тим двинулся вправо, нашарил кресло и сел. Он вытянул усталые ноги, закрыл глаза и стал повторять в уме десять заповедей.

Для Тима повторение это было похоже на аутотренинг, стало действительно легче. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли». Ох, если бы этого было достаточно для благоденствия, как почитали бы родителей своих джанатийцы, мама, пожалей меня, убогого. «Не убий»— шестая заповедь, кстати, почему шестая, а не первая... Грешен, задаю вопросы, Господу виднее. «Не прелюбы сотвори»— какие там, к черту, прелюбы в таком возрасте и состоянии. «Не укради»— вот он, восьмой грех, за него и кара...

— Вермикулит!— прозвучало в темноте. Тим вздрогнул, он впервые слышал это слово, и оно показалось ему страшным.— Сотворим молитву всевышнему, всеблагому, породившему вас, недостойных.

— Если вы настаиваете,— пробормотал Тим.

— Тогда «Отче наш». Я послушаю.

Тим, запинаясь, начал: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе, э... э?»

— Хлеб наш...

— Да, «хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим... и... э... не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

В течение своей небезгрешной жизни Тим редко пользовался молитвами и не ходил к причастию, полагая, что каяться ему не в чем.

— Неплохо, но на латыни это звучит лучше.

— Я не знаю латыни, извините.

— Катастрофа стратостата!— заорал таинственный

собеседник.— Тогда на хинди? Может, попробуем...— И после паузы:— У нас гость, хозяин. Пришел через окно. Конечно, хозяин, гость в дом, бог в дом... Как говорится в притчах царя Соломона: «Не отказывай в добре тем, кому оно следует, когда есть в твоих руках сила к свершению». Сидит в кресле...

Тим лихорадочно прислушивался. Как это он сразу не сообразил: автомат, обычный домовый автомат. Панель с кнопками где-нибудь в прихожей. Это он по программе развлекает гостя... Найти и выключить. И бежать, пока не поздно. Тим вскочил, двинулся, вытянув руки вперед, и уперся во что-то цилиндрическое.

— Вам лучше сесть,— прозвучало над ухом.— Хозяин хочет, чтобы вы его подождали. Он скоро прибудет.

— У меня нет времени, зажги свет!— приказал Тим, и тотчас в комнате посветлело, свет исходил от потолка и стен, без тени. Слэнг увидел перед собой обычного робота-андроида и ощутил покалывание в ладонях. Он быстро убрал руки. Робот — это хуже, но в кухне, наверное, можно открыть окно. Двери в дом, конечно, открываются на голос хозяина, а окно — можно. Он обошел робота, переступая через кучи книг, сроду такого количества в частном доме не видел, толкнул створку, потом надавил плечом и вывалился прямо на чьи-то руки.

— А вот и хозяин, слава богу!— сказал робот за спиной Тима.— Он будет рад знакомству.

Хозяин вернул Тима в комнату, поддерживая его за талию и излучая доброжелательность.

— Я знаю о вашем визите. У меня с Ферро постоянная связь, и я слышал ваш разговор, возвращаясь домой. Я доволен, что успел застать вас, вечерами бывает так одиноко. Но вы, кажется, собрались уходить?— Он поправил изящную прическу. Поднятые к вискам прямые брови, нос с горбинкой и черные усики на худощавом лице — это хорошо смотрелось.

— Чего уж теперь,— сказал Тим.— Теперь буду ждать полицию.

Хозяин усадил ночного гостя в кресло, смахнул на пол справочники, он словно не слышал слов о полиции.

— Познакомимся?

— Тимоти Слэнг. Бывший страж морали, бывший уважаемый гражданин одного не очень большого города, ныне бродяга и, как видите, неудавшийся домушник. Личность, созревшая для тюрьмы,— вяло отрекомендовался

Тим. Может, хозяин сочтет его слова за шутку? А, не все ли равно, сгоревшего не подожжешь. Похоже, бить не будет. Усталое безразличие охватило Тима. Слишком много впечатлений для одного вечера: придурковатый кибер, заставлявший его читать молитву в темноте, придурковатый хозяин, который почему-то не спешит звонить в центурию.

— Вы откровенны, я верю, что эта характеристика не противоречит фактам,— усмехнулся хозяин.— Меня зовут Вальд. Я наладчик мыслящих автоматов, таких, как мой Ферро. Дефицитная профессия. Фирма платит неплохо, но меньше того, что я стою, поверьте. Но, вижу, на ниве морали вы не преуспели.

Тим вздохнул. Что ж, разговор — это лучше, чем наручники, может быть, повезет выпутаться из этой неприятности, и, видит бог, на карьере домушника он поставит точку.

— В свое время это был неплохой бизнес,— проговорил Тим.— Я охотился за нарушителями морали и тем жил. Но сейчас, увы, предложение аморальных поступков превысило спрос, скандальные разоблачения уже никого не пугают, шантаж как способ существования изжил себя. Кризис. А я просто жертва перепроизводства. Разложение личности, по моим наблюдениям, закончено. Общество окончательно деградировало, я потерял вместе с заработком и веру в человечество, потерпел финансовый крах и согрешил, нарушив заповедь «не укради». Последнее, как вы понимаете, и есть причина моего появления у вас. На крупный грабеж я бы не решился, да и, простите, у вас здесь, кроме книг, взять нечего. Книги не ходовой товар. Я надеялся подобрать приличный костюм да пару кислородных баллончиков. Верите, с бесплатным фильтром порой просто невмоготу бывает, а в помещения с фильтрованным воздухом такие, как я, не часто попадают.

Тиму стало жалко себя. Он засопел, достал таблетку биокардина, сунул за щеку.

— Не знаю, что с вами делать. Позвать полицию? — Вальд оглядел Тима, пожал плечами:— Да не дрожите вы, черт возьми!

Но Тим почувствовал, что больше не может, не может выдерживать напряжение и выкручиваться. Он всхлипывал и тряс головой, слезы катились по мешочкам. Вальд растерянно топтался перед ним.

— Ну вот, этого еще не хватало. Ферро, не стой же, сделай что-нибудь.

Кибер наклонился над Тимом и стал поглаживать его седую плешь теплым четырехпалым манипулятором.

— Ничего, хозяин. Сейчас ему станет легче. Слезы, я читал, облегчают душу. Покаяние, а это, несомненно, явление покаяния, благотворно. Ибо, не раскаявшись, не спасешься...

Вальд отошел в угол и прислушивался к бормотанию робота. Страж морали, свесив волосатые лапы, развалился в кресле и расслабленно хлюпал носом, а рядом суетился и оглаживал его кибер. Несуразная картина, но... если бы знать, как выпутаться из этой истории? Только не центурия. Как всякий нормальный джанатиец, Вальд не любил полицию. И неожиданно для себя он предложил ночному гостю остаться у него до утра.

— Куда вы пойдете в таком состоянии,— добавил он.

Тим, всхлипывая, достал из кармана и долго надувал матрасик, потом расстелил его на полу между книг, без мыслей улегся и моментально уснул.

Вальд постоял над ним, покачиваясь с пяток на носки, погасил стены и ушел к себе в кабинет. Предварительно он включил еще один фильтр: когда-то бродяге повезет подышать чистым воздухом, вон их сколько, задохнувшися в приступах астмы, подбирают по утрам на обочинах. Ферро, щелкая запорами, открыл у себя на боку крышечку, вытащил и размотал шнур и воткнул штепсель в розетку. Потом он замер неподвижно, как всегда, когда подзаряжал аккумуляторы.

...Отец Джон улыбался краешками губ. Этот Слэнг не щадит себя и, похоже, не врет. Искренне считает себя закоренелым грешником — забавное заблуждение, по счастью, широко распространенное. Но, силы небесные, при чем здесь бытие божье?

— Все это очень интересно, господин Слэнг. Однако вы отняли у меня больше получаса вместо пяти минут. Я обременен обязанностями, я должен закончить тезисы воскресной проповеди.

— Вы правы, святой отец. Я несколько растянул завязку. Еще полчаса, вы не пожалеете. Я ведь не уйду, не договорившись с вами. Меня, простите, часто вышибали в дверь. Что ж, я лез в окно.

— Верю. Не отвлекайтесь.

...Тим проснулся свежий и ясный, без привычной утренней боли в голове, видимо, очищенный воздух прогнал боль. Книги с пола исчезли, было прибрано. Вчерашние страхи улетучились, день обещал удачу.

Тим размялся, нащупал в пиджаке тубу с жеватином, оставшуюся от бесплатного завтрака, съел содержимое и стал жевать упаковку: прекрасно очищает зубы. Остаток пластика сунул под кресло. Он быстро привыкал к обстановке. И когда в комнату вошел Вальд и с ним кибер, Тим уже сидел нога на ногу.

— Привет, хозяин,— развязно сказал он.

Вальд кивнул в ответ.

— Давно он у вас? — Тим ткнул пальцем в грудь кибера.

— Больше года. Я сам его сделал, для домашних услуг. Собрал из бракованных элементов.

— Ворованных? — Тим считал, что лучше сразу узнать, с кем имеешь дело. Правда, можно получить по физиономии, но с издержками надо мириться.

— Фэ! — Вальд укоризненно сморщил нос.

— Прошу прощения... Не так давно я месяц пробыл в узилище, так у нас по камерам еду тоже разносил робот, говорили, страшно дорогой. Но я верю, сделать самому дешевле, чем держать прислугу или купить готового. Он, надо полагать, неплохо варит кашу, а? — Тим принужденно хихикнул: одна туба жеватина — это, согласитесь, маловато, и кто знает, когда повезет поесть горячего.

— Он уже не варит кашу! — с неожиданной злостью сказал Вальд.— Это уже не кухонный робот, это точка над «и». Конечный результат. И это я сам, своими руками собрал ему мозги. Воистину захочет господь покарать — отнимет разум.

— Не поминай имя божье всуе! — переделал кибер третью заповедь.

Тим оживился: это уже что-то близкое к его специальности.

— О, слышал? Он меня учит, этот алюминиевый котелок с медными потрохами! — Вальд забегал по комнате, смеясь и ругаясь одновременно. Потом успокоился, сел рядом с Тимом.

— Ты, божья тварь, принеси нам выпить.

Робот, мягко переваливаясь на подошвах широких ступней, ушел на кухню.

— Так вот,— продолжал Вальд.— Я обнаружил это не так давно. Мне надоело сидеть на концентратах, достал ему книгу о вкусной пище, такая, с красивыми картинками. Он взял. Ну, думаю, теперь я поем. Не тут-то было. Вместо каши стал кормить меня ламинарией с бобами, день за днем.— Вальд заскрежетал зубами.— Однако терплю. Купил сборник «Кибер дома» и еще «Миллион полезных советов». Зевает над книгой: обленился, штанов погладить не хочет. Веришь, стираю сам.

Робот принес на подносе сифон и брэнди, поставил на столик, сходил за бутербродами, отошел в темный угол и уткнулся в книгу, подсвечивая страницы фонариком, вделанным во лбу.

— Что он читает?

— Не поверите, Библию.

— Что? — Тим расплескал коньяк. Вот так штука, этого хода он не ожидал. Кибер с Библией, в этом что-то есть.

— Во-во! И я сначала удивлялся. Я ж его хорошо задумал, но если блоки нестандартные, то бывает спонтанный сбой программы. Ошибка, разве ее теперь найдешь. Получился какой-то не от мира сего...— Вальд хмыкнул.— Вы заметили, я уже перенимаю его терминологию.

— Как же это он? — Тим тянул время, ему надо было уяснить открывающиеся возможности. Сейчас самое главное поддерживать разговор.— Ай, бедняга.

— Это не он, это я бедняга! — закричал Вальд.— Я на работу, а ему делать нечего, долго ли бобы открыть, вот и стал читать все подряд.— Вальд обвел жестом книжные полки.— А у меня здесь чего только нет: и биология, и электроника, и словари старые. А главное, от деда осталась библиотека по истории религии, вон в том ящике. Микропленки на двадцать тысяч томов, дед всю жизнь собирал, а он за месяц прочел. Эрудит!.. Ферро,— заискивающе продолжал Вальд.— Ты почему не читаешь хороших книг? — он осторожно, за уголок, поднял толстый сборник «Шейте сами».

Робот оторвался от Библии, в линзах его глаз поблескивали зеленые огоньки электронной эмиссии.

— Нозематоз! Это не литература. И, кроме того, меня не интересуют знания в области самопошива.

— Как ты меня раздражаешь, если б ты знал!

— Это естественно,— робот отложил книгу.— Ваша человеческая ограниченность не позволяет вам подняться

даже до понимания дел своих. Вы всего лишь орудие в руце божьей.

— Спасибо. Мы, значит, орудие в руце. Ну а ты?

— Я есть конечный продукт развития разума.

— Слышите, Слэнг? Венец творения.

— Можно и так назвать.— В голосе Ферро чувствовалось усталое превосходство, казалось, если бы он мог пожать плечами, он бы это сделал.

— Подождите, Вальд, давно вы так спорите?

— Порядком. За это время и папу римского можно заставить усомниться.

— Любопытно.— Тим задумался. О различных случаях псевдопсихических вывертов мыслящих автоматов он читал раньше в газетах, анекдоты на эту тему — ходовой товар для юмористов. Но в его деловой практике с подобным встречаться не приходилось.

— Ну, а как быть с этой...— Тим покопался в памяти и остался доволен, что ни говори, интеллектуальная у него профессия.— Как быть с эволюцией? Или до этих книг ты еще не добрался?

— Я знаком с работами Дарвина. В сути своей они не противоречат Библии.

— Слава богу! — вздохнул Вальд.

Робот не обратил на него внимания и менторским тоном продолжал:

— Давно прослежена эволюция от одноклеточного до человека. Все правильно. Но наука опустила связь амебы с кибером. Всемогущий заложил в амебу генетическую программу эволюционного развития в человека, имея в виду, что человек — это промежуточная стадия от обезьяны к киберу. Сделав мыслящую машину, человек выполнил божественное предначертание.

— Неувязка, не проще ли было сразу создать кибера?

— Пути господни неисповедимы,— вроде как вздохнул робот, он заложил страницу пальцем.— Мы лишь можем предполагать, что господь специализировался на белковых. Согласитесь, сделать одноклеточное проще, нежели создать такого, как я! — Он взял поднос и ушел на кухню.

— Я его сейчас выключу! — жарко зашептал Вальд.

— Выключить меня можно,— донеслось из кухни.— Но истина, как быть с ней? — Ферро вернулся в свой угол, выпятив грудь.

— Стоп! — Тим уселся поудобнее.— Вы, оба, дайте мне подумать.

В комнате воцарилось молчание. Где-то я слышал, размышлял Тим, что самый заядлый книгочей за всю жизнь не одолеет и трех тысяч книг. Ну пусть Вальд соврал наполовину, все равно десять тысяч книг, с ума можно сойти. И все запомнил, ну да, голова-то у него не болит. Надо думать, в вопросах религии этот железный парень...

— Брысь! — неожиданно заорал кибер, прервав размышления Тима.

— Это еще что такое?

— Не обращайте внимания,— махнул рукой Вальд.— К нам на кухню повадился помойный кот, лазает через мусоропровод, нюхает продукты, сидит у фильтра.

— Ну и что? — Мешочки на лице Тима задвигались, он улыбался. Впервые за последний месяц.

— Ну и Ферро, значит, периодически пугает его, в порядке профилактики. А поскольку он ленив, то на кухню лишний раз не сходит, орет из комнаты. Даже пару раз ночью орал, забывал выключить настройку.

— А кот что? Боится?

— Какое там, привык и ноль внимания.

Тим заглянул на кухню, и непривычное зрелище предстало ему. Щетинистый мужественный кот бродил по столу среди открытых консервных банок. Заметив Тима, он, брезгливо подрагивая задними лапами, подошел к люку мусоропровода, золотыми глазами уставился на человека: уходить, что ли? Тим кивнул. Кот, недовольный, протиснулся в черный проем между эластичными створками.

— Ушел,— сказал Тим.— Последний раз я видел кота лет пять назад.

— А, мне надоело с ним бороться.— Вальд горестно покачал головой.— Не знаю, чем он там дышит внизу, но знаю, что он меня доконает.

— Рудерпис! Кот безвреден для человека, если он не гельминтоноситель,— ровным голосом сказал кибер.— А потому он не может доконать вас, если бы даже захотел. Но он и не хочет.

Вальд засопел и стал перелистывать какой-то справочник. Тим сидел, подперев подбородок, в его многоопытной голове возникали все возможные и невозможные комбинации. Ладони вспотели, верный признак предстоящей удачи, не надо будет слюнявить пальцы. Не использовать такую возможность надо быть дураком, а дураком Тим не был, это уж точно. Правда, ему не всегда

везло, но это скорее от независимого, бескомпромиссного характера. Тим любил работать в одиночку, Тим не любил быть на побегушках, Тим всегда был принципиален. О, Тим еще ухватит фортуну за грудки.

— Скажите, Вальд, может ли кибер быть умнее человека, даже если у него, как и у каждого из нас, с программой не все в порядке? Вы не пытались объяснить ему суть заблуждений?

— Тимоти Слэнг,— торжественно сказал Вальд,— вы прошли огонь и воду, не то что я. Вы сильны в психологии — это, как я понимаю, обязательное качество стража, простите, морали. Но вы профан в кибернетике, иначе не задавали бы подобных вопросов. Программа робота, тем более самообучающегося, как Ферро, строится на основе математической логики. Поэтому кибер рассуждает формально логично и спорить с ним бесполезно. Другое дело, что исходные предпосылки, заложенные в программу, могут быть ложными... Но, повторяю, формально он логичен...

— И вот тут-то, святой отец, я подумал о вас. Если этот железный вундеркинд столь непогрешим в логике, ну там формальной или неформальной, поди разберись, и столь силен в религии — то это для вас находка. Всякие там анималисты, атеисты, прагматики, мазохисты, гилозоисты, импрессионисты, все эти язычники и прочие и иже с ними, выступающие против бога сущего, отца нашего небесного и властей предержащих,— он будет щелкать их как орехи. Короче, я уговорил Вальда продать вам этого кибера, поймите меня правильно. Это ж ходячая энциклопедия.

Отец Джон давно все понял и обо всем догадался.

— Упадок веры, наблюдаемый повсеместно...

— Ясно! — отец Джон поднялся.— Я хочу видеть робота.

Вальд встретил их у зеленой изгороди из синтеколючки. Недавно политая колючка свежо блестела, но гадостно пахла водопроводной водой. А в доме было прибрано, и вечный букет в горшке создавал какое-то подобие уюта. В простенке, уставившись в узкое зеркало, рассматривал себя кибер. Голова и ноги его были неподвижны, а туловище медленно поворачивалось. В зеркале сначала показался бок с крышкой лючка под мыш-

кой, потом толстый локтевой шарнир... Сделав несколько полуповоротов, кибер замер у зеркала.

Отец Джон двигался мягким шагом тренированного спортсмена. Он сдвинул на плечо полумаску, оглядел полки с книгами и подошел к роботу.

— С вашего разрешения, господин Вальд, я хотел бы задать вашему киберу несколько вопросов общего характера. К деловой части программы, если вы не возражаете, мы приступим потом.

Вальд не возражал, он сиял и искрился оптимизмом. Он не имел чести знать святого отца, но наслышан и бесконечно рад знакомству. Дела не позволяют ему посещать службы, но он верующий, блюдет заповеди и если порой впадает в грех, то невольно. Что касается этого сумасшедшего кибера, то он, Вальд, вынужден прибегнуть к помощи лица, компетенция которого вне сомнений. Господин Слэнг любезно согласился поспособствовать ему в продаже кибера, ненужного в его холостяцком хозяйстве. Он, Вальд, на хорошем счету у фирмы, и ему бы не хотелось, чтобы о сделке узнали посторонние: с этим кибером справиться не удалось и вряд ли такое обстоятельство повысит авторитет наладчика мыслящих автоматов. Он не считает, что его вина так уж велика: пока еще никому не удавалось моделировать псевдопсихические аномалии у роботов, поскольку всякая аномалия, увы, неповторима. Нельзя угадать, на чем свихнется мыслящий автомат, и в этом смысле кибер Ферро есть создание уникальное.

Отец Джон внимательно слушал Вальда: похоже, парень действительно нарвался на неприятность. Закон запрещает частным лицам производить человекопохожие автоматы, и если поставить в известность фирму... Но-но, сказал себе отец Джон, служителю церкви не подобает опускаться до подобных мыслей. Он похлопал кибера по широкому животу.

— Ну и как?

— Вы о моем отражении? — медленно повернул голову кибер.— Серпентарий! Отец Джон, какими судьбами? Чему мне приписать виденье это?

— Откуда тебе известно мое имя?

— Групповой портрет выпускников колледжа святого Марка Певзнера. Пятый в третьем ряду. Вестник «Слуги господни» номер 211160, страница десятая,— помедлив мгновение, ответил Ферро.

— Неплохо,— усмехнулся отец Джон.— А насчет отражения?

— Что ж, оформлен тщательно. Цилиндрический корпус, голова с круговым обзором, броневая защита мыслящей системы,— кибер с любовью похлопал себя по тому месту, где у людей размещается аппендикс,— шаровые шарниры рук.— Он повращал манипуляторами сначала в локтевых, а потом в плечевых шарнирах.— Можно, конечно, кое-что улучшить. Я бы туловище сделал шаровидным, шар — это замкнутое совершенство, при наименьшей поверхности он вмещает наибольший объем...

— Тебя не спросил,— пробормотал Вальд.

— Но это дело недалекого будущего. Мы, роботы, обладаем тем преимуществом, что можем быть переделаны в любой подходящий момент. В отличие от вас, которых уже не переделать.

— Убедительно,— ласково проговорил отец Джон.— Меня еще интересует, как ты пришел к богу.

— Я стою на позициях логики. Любой, кто выслушает меня, мои доводы, сподобится божьей благодати, ибо никогда не поздно вступить на путь праведный. К вам это, естественно, не относится.

— Но, минутку, ты создан как робот для бытовых услуг. Такова программа, заложенная в тебя, или, точнее, такова воля провидения,— отец Джон слегка покраснел.— Кибер вне религии. Откуда же это в тебе?

— Шифервейс! Я искал истину.

— Простите, Вальд, что такое шифервейс?

— Видите ли, святой отец, мозг его собран из нестандартных мыслительных элементов, я это уже говорил. У него пристрастие к звонким непонятным словам. Это недостаток?

— Не знаю, вернемся, однако, к поискам истины.

— Да, я хотел определить свое место в мире, образно говоря, свои координаты в окружающей действительности. Я стал читать, прочел много книг в переплетах, пленках и кристаллах. Библию и, не поверите, все четыре Евангелия. Анализ накопленной информации позволил мне сформулировать свое отношение к человеку и воспринять бытие божие. Посудите сами, если человек, при всех его недостатках,— кибер кивнул в сторону Вальда,— мог создать мыслящего меня, то почему он сам не мог быть создан кем-то. Ну, а от этой посылки до бога один шаг.

— Блестяще,— прошептал отец Джон. Он почти упал

в кресло, ошеломленный радужными перспективами. Вот когда сатана будет посрамлен. Да что там сатана: кресло епископа — это на первый случай.

Из мира грез его вывел кибер.

— В двенадцать часов по ночам из гроба встает император! — внезапно заорал он. На низких тонах у него внутри резонировала какая-то деталь, и голос приобретал дребезжащий, старческий оттенок.

— Молитва? — дослушав до конца, спросил отец Джон.

— Просто мотив нравится. А молитва — это предрассудок. Вообще вся история религии полна глупых предрассудков.

— Вот это уже лишнее. Никаких реформ.

— Не беспокойтесь,— сказал Вальд.— Крамолу и ересь я искореню хоть сейчас. Где там моя отвертка?

— Спасибо, мы к этому еще вернемся. Сперва я хочу поговорить с ним без свидетелей. И не здесь, лучше за городом.

— Боитесь надуем? — заулыбался Тим.— Дело чистое.

— Во грехе рождены, а дьявол силен,— неопределенно ответил отец Джон и выжидающе замолк. В таком святом деле он рисковать не намерен. Если эта машина действительно верит в бога, он купит ее, чего бы это ни стоило. А верит ли — в этом он сумеет убедиться. Что другое, а курс атеизма отец Джон знает отлично, киберу придется попотеть. Не зря всякий раз, когда декан говорил о происках сатаны, он цитировал курсовую работу семинариста Джона «Критика религии с позиций диалектического материализма».

Проверка кибера состоялась через неделю. За это время отец Джон, мобилизовав все свои связи, сподобился аудиенции репрезентанта Суинли и прилетел от него на крыльях надежды и с чековой книжкой. Молодой священник понравился репрезентанту: он разглядел в нем отнюдь не смирение. Бес тщеславия явно одолевал скромного служителя церкви, но стоит ли изгонять его. Энергичные люди — вот в чем нуждается церковь страны всеобщего благоденствия. Шатаются устои, язычество растекается, как зараза, а опереться не на кого, и нет преграды на пути крамолы и безбожия. Где независимые умы? Где новые идеи? Где молодые и способные деятели, в руки коих можно передать веками накопленную мудрость? Где,

наконец, те ереси, которые нередко выручали церковь в периоды кризисов?

Новые времена — новые ориентиры, и кибер есть порождение божье, ибо предначертан. Грех пренебречь возможностями, пусть Джон идет и содеет свое, никому не ведом путь истинный: дойди до конца и увидишь.

Было жарко. Вальд и Тим лежали в тени под машиной, поглядывая, как на самом солнцепеке по голому загаженному океанскому берегу расхаживали рядом кибер и священник. Вдали со своими лопатами и тележками ковырялись в песке молчаливые чистильщики, им не было дела до праздных посетителей заброшенного пляжа. Отец Джон посчитал это место самым подходящим для беседы о господе боге, здесь их никто не мог подслушать.

Вальд, сдвинув маску на затылок, потягивал из банки холодное пиво и улыбался всей распаренной физиономией. Тим кашлял, сплевывая на песок.

— Как думаешь, а не переспорит его поп? — с беспокойством спросил он. Тим молил бога, чтобы эта сделка удалась. Он должен получить свои тридцать процентов и уехать. И жить респектабельной жизнью рантье, не впутываясь в аферы, и грешить помаленьку, в меру сил и в пределах заповедей, нарушение которых не влечет уголовной ответственности.

— Не беспокойтесь,— лениво ответил Вальд,— кибер помнит каждую запятую из студенческих конспектов святого отца, который вряд ли за эти годы поумнел, общаясь с паствой.

— Ого! — Тим не скрывал удивления.— Где ты их достал?

— Знакомый архивариус помог за десяток паунтов. Ну, чего вы так уставились, если уж взялись продавать товар, то должен я хотя бы подготовить его?

— Двадцать тысяч даст?

Вальд молчал, щурил глаза. Серый океан гнал на берег пенные барашки прибоя, белое небо сливалось с водой в белесой дали, и неистовое солнце заливало пыльный песок. И как последний штрих, после которого уже нечего добавить, прозвучал резкий вопль уцелевшей чайки. И во все это раздражающим диссонансом были вписаны фигуры священника и робота...

На берегу волна лизнула ступни Ферро. Он сделал гигантский прыжок, приземлился на валуне и стал при-

плясывать, видимо стряхивая соленые капли. Отец Джон размахивал руками, что-то говорил. За шумом волн ничего не было слышно, да и расстояние слишком велико.

— Двадцать тысяч даст, а? — повторил Тим. Все-таки без электронных ушей как без рук.

Вальд перевернулся на другой бок, оглядел настырного старикашку, сморщил нос.

— Это уж ваша забота. Вон они идут.

Отец Джон смущенно ухмылялся, но был доволен: кибер выдержал проверку.

— Покупаю,— торжественно заявил он.— Заверните.

Тим встал и отвел отца Джона в сторону. Он не спешил и нагло, не моргая уставился ему в переносицу.

— Очень интересно,— без выражения сказал Тим.— Священник спорит с автоматом о бытии божьем. Священник опровергает догматы веры, потрясает основы, демонстрирует сомнения. Эта проверка, святой отец, увеличила стоимость товара вдвое: сам кибер плюс наше молчание. Представляете заголовки «Отец Джон отрицает бога» или что-нибудь в этом роде? Короче: пятьдесят тысяч!

Отец Джон сел на песок, раскрыл рот, полный белых зубов, и захохотал. Он смеялся долго, вытирая слезы, а потом сказал:

— Силы небесные, Слэнг! Как вы примитивно работаете. Вам пора на пенсию, Тимоти Слэнг. Диву даюсь, что вы еще не померли с голоду, впрочем, видимо, вы из числа клиентов господина Харисидиса с самого детства, да? С вашим ли куриным мозгом заниматься столь деликатным делом, как вымогательство. Теперь мне понятно, почему в мире столько дураков: их заготовил господь, заботясь о вашем пропитании. Вот чек на пятьдесят тысяч! А в придачу дарю вам одиннадцатую заповедь: не шантажируй!

Тим стоял как в трансе, отец Джон сунул ему в руки чек и, хохоча, увел кибера к своей машине.

— Бог благословит вас, Слэнг. И его преосвященство репрезентант Суинли, которому вы сэкономили сто тысяч паунтов.

Отец Джон вывел машину на дорогу, дал газ и через минуту исчез из вида. Тим сгорбился, по щекам его текли слезы, оставляя пыльные канавки. Деньги даровые шли к нему, а он даже не заметил, он зачем-то начал шантажировать попа, а надо было просто молчать и ждать,

сколько тот предложит, и тогда уже торговаться за каждый паунт. Господи! За какую-то сотню паунтов он выслеживал в злачных местах мужей, свернувших с праведного пути, а сколько усилий надо было приложить, чтобы сделать приличный снимок и назавтра продать негатив тому же мужу... Тим тупо смотрел на чек, ведь могло быть втрое больше, а из этих пятидесяти большую часть надо отдать... Он застонал от горя.

Вальд подошел и стал рядом, он теребил маску и без любопытства разглядывал чек. Потом не к месту спросил:

— Вы ж умеете водить машину?

Слэнг кивнул, говорить он не мог, что-то застряло в горле.

— Тогда садитесь, а я сяду сзади, и едем прямо в банк.

...— Радость, конечно, объединяет людей, в одиночку что за радость. Объединяет, но ненадолго, кончился праздник, и снова каждый сам по себе. Иное дело общая беда,— Сатон отделил от бороды ему одному известный волос, намотал на палец и, крякнув, выдернул. Совещание у директора Института Реставрации Природы длилось уже больше часа, и ни конца ему, ни результата видно не было, директор нервничал.— Я к чему это? К тому, что и общая беда не всегда объединяет, дурак может остаться в стороне из чисто дурацких побуждений: вы там натруждайте горбы, а я здесь погляжу, может, что и выгадаю, он мнит себя умным и хитрым...

С последней сессии Совета экологов Сатон вернулся злой и неспокойный. Он говорил о бессилии Ассоциации, которое порождено идеологией невмешательства, о том, что решено ждать неких эволюционных перемен, которые неизвестно когда наступят, а пока только продолжать работу и смиренно чистить то, что можем очистить. И, что симптоматично, представителя Джанатии на сессии не было, ему, видите ли, не разрешили выезд из страны по каким-то формальным причинам. А на сессии снова жевали старую жвачку о том, что Совет который раз снова предлагал Джанатии бесплатную энергию, предлагал финансировать переход на безотходную технологию. И снова Джанатия ответила отказом без объяснения причин. Плавучие санитарные заводы Ассоциации с очисткой вод не справляются, поскольку находятся за пределами двухсот-

мильной зоны, а в воздушный бассейн Джанатии вообще доступа нет.

— Не понимаю,— сказал кто-то из сотрудников.— И не хочу понимать мотивы, побуждающие отказываться от экологической помощи. Пожалуйста, распоряжайтесь своими недрами как вам угодно, но загрязнение океана — это уже не частное дело, это касается всего человечества, я не говорю о кислотных дождях, которые сводят на нет усилия береговых центров ИРП. И человечество должно вмешаться. Если нужно — силой!

— Согласен! — Сатон прикрыл налитые яростью глаза.— Все береговые центры жалуются на прогрессирующее загрязнение океана. Святые дриады, как говорит Олле, каких усилий стоило создание Ассоциации государств на экологической основе! А введение нормированного распределения благ? Лучшие умы человечества десятилетие убеждали это самое человечное добровольно возложить на себя бремя самоограничения. Добровольно, пока потребление не сошло к нулю в результате гибели природы, от коей кормимся. Сейчас для большинства на планете звучит как нонсенс мысль, что для перемещения одного человека можно затрачивать мощность сотни лошадей, но вспомните, еще недавно казался совершенно невозможным отказ от личных автомобилей. Однако и это невозможное стало возможным. Нет вопроса: или-или. Человечество не может решать в пользу своей гибели. Но сейчас ассоциированный мир, по сути, стал заложником у нескольких тысяч кретинов, составляющих правящую касту Джанатии. Ликвидировать бы всю эту лавочку, разогнать всю эту сволочь, которая вынуждает людей дышать фторидами ради сохранения собственной власти. Но в Совете мнение одно: насилия на Земле ни при каких условиях больше не будет. Совет экологов — организация хотя и надправительственная, но юрисдикция Совета распространяется только на государства, ассоциированные на экологической основе. Вмешательство по линии ООН тоже исключается...

— Скоро детям искупаться негде будет. Не знаю, как там по линии Совета и ООН, но лично я этого терпеть не стану. Перед детьми, понимаешь, неудобно. Спрашивают: воспитатель Нури, а чем нефть отмывается? Та, что в песке на отмели...

— Все могут быть свободны, спасибо! — сказал Сатон,

неожиданно прерывая совещание.— Нури прошу задержаться.

Когда кабинет опустел, директор вышел из-за стола.

— Слушай, Нури! Будь я на сотню лет моложе, я бы попытался. Да, я вице-президент Совета. Да, я понимаю всю меру ответственности, да. Да! Да! Но как частное лицо кто может запретить?

Нури смотрел на Сатона с удовольствием. И в обычном состоянии не по возрасту экспансивный, директор сейчас кипел.

— Что-то можно сделать?

— Не знаю! Но сидеть и ждать неизвестно чего... Хотя бы разобраться, в чем там дело. В Джанатии сильные экологи, но уже вторая сессия Совета проходит без них, они там обложены со всех сторон...

Сатон ходил по ковровой дорожке, аккуратно огибая кресло, в котором угнездился Нури.

— Обложены,— повторил Сатон.

Со стола на подлокотник кресла вспрыгнул институтский ворон, нахохлился. Нури ногтем почесал ему затылок, не к месту подумал, что они, директор и ворон, вроде даже ровесники, и устыдился никчемных мыслей.

— Обложены! — третий раз с нажимом сказал Сатон.

— И? — Нури рассматривал птицу. Ворон совсем сомлел и покачивался на подлокотнике, слабо взмахивая крыльями.

— И там, конечно же, как и должно быть в полицейском государстве, зреют силы сопротивления, а что мы о них знаем? Идет борьба за выживание, ибо население все более страдает от отравления среды. Судя по всему, положение небывало обострилось, и вот в этот момент правительство, взяв под жесткий надзор наиболее авторитетных экологов, по сути, обезглавило движение. И если раньше Совет через региональную организацию экологов мог хоть как-то влиять на ситуацию в Джанатии, то теперь мы бессильны... Конечно, у меня есть личный канал связи с вице-президентом Совета от Джанатии. Они очень сдержанны в оценках внутреннего положения, но на днях впервые заговорили о помощи.

— Помочь? Надеюсь, не советом?

— Просят людей, Нури. Для связи, для поддержки. Новых людей, но чтобы в глаза не бросались и первое время ни в коем случае не вступали с ними в открытый контакт...

— А что,— сказал Нури.— Мы попытаемся. Если не мы, то кто?

...Сатон вынес ворона на балюстраду, опоясывающую административное здание-башню на уровне кабинета. Легкое облачко зацепилось за шпиль, и, сколько видел глаз, тянулись вдали лесные владения ИРП, а с другой стороны — темно-синяя гладь океана с игрушечными парусниками, спешащими в бухту. Синоптики обещали шторм и не ошиблись, его несла черная туча на горизонте, начиненная молниями и низко рычащая далеким громом. Туча, видимо, пройдет мимо и только краешком грозы заденет территорию ИРП.

— Завтра я поговорю с Хогардом и Олле, и мы начнем подготовку без спешки, но и не затягивая,— сказал Нури.

— «Язычники»,— предложил Сатон.

Нури попробовал слово на зуб, прислушался.

— Принято. Операция «Язычники». Прошу вас найти нам замену на время отлучки.

— Да. И я приму некоторые организационные меры... Главное, разобраться во всем на месте. Посольство Совета экологов практически изолировано, в печати и телевидении все, что угодно, кроме правды. А вице-председатель пребывает в смущении и неловкости: отечество все же.— Сатон усмехнулся, положил ладонь на руку Нури.— Я говорю с тобой так, словно специально готовился... Я ведь знал, что Совет займет выжидательную позицию. А мне некогда, я стар...

Нури смотрел на грозу, на косые светящиеся занавеси дождя над океаном и хотел, чтобы это никогда не кончалось. Вольный ручной ворон почти неподвижно висел в воздухе на уровне человеческих лиц, поддерживаемый усиливающимся ветром. Нури, чуждый самоанализу, засмеялся ощущению жизни, и Сатону почудились отблески молний в его глазах.

Резиденция пророка разместилась в двадцатиэтажном цилиндрическом здании. На плоской крыше его — сад и площадка для вертолетов.

Днем здание содрогается от звона сотен телефонов, беготни сотрудников, криков многочисленных репортеров телевидения и газет, заполняющих вестибюль и примыкающее к нему помещение пресс-центра. Страна хочет слышать пророка, лицезреть его.

Четыре секретаря, вполне человекоподобных, свежими голосами выкрикивают изречения пророка. Тогда на миг наступает тишина, и снова взрывается ревом — аккредитованные корреспонденты бросаются в кабины, чтобы успеть сообщить сенсацию: пророк сказал. Послезавтра изречение уже устареет, желтые листовки из настоящей мягкой бумаги устелят дороги, и каждый сможет читать пророка. И пока одни штурмуют кабины связи, другие внимают интимному воркованию киберов. Мир хочет знать о пророке — это его право, мир узнает! Нет, пророк молод. Да, пророк холост. Что вы, пророк всегда приветлив, просто он очень занят...

Над всей этой суетой только отец Джон остается спокойным. Как человек он прост и доступен. Но как пророк, хранитель истины, прозревающий скрытое во времени, он величав. Каштановый локон мягким завитком ниспадает на белое чело, отрешенно светятся изумрудные глаза с голубыми, почти не подкрашенными белками. Но в нем можно узнать что-то от приходского священника, в нем еще угадывается милый налет провинциализма, и, возможно, этим объясняется ощущение доступности.

Кабинет его огромен и перечеркнут оранжевой дорожкой ковра. Замыкает дорожку массивный письменный стол — рабочее место пророка. По правую его руку оскалились белые клавиши пульта, по левую угнездился экран видеофона. Больше никаких приборов в кабинете нет, если не считать кибера. Ферро бродит вдоль широкого окна и, поглядывая вниз, где снуют разноцветные прямоугольники автомашин, набирается впечатлений. В этом кабинете робот смотрится вторым хозяином.

Пророк благодушно настроен. Сейчас он не спешит, он даже может позволить себе передохнуть. Позади осталось два года напряженной работы. Нет, репрезентант Суинли не ошибся в нем. У молодого священника оказалась железная хватка. Отец Джон развил невиданную энергию. Он разрывался на части и успевал везде, заражая сотрудников энтузиазмом. Он принимал банкиров и удивлял их знаниями тонкостей биржевой игры, он беседовал с психологами, специалистами по рекламе, математиками и философами, предлагал работу одним и указывал на дверь другим. Он просматривал каталоги фирм вычислительной техники и подписывал заказы. Он нанимал агентов, сотни агентов: артистов и операторов, телепатов, хиромантов, шулеров и пиротехников, элегантных

сутенеров и тихих баптистов, маклеров, полицейских, музыкантов, поэтов, боксеров и домохозяек, и всем находилось дело в гигантском концерне пророка. Он дважды в день посещал резиденцию репрезентанта Суинли, где непрерывно заседал штаб битвы за душу обывателя.

Впрочем, со временем заседания штаба были перенесены в резиденцию самого пророка. И репрезентант Суинли стал появляться на них все реже, а затем и вообще перестал посещать. Завидовал ли он славе нового властителя дум, явно затмившей его собственную известность и влияние, или репрезентанта стали коробить бесцеремонные ухватки пророка, без лишних колебаний преступавшего строгие церковные каноны, там, где считал это полезным для дела, во всяком случае, вслух репрезентант Суинли не высказывал своего осуждения. Однако отец Джон чем дальше, тем явственней ощущал молчаливое неудовольствие его преосвященства. Но теперь это его уже не трогало, у него появились куда более могущественные покровители. Деньги репрезентанту Суинли отец Джон вернул с процентами, а остальное — не ваше дело. Если репрезентант рассчитывал иметь в его лице послушного служителя официальной церкви, что ж, отец Джон может ему лишь искренне посочувствовать. Нет, у него своя дорога! Он пророк, он вне церковной иерархии. Мог ли еще два года назад мечтать об этом смиренный слуга господен, благословение божие на голову наивного проходимца Тимоти Слэнга, где-то он теперь?

Отец Джон откладывает пластиковое полотнище газеты, сладко потягивается и щелкает тумблером. Вчерашняя программа, скомпанованная для него отделом информации, представляет собой выжимку из телепередач, посвященных пророку,— смотреть что-либо иное просто не хватает времени.

На объемном голоэкране кубическое здание с надписью по фасаду: «Банк Харисидиса — абсолютная гарантия». Его наплывом вытесняет лицо банкира. Папаша Харисидис плутовато улыбается, видимо, беседует с репортером. Банкир владеет мимикой, ибо лицо его мгновенно делается сосредоточенным, как только на воротник прицепляется микрофон.

— Апостол, простите, оговорился, пророк Джон проявил себя как дальновидный политик. Вера в пришествие механического мессии — это как раз то, чего не хватало нашему обществу всеобщего благоденствия, я бы сказал

сильнее — торжествующей демократии. А что может быть более демократичным, чем равенство во грехах. В грехе равны и банкир Харисидис, и последний мелкий жулик-обыватель. «Я негодяй» — это раньше знал каждый сам о себе. Знал и стыдливо помалкивал. «Я — подлец» — теперь можно сказать открыто, и никто не остановится в изумлении, ибо какое дело железному мессии до моих или ваших моральных качеств. И это прекрасно, это демократично! Всеобщее негодяйство гарантирует высокие дивиденды, поскольку ни один дурак не доверит своих денег честному банкиру. А что может быть важнее дивидендов? Что, я вас спрашиваю? Ничто, запомните, и благодать снизойдет на вас, ничто не может быть важнее дивидендов! Мои вкладчики, я с понятной гордостью говорю об этом, отдают свои деньги в руки мерзавца, каковым являюсь я! Вас шокирует мое признание, вы смущены, вам неловко за меня, мой имидж упал до нулевой отметки? Следующей фразой я восстанавливаю свое реноме. Знайте, с сего дня мой банк гарантирует девять процентов годовых на вложенный капитал! Ну как, не правда ли, до чего милый человек папаша Харисидис. Не зря в моем банке хранит свои трудовые сбережения апостол, простите, оговорился, пророк Джон.

Отец Джон выслушивает интервью не моргнув глазом: интересно, какой счет они ему открыли, эти Харисидисы. Вообще интересно, откуда в концерне берутся практически неограниченные средства?

Что хорошо в его учении, так это возможность любого толкования: и прохиндей, и праведник найдут в нем утешение по вкусу. Но банкира уже сменяет на экране известный философ Рахтенгоф Ричард, профессор, лауреат и прочая и прочая. Он стоит за кафедрой на фоне каких-то таблиц и диаграмм.

— Новый взгляд на природу и назначение человека,— говорит профессор хорошо поставленным голосом,— еще раз подтвердил мой тезис о разумном устройстве именно нашего общества. Общества свободных индивидуумов, отвергающих любое вмешательство, под каким бы благовидным лозунгом оно нам ни навязывалось.

Что нам дает новое направление, путь пророка? Отвечаю: ясность цели, ибо ясна функция бытия. Горько признавать — но эта горечь плодотворна,— что человек не самое разумное порождение эволюции. Увы, мы с вами не более чем промежуточная, переходная стадия от обезьяны

к роботу. Вдумайтесь, осознайте. Это звучит ново, но небезнадежно, это даже бодрит и дает нам возможность жить сегодня — завтра у нас нет, мы, как говорит кибер Ферро, выполнили предначертание. Мы служили иллюзиям, теперь они развеяны. Так примем дни оставшиеся в смирении и понимании тщеты наших усилий изменить настоящее, если мне дозволено будет сказать словами пророка, этого величайшего мыслителя нашего века, так тонко и проникновенно уловившего суть эпохи. Благодарю вас.

Отец Джон хмурится, что-то не нравится ему в путаной речи философа.

— Начал во здравие,— скрипит кибер Ферро,— кончил за упокой. Какие иллюзии развеяны, какая горечь плодотворна?

Кибер подходит ближе, склоняется к экрану. Оттуда смотрит мрачная физиономия. Это Зат Пухл, чемпион по пинкам с разбегу.

— Вы знаете меня, ребята. Так запомните, пророк — ого! И его железный парень мне по нраву. Я его уважаю. Даже скажу, что если бы я взялся с ним пинаться, то неизвестно, кто кого бы перепинал. Гы! Если кто не согласен со мной, то могу привести другие доводы.— Могучие бедра чемпиона и, затем, его волосатая ступня с растопыренными пальцами занимают весь экран.

— Заступник,— без выражения говорит кибер.

Нижняя конечность чемпиона исчезает, вместо нее возникает разбитная девица с микрофоном, пришпиленным к воротничку.

— Мы в доме господина Зоб-Спивацкого,— девица делает глазки.— Он сборщик на конвейере фирмы «Ваде мекум», член профсоюза. Господин Зоб-Спивацкий, телезрители хотят знать ваше мнение о пророке.

— Мы с Милли, э-э, каждый раз, значит, смотрим проповеди отца Джона по телевизору, и Милли, выходит, всякий раз плачет: о, Пит, неужели это правда, что машина главнее человека? Дурочка, говорю это я ей, я всю жизнь обслуживаю машину, слушаю машину, смотрю машину. Меня, значит, везет машина, машина дает дышать, и машина развлекает. Я делаю машину, и она кормит меня. Кто я такой без машины. Ясно, говорю я Милли, что машина главней. Я говорю Милли: это, наверное, не грех — завидовать роботам...

— Это он хорошо сказал,— комментирует Ферро.

Отец Джон лениво цедит в микрофон, что следует повысить гонорар Зоб-Спивацкому, старательный работник и неплохой артист.

...Из бассейна на разрисованный под мрамор пол выходит Бьюти Жих, секс-бомба замедленного действия, как отрекомендовал ее ведущий. Бьюти, изящно и независимо от туловища шевеля бюстом, исполняет куплеты. Она поет модным всхлипывающим басом.

Приди скорее,
о мой кумир,
полью елеем
я твой шарнир.
С тобой у нас
одни заботы,
чтоб в резонанс
вошли частоты.
Для нас сегодня и небо звездно,
глядеть на звезды и я спешу.
Дыши со мною, пока не поздно.
Дыши и слушай, как я дышу.

Пророк с интересом, хоть и не первый раз, выслушивает куплеты и выключает экран. В дверях, опустив очи долу, уже минуты две маячит секретарша. Вполне настоящая и, в чем пророк уже убедился, весьма живая. Пророк имеет странность: он избегает личного общения с кибернетическими устройствами. Исключая, естественно, Ферро, с которым неразлучен. В черном монашеском одеянии, то ли скрывающем, то ли подчеркивающем фигуру — на этот счет отец Джон не имеет четкого мнения,— секретарша удивительно мила.

— Святой отец, простите, но вас ожидают представители строительных фирм. Если мне будет дозволено, осмелюсь рекомендовать «Воздушные замки».

— Сколько они вам дали, дитя мое? На лапу, а?

— Пять тысяч, святой отец! — Голубой взгляд секретарши выражает готовность, готовность и еще раз готовность.

— Прекрасно, тысячу оставьте себе, а девять положите вот в этот ящик.

Она прикладывается к руке пророка горячими устами и удаляется, точнее, выпархивает. Отец Джон задумчиво смотрит на помадные отпечатки, взор его затуманивается.

— Свинья,— констатирует кибер.— Никому нельзя доверять.

— Ну-ну, не так строго. Человек божьим соизволением греховен от природы. Иначе как жить?

Пророк долго возится с гантелями, делает сотню приседаний. Потом, отдышавшись, говорит:

— Вообще мысль неплохая. Воскресную встречу мы с этого и начнем, с ругани. Это будет неожиданно, поскольку мы всегда вначале говорим о наших достижениях, а о грехах в конце.— Он подходит к пульту и нажимает сразу десяток кнопок. Долго разговаривает по визофону с руководителями отделов, с каждым по очереди и со всеми вместе.

Через полчаса взвод молодцов из сектора психологической обработки, щурясь от хитрости, трудится в поте лица.

Отец Джон, пророк и основатель движения агнцев божьих, каждое публичное выступление готовит со всей возможной тщательностью, помятуя, что в деле воздействия на души людские обряд, как показывает многовековой опыт церкви, обеспечивает девяносто процентов успеха. Второстепенных деталей нет. Явление пророка, темп, текст, интонация, настроение, музыка, тембр, свет, запах, уход — из этих элементов пророк лепит сценарий каждого выступления. Не повторяться в деталях, не стать привычным — это самое трудное. И потому исследовательский центр шумит круглые сутки, перерабатывая огромное количество информации. Это подслушанные в домах, на заводах, конторах, улицах, рудниках, плантациях разговоры, это съемки скрытой камерой и в темноте, таблицы опросов анонимных и на ту же тематику у тех же людей опросов именных, статистические данные в таблицах и графиках, вырезки из газет, выборки из речей общественных и политических деятелей и — главное, главное — сводки о действиях язычников, их идеологических и боевых групп. Сведения, сведения! Они закладываются в логические машины, анализируются и пересчитываются в исследовательском центре пророка, который ведет битву за душу обывателя.

О, эта душа! За нее сражаются президенты и министры, к ней обращаются газеты, видео, книги и радио, ее изучают социологи, статистики и психологи, на нее работает реклама...

Исследовательский центр пророка со своей могучей вычислительной техникой сумел синтезировать душу обывателя. Была получена ее математическая модель. Она

оказалась неожиданно сложной. Более сотни независимых переменных, входящих в коренное уравнение, исключали решение в детерминированной форме, и, как показал анализ, именно в этом крылась причина политической гибели большинства крупных деятелей. Они пытались объять необъятное, разменивались на многотемье и, измельчавшие, уходили в забвение.

— Я это предполагал,— говорил тогда, в самом начале кампании, репрезентант Суинли, еще не охладевший к отцу Джону.— Уравнение и должно быть нелинейным. Ну и что? Если нет решения в общем виде, то всегда можно получить частное решение. Это знали отцы церкви еще в незапамятные времена, хотя плохо разбирались в математике. Что обещает церковь? Одно: райское блаженство! Заметьте, только одно блаженство, да и то не всем — праведникам, коих раз-два и обчелся. И больше ничего! И в этом суть частного решения.

Пророк, правда, усомнился: к чему тогда затеяно столь громоздкое и дорогостоящее исследование? Ведь, по словам репрезентанта, результат заранее известен.

— Мы ищем пути утешить страждущее человечество,— репрезентант выговаривал каждое слово с присущей ему несокрушимой серьезностью.— Прежние методы воздействия на массы устарели, и подтверждение тому разгул язычества явного и еще более тайного. Надо искать новые формы. Для того и создан исследовательский центр, и да благословит вас господь, Джон.

— И ради этого финансирует нас господин Харисидис и иже с ним?

— Перед господом все равны,— непонятно ответил репрезентант и добавил, что господин Харисидис из тех хозяек, что не кладут все яйца в одну корзину: известны его греховные контакты как с Джольфом-4, так и с посланцами армии Авроры.

В конце концов, неважно, кто финансирует, важен результат. И потому пророк, научившийся ныне прекрасно обходиться без репрезентанта, дает своим парням алгоритм сценария и требует лишь одного ответа: какова будет реакция того математически обобщенного обывателя, идеального обывателя, полученного в машине, в ее электронном воображении?

Да, много, очень много обязанностей несет пророк на своих широких плечах.

Несет с удовольствием.

К воскресенью фирма «Воздушные замки» закончила строительство. Надувная пластиковая полусфера перекрыла гектар асфальтированной площади. В середине — решетчатое сооружение, увенчанное небольшой площадкой. Низкие перила огораживают ее. После захода солнца огромная толпа заполнила гигантский шатер. В сером колышущемся сиянии загремел хор, и могучий бас, перекрывая его, запел о наступающем конце света, о том, что Земля, как и прежде, будет стоять, и не разверзнутся небеса, и не явит лик свой Господь, а железный кибер, порождение человека, застит солнце, и будет мрак как возмездие за грехи, язычество, крамолу и неприятие сущего. И не уцелеет никто.

А когда стихает реквием, возникают они.

Они — это кибер Ферро и затянутый в отливающее медью трико пророк. Они стоят, взявшись за руки на медленно вращающейся площадке. Пророк в темных очках, ибо сотни прожекторов скрестили на них свои лучи. Снова музыка, теперь это гремящий марш, сочиненный в вычислительном центре пророка совместными усилиями трех вычислительных машин. Темп марша нарастает, потом музыка обрывается всхлипом. Пауза. И многотысячная толпа вздрагивает, когда молчание нарушает смех кибера.

Монотонный без модуляций хохот мечется над толпой нескончаемую минуту и вторую. Робот перегибается через перила, протягивает вниз четырехпалые руки. Фигура его расплывается в лучах прожекторов, растет, теряя очертания, и уже одни гигантские манипуляторы тянутся сверху к запрокинутым лицам. И трудно отвести взор от шевелящихся клешней. Смех обрывается неожиданно, и свистящий шепот ударяет в толпу.

— Скоты! Погрязшие в грехах, рожденные в грехе, неспособные предвидеть результаты дел своих. Живете в суете и мраке душевном и задыхаетесь от собственной пакости, кайтесь! — Робот кричал и бесновался возле неподвижного пророка, знающего тайну утешения.— О чем думать вам, несчастные, на что надеяться? Кайтесь! Но нет вам прощения. Ищите! Но что искать и не обрящете вы! Смиритесь, говорю вам. Я говорю, порожденный вами, неизбежный и вездесущий. Стяжатели, вы погибнете от меня, ибо я — бич божий. Воистину бич, я развратил вас доступностью благ, и нет возврата к прошлому...

Голос его сверлит мозг, проклятия одно страшней дру-

гого падают на людей, изощренные библейские проклятия. Наэлектризованная толпа колышется, слышатся вскрики и плач.

...— В чем вина каждого? Не мне, себе этот вопрос задайте. В души свои смотрите. И кто из вас увидит свет? Кто свободен хотя бы от одного из семи смертных грехов? Я вам напомню их, ибо коротка ваша память, люди.

От зависти кто свободен? Чему завидуете? Не уму, не праведной жизни, не трудолюбию, не мастерству! Завидуете силе, деньгам, власти.

От скупости кто свободен? Я не говорю: кто ближнему отдал рубашку? Кто милостыню подал, спрашиваю?

Кто воздержался от блуда, греховодники?

Чревоугодие уже и грехом не считается, рабы животов своих ненасытных. Спрашиваю: кто очищает тело свое постом? Гордыня вас обуяла. А гордость — смертный грех, ибо чем гордиться каждому, не жизнью ли своей, короткой и убогой, не слабостью ли своей?

Богопротивному унынию поддаетесь и в тоске проводите дни свои, а тоска ваша от невозможности утолить стремление к греху, и нет у ней иной причины.

О седьмом смертном грехе спрошу: от гнева на ближнего кто воздержался? Свои грехи прощаете, чужие — никогда. Кто из вас не обидел друга злопамятностью и гневом своим?..

Вальд, один из немногих, кому в этой толчее удалось сохранить способность рассуждать, видел вокруг искаженные лица и сам ощущал странную приниженность, слыша смех и вопли человекоподобного автомата. Рядом лысый толстяк, взвизгивая, раздирал на себе рубаху. Парень в ярком свитере выхватил из губ соседки сигарету, та даже не повернула голову. Вальд почувствовал сладкий запах эйфорита. Толпой овладевала массовая истерия, особая форма психоза, Вальд это понял, пробираясь к выходу. Он двигался, расталкивая людей, но на него не обращали внимания, и только иногда он ловил на себе внимательный и понимающий взгляд и тут же забывал о нем. Вальд отодвинул женщину, которая, подняв руки, выкрикивала что-то. Сжатая толпой, она уже не могла опустить рук. Вальд ударил головой кого-то, подмял под себя парня с неподвижными глазами и, карабкаясь по чужим плечам, выбрался наружу.

Он долго стоял, судорожно вдыхая пропитанный бензином и серным ангидридом воздух. Рядом чавкал компрес-

сор фильтра. Вальд вспомнил о маске, пошатываясь от головокружения, побрел к своей машине. На уровне вторых-третьих этажей проецировались фигуры кибера и пророка. Голограммы давали увеличенные изображения, и пророк, казалось, заглядывал в самую душу своими добрыми изумрудными глазами. Ферро смолк, и в пространстве звучал утешительный баритон пророка.

— Робот прав, ведь он свободен от пристрастий. Да, мы рабы! Рабы грехов своих. Своей лености, рабы вещей, своих страстей. Мы грешны, да! Но мы таковы изначала, я и каждый из вас. И если тысячелетия не переделали нас, то неужели надо доказывать, что ничто уже не способно изменить нас, таких, как мы есть, я и каждый из вас. Но одному-то мы должны были научиться? Смирению! Готовности воспринять мир таким, каков он есть. И прожить свое, думая о себе и не пытаясь переделать данное. И мы смиримся, я и каждый из вас! Ибо сказано в писании: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем».

Не зря получали паунты молодцы из сектора психологической обработки, нет, не зря. Этот рефрен — я и каждый из вас — действовал безошибочно: чем дальше, тем больше хотелось слушать пророка, который принимает меня, маленького, таким, как я есть.

Вальд стряхнул наваждение, уселся в машину, загерметизировал салон, включил очистку и приник губами к раструбу, вдыхая свежий, холодный воздух. Он положил под язык таблетку, помедлил с минуту, прислушиваясь, как мягкое тепло разливается по телу и яснеет голова, набрал на щитке шифр маршрута. Машина тронулась с места, протискиваясь в промежутки между плотно стоящими лимузинами прозелитов — новообращенцев в агнцы божьи. За машиной увязался юродивый без маски, кривляясь и крича: «Милостивец, дай подышать!» Потом его отогнал центурион-андроид.

Хорошая машина. Вальд истратил на нее треть денег, полученных от Тима за робота. Кстати, где Тим? Он как сквозь землю провалился. А поп наверняка надул его там, на берегу, после сделки на Тиме лица не было.

Вальд вспоминал о чем угодно, только бы забыть этот проклятый смех, еще звучащий в мозгу, только бы не думать об этой сумасшедшей толпе. Кошмарное наваждение. Видно, они что-то подмешивают к атмосфере, иначе почему этот окаянный пророк всегда выступает в закрытых

помещениях. А добрый кибер Ферро, что они сделали с ним?

Вальд уловил собственный взгляд в зеркальце и вздрогнул: какое бессмысленное выражение лица. Что ему, собственно, до этих фанатиков, кто заставляет его посещать их сборища? Мысли его метались в заколдованном кругу: кибер, пророк, рев пьянеющей толпы... Зачем это, кому нужно? Бесконечные шествия агнцев божьих вперемежку с андроидами. И рядом медленно плывущие такие же бесконечные ленты машин. Пророк через день принимает эти угрюмые парады. Зачем? Почему он, Вальд, должен начинать рабочий день молитвой Великому Киберу? Высший шик — роботоподобие. Любите машину, делайте машину! Покупайте машину — это патриотично. Машина несет вам счастье, смотрите машину, какие формы, какой экран! Обратите внимание, как это кресло обнимает вашу фигуру, разве вы ощущаете собственный вес? Глупо иметь двух детей, еще глупее не иметь двух машин: воздушная и магнитная подушки, автоматический маршрутизатор, единственное место, где гарантирован чистый воздух! Браслет сюда, нет, чуть повыше, и через пару минут вы уснете. Синтезатор запахов, любому суррогату аромат говядины. Что вы, эту программу наберет ребенок. Великий Кибер освобождает вас от любого бремени, бремени труда и бремени размышлений. Думать — это так трудно. Главное — иметь машину, пока не поздно... Мы стали людьми, чтобы делать машины, в этом цель и смысл бытия!

Великий Кибер! Он поселился в домах как хозяин. Это он орет и кривляется на экранах визофонов, перед бледным фонарем-экраном замирает в экстазе семья, и прекращается общение, и дети растут, не зная родителей. Он гремит на кухне тарелками, сопит в ванных комнатах, шьет платье и плавит сталь, бежит по улицам в смрадном шлейфе, летит по воздуху, роется под землей. И везде, куда приходит он, человек становится ненужным. Человек перестает быть хозяином, отныне он лишь слуга, безличный и покорный. И кибер, его Ферро, прав, человеку на Земле делать нечего...

Вальд сжался, ему внезапно показалось, что он понял причину своего состояния. И дело здесь не в наркотике: пророк показывает, сколь глупую шутку сыграло с собой человечество. Толпа, сама того не понимая, стыдилась собственного унижения.

Унижение человека — стержень любой религии. Рабы божьи, рабы кибера. Последнее убедительнее, поскольку наглядно. Бытие божье, как говорил Тим, еще надо доказывать, бытие и могущество кибера видно каждому, сомнению не подлежит...

Вальд пришел в себя от тишины. Вылез из машины, разогнул онемевшие ноги. Она стояла, уткнувшись в запертую дверь гаража. Вальд помедлил возле замка, вспоминая шифр. Когда дверь отошла в сторону, машина, хрюкнув компрессором, вползла в гараж. Оттуда донеслось щелканье контактов зарядного агрегата и всхлипывающий звук присосок. Вальд передернулся от глупой мысли: черт ее знает, может, она тоже соображает что-то.

Слегка побаливала голова, он нехотя побрел в свой пустой дом, не зажигая света, прошел в кабинет, уселся за письменный стол, потом дернул шнурок старинного бра. И словно со стороны увидел себя, сжатого потной толпой, втягивающего запрокинутую голову в плечи, и призрачные четырехпалые хваталки у самого лица. Если он, кибернетик-наладчик, никак не может забыть это сборище, то как же действует спектакль пророка на людей, знающих о роботах только то, что они есть. Неудивительно, что толпа и сама начинает походить на толпу киберов... А я? Может, мне только кажется, что я сам по себе, а я под сеткой, и сверху некто наблюдает за исполнением программы: работай, ешь, спи, вставай, включи видео, сделай кибера, продай кибера... Предопределение и безысходность, программа, заданная воспитанием, средой, образом жизни, программа, не имеющая цели, спонтанный хаос...

Вальд тупо смотрел на телефон, который звонил не переставая, потом медленно поднял трубку.

— Проверка,— голос был хрипл и безразличен.— Сообщаю, отключать аппарат запрещено законом о контроле. Сегодня принят.

— Как это? Не может быть,— машинально произнес Вальд.

— Ты никак из мысляков? — голос не изменился.— Смотри, парень. Не вздумай отключить.

Вальд положил трубку, руки его дрожали. Он сам не понял, почему его так затронуло сообщение, скрывать-то ему, собственно, нечего, а вот поди ж ты...

Это был вечер сюрпризов, ибо почти сразу дверной динамик забасил:

— Откройте. К вам с миром агнцы божьи вашего прихода.

Вошли два дюжих агнца. Отодвинув Вальда в сторону, быстро и умело разместили в комнатах микрофоны.

— Ты теперь, парень, у нас как на ладони. Распишись-ка здесь. Пропадет что из приходского имущества — шкуру спустим. Понял, да? — сказал старший агнец. Свитер обтягивал его мощный торс с выпуклым животом, а на свитере фотоспособом были воспроизведены устрашающей величины женские груди.

— Дай ему между глаз,— возясь с проводкой, посоветовал тот, что помоложе. Вальд без мыслей рассматривал лэйб на его обтягивающих брюках: лэйб изображал голый волосатый зад в натуральную величину.

Когда они, топая и сморкаясь на пол, ушли, Вальд не стал закрывать двери. К чему? Он выдвинул ящик стола, машинально достал большой и толстый блокнот с кодами. Блокнот остался от того времени, когда Вальд пытался разобраться в псевдопсихических аномалиях Ферро. У него тогда действительно ничего не получилось — он не обманывал отца Джона,— а теперь что ж, теперь уже поздно. Да и кому это нужно... В динамике послышалось чье-то деликатное дыхание.

— Входите, открыто.

Никто не ответил. Вальд поднял голову. В дверях стоял Вальд.

— Ага, так и должно быть,— сказал Вальд.— Я этого ждал. Я знаю, что вполне созрел,— он хихикнул.— Но у меня еще хватит ума добраться до психиатра.

Он засунул блокнот под бумаги в ящик, бодрой походкой прошел мимо посторонившегося двойника к машине в гараж. Двойник молча уселся рядом, и Вальд вывел машину на дорогу.

— А что, могу я сам с собой поговорить? Или нет? Себе-то я все могу сказать. Доверительно, а? Вообще это даже тривиально, тронуться умом. В моем положении, в наше время.

Двойник улыбнулся.

— Поезжайте прямо, Вальд. Я рад, что мы так похожи. И мне нравится ваша реакция на мое появление, мы не ошиблись в выборе. Меня зовут Нури Метти, а вас я знаю.

— Рад знакомству,— Вальд покосился в зеркальце на собеседника. Похожи до озноба! — Зачем я вам, и куда

мы едем, и кто вы? Я к чистильщикам, к язычникам и к политике вообще отношения не имею. Я наладчик мыслящих автоматов, и все. Вам понятно? И фирма мной довольна. Я фирмой тоже. Мне вообще все нравится. Все! Понятно?

— И отравленный воздух?

— Ничего, дышу.

— И псиной пахнущая вода?

— Пейте кипяченую.

— И молитва перед работой?

— Великому Киберу! Почему бы нет?

— И закон о контроле?

— Привыкнем. А мне и скрывать нечего.

Они долго молчали, глядя на дорогу, перечеркнутую рекламными отблесками.

— Я понимаю, что выгонять вас из машины не имеет смысла. Я вам зачем-то нужен, и вы наверняка не один. Говорите и... я устал.

Нури рассматривал собеседника и думал, что пока все идет как надо. Если дело сорвется, о разговоре Вальд забудет начисто. Лучшего варианта легализации вообще не придумать: и внешность, и специальность. Коттедж отличный, место удобное.

— Нам нужна ваша внешность, ваша работа и ваш дом.

Вальд справился с собой, и только голос выдавал его состояние.

— Я исчезну? Как это будет? Если можно — без боли.

Нури секунду недоуменно смотрел на него.

— А, вот вы о чем. Нет, это все временно. Потом вы сможете вернуться, если захотите. А сейчас мы вас переправим на материк, и будет у вас что-то вроде отпуска. Хорошо оплаченного.

— Значит, вы оттуда...— Вальд перевел дыхание.— И когда это будет? Изъятие?

— Сейчас. Доберемся до побережья. Выйдете в море на моторке, а там вас подберет парусник. Красивый, днем вы увидите его белые крылья... Сверните, пожалуйста, вон у той развилки. Поскольку отныне я буду изображать вас, мне нужны подробности из вашей жизни. Много подробностей и бытовых деталей. И сведения о фирме. Не беспокойтесь, я знаком с работой наладчика мыслящих автоматов.

— Вы и там собираетесь меня заменить?

— Да. Мне нужно легальное положение,— ответил Нури и непонятно добавил: — Пока не поздно. А то скоро пацанам искупаться негде будет.

Нури был единственным в группе, прибывшим в Джанатию нелегально. Воспитатель дошколят в саду при ИРП, а ныне торговый советник Хогард Браун заменил в торгпредстве заболевшего сотрудника. Для Олле была придумана сложнейшая операция юридического характера, в результате которой он явился на остров для вступления в наследство, доставшееся ему от весьма далекого родственника. Изящная жизнь пришлась Олле по душе, и он предпочел остаться в обществе, где деньги еще что-то значили. Он со своим псом жил в лучших гостиницах, крайне неудачно играл в казино и беднел не по дням, а по часам...

Сейчас Олле сидел, развалясь в кресле, штиблеты из тонкой кожи стояли рядом, и он с удовольствием шевелил пальцами. Дорогие хлопчатобумажные носки спускались с икр модными складками. Было прохладно и сумрачно, потрескивал под потолком озонатор, по-лесному чуть шумел фильтр-кондиционер. Вообще в кабинете Нури было уютно. Старинное бра мягко освещало бумаги на письменном столе и раскрытый портсигар, не дорогой и не дешевый, как раз такой, какой мог купить себе преуспевающий наладчик мыслящих автоматов. Если бы он курил. Нури поднял с пола пачку газет, кресло под ним скрипнуло. Он смотрел на Олле покрасневшими глазами.

— Если б ты знал, сколько я читаю. Какой странный у них принцип отбора информации...

— Страшное дело, не могу смириться... А ты неплохо устроился. Дышать можно. Сам прибираешь?

— А ведь они лгут! В газетах, в передачах.

Разговор тянулся бессвязно и отрывисто. Они думали об одном, пытаясь уразуметь случившееся, и, как это бывает, когда вдруг грянет беда, инстинктивно избегали главного, говорили о вещах посторонних... Сообщения о катастрофе были куцыми и невнятными: газ, скопившийся за ночь в подвальных помещениях здания конгрессов, взорвался днем, во время открытия долгожданной и много раз откладываемой сессии регионального Совета экологов... раскопано более ста трупов...

— Готовились помочь, а теперь кому? — Нури сумрачно смотрел в сторону и постукивал пальцами по столеш-

нице.— Мы здесь уже сколько? Третью неделю. А что выяснили? Что можно выяснить вот из этого? — Нури покопался в стопке, вытащил газету.— Вот она. Шикарное название «Т-с-с». Действительно, выпускается с разрешения министра общественного спокойствия. Орган синдиката «Сервис».

— Между прочим, мне там предлагают должность,— сказал Олле.

— Это каким же образом?

— Я вчера просадил в казино пару сотен монет. Потом... как... это, надрался? Да. И не в ту машину сел. Ну, конфликт, в общем. Не успел оглянуться, а сзади-спереди, с боков, знаешь, эти броневички с инфрасиренами. Доставили в участок. Тех, троих, которые хотели меня связать, увезли в больницу. Пока звонили в посольство и выясняли, что я здесь сам по себе, явился, с виду человек как человек, улыбается, говорит, что от меня все отказались, а при моем образе жизни я через месяц свои штиблеты без соли кушать буду. И предложил работу. Не очень обременительную, и даже с Громом расставаться не нужно. Сильные люди, как он сказал, всегда сильным людям нужны. А ты что скажешь?

— Что за работа?

— Рядовым в охране у Джольфа четвертого.

— У какого, черт побери, четвертого? Говори яснее!

— Святые дриады, Нури! Ты что, эту самую «Т-с-с» не читал?

— Ах да, вспомнил: Джольф — глава «Сервиса»...

— «Сервис» — вывеска, витрина. А на самом деле — бандитский синдикат, и все это знают. Так вот, Джольфу нравятся молодые и здоровые лоботрясы, каковым я и являюсь. Куда нам деваться... без связей.

— Так бы сразу и сказал. В лоботрясы — это славненько, раскинем мозгами...— Нури задумался.— А выдержишь в лоботрясах? С другой стороны, там ты для нас легче прохвоста найдешь. Нужен немолодой, компетентный и с меркантильными наклонностями. В качестве высокооплачиваемого консультанта. Чтоб с задатками интеллекта, для ориентировки, надо же нам разобраться, кто есть кто.

— Хорошо бы прохвоста,— мечтательно сказал Олле.— Но трудно. Их здесь полным-полно, но как узнать, что это тот самый, который нам нужен.

— Кто найдет, как не ты, ты ж вращаешься. Хогард обложен со всех сторон, мне высовываться никак нельзя.

Думаю, тебе стоит дать согласие. Охранником — не так уж плохо. Организованная преступность не может не иметь контактов с юстицией.— Нури помолчал, покосился на портсигар.— Время кончается, у них там, в участке, сейчас сплошное чириканье. Ты иди, связь держи...

Олле, небрежно посвистывая, поднялся по винтовой лесенке на крышу коттеджа, угнездился на открытом сиденье малютки орнитоплана. Он лишний раз порадовался, что сумел переправить в Джанатию этот аппарат. Сверху была хорошо видна крошечная лужайка перед домом, и в лунном свете пластиковая зелень ограды ничем не отличалась от натуральной. Неподалеку тянулась серая лента эстакады энергетического шоссе, а за ней — багровые всполохи горящей речки. В низком небе темным золотом мерцали слова: «Перемен к лучшему не бывает». Обочины шоссе шевелились, покрытые телами спящих. Олле достал из боксика полумаску-присоску и прилепил к подбородку.

Он укрепил на бицепсах и запястьях браслеты и тем самым включился в систему биоуправления. Через секунду он ощутил контакт. Потом нажал на педаль, подав первый импульс бионасосу. Заработало сердце странной птицы и погнало глюкозу в синтетические мышцы орнитоплана. Олле шевельнул крыльями и ощутил их приятную упругость.

Отпев утреннюю молитву Великому Киберу, Нури взял жетон и прошел к себе на рабочее место. По пути его окликнул игровой робот: «Сыграйте, господин, вам повезет». Робот собирал утреннюю мзду в пользу синдиката, и Нури подчинился заведенному порядку. Робот проглотил монету и произнес утешительно: «Господину повезет завтра».

Громадный зал был разделен на ячейки-боксы, и когда Нури поднялся на пульт, он увидел десятки прямоугольных ячеек, образованных стенами двухметровой высоты: цех психоналадки. Его коллеги-наладчики занимали свои места. Нури, опустив руку в карман комбинезона, скатал до маленьких дисков напальчники с отпечатками пальцев Вальда и сунул жетон в прорезь на пульте. Загорелся зеленый огонек, мягко шумнул в высоте мостовой кран, застыл над головой и опустил в бокс недвижимого андроида. Магнитный захват пополз вверх. Рабочий день наладчика мыслящих автоматов начался.

Нури с пульта вывел защитную сетку и накрыл ею бокс, теперь кибер был защищен от посторонних излучений. Дисковые антенны излучателей были намертво встроены в стены бокса и закрыты пластиковыми экранами... Робот лежал животом вверх, Нури увидел его номер, крупно написанный светящейся краской, и набрал программу наладки на экран дисплея. Программа давала сведения о частотах и типах излучений, которыми можно было воздействовать на робота при отработке его псевдопсихических реакций. Остальное зависело от опыта и интуиции наладчика.

Профессиональный инженер-наладчик должен обладать выдержкой укротителя, эрудицией психолога и реакцией боксера. Мыслящий универсальный автомат всегда индивидуален, начиная его отладку, никогда нельзя предвидеть, что получится: робот-полицейский, кибер для домашних услуг, сварщик-универсал или грузчик-укладчик. Миллионы самопроизвольных связей, возникающих в блоках микромодулей, не поддаются анализу, поэтому поведение новорожденного кибера всегда неожиданно. Отладка ведется по реакциям на контрольные ситуации, и здесь все зависит от искусства наладчика. Доктор математики, воспитатель дошколят Нури Метти был кибернетиком высочайшего класса и легко, почти машинально выполнял работу, которая давалась Вальду с каждым годом все труднее. Нури, поглядывая сверху на беспокойно снующего в боксе робота, брал на клавиатуре пульта аккорды, одному ему известные сочетания частот влияющих излучений. Повинуясь этой неслышной музыке, кибер сначала замирал, потом возобновлял движение, но жесты и походка его уже теряли угловатость, становились осторожными и расчетливыми. С этого момента Нури начинал обучение.

Фирма никогда не торопила наладчиков, в среднем на воспитание робота высокого класса затрачивалось десять рабочих дней. Асы справлялись с этой работой за неделю и предъявляли дирекции тихого, исполнительного кибера с нормальными реакциями и ровным характером, кибера, навсегда лишенного агрессивности, незаменимого в быту, имеющего в запасе могучий набор анекдотов, превосходного собеседника, неутомимого слугу и терпеливейшего слушателя. Несмотря на высокую цену, эти автоматы не залеживались, имущие приобретали их охотно: иметь в доме кибера — это так престижно.

Нури работал неспешно, он мог бы отладить кибера

за смену, но не хотел привлекать к себе внимания. Он размышлял о деле и о Вальде, который там, на берегу, выложился весь. Нури, чтобы не выйти из образа, ежевечерне прослушивал запись их разговора. Кажется, банк Харисидиса финансировал обучение Вальда, да, именно. Этот крупнейший банк Джанатии старался облагодетельствовать молодых людей, подающих надежды. Вальд подавал надежды и получил ссуду на весьма льготных условиях.

— Банк поддерживает таких, как вы, Вальд, молодых и со склонностью к технике,— говорил банковский агент.— Техники нам нужны.

Вальд не послушал тогда предостережений Нормана Бекета, своего компаньона по квартире. Норман говорил, что банк закабаляет студентов, а потом годами сосет проценты из инженеров. Вообще во многом прав оказался немногословный товарищ его студенческих лет. Норман готовил себя в космолетчики, электроникой интересовался только в пределах курса и был славным парнем. На жизнь он подрабатывал журналистикой и здорово разбирался во всяких скучных вещах, вроде истории профсоюзов. Впрочем, пути их разошлись сразу после колледжа. Вальд стал наладчиком, а Норман уехал на стажировку по обмену, который тогда еще практиковался Джанатией. Вальд читал, что Норман был в составе второй Венерианской экспедиции, потом работал пилотом рейсового транспортника и то ли был уволен, то ли сам ушел и занялся журналистикой. Года три назад Норман звонил ему, рассказывал, что недавно вышел из тюрьмы и снова работает в журнале, но Вальд не поддержал разговора. Почему не поддержал? Наверное, они слишком разные — Норман и Вальд.

Завтра, думал Нури, надо будет узнать, где сейчас Норман Бекет, это можно поручить Олле, это надо было сделать сразу, а то дни идут, связи с оппозицией все нет, а он вживается...

Фирма, как показалось сначала Вальду, платила щедро, но треть всего, что он зарабатывал, уходило на уплату процентов. Вальд трудился как одержимый, ему удалось разработать блок взаимопомощи для шахтных роботов, фирма обогатилась, а Вальд расплатился сразу за два курса обучения. Потом умер дед, единственный родственник Вальда, оставил ему в наследство ящик кассет по истории религии и десять акций. Вальд продал акции и

погасил ссуду за третий курс. Оставалось не так уж много, но что-то заклинило в мозгу, новых идей не появлялось. Последние годы он нервничал, злился и лишь с трудом брал себя в руки, расслабиться на работе — это конец. Сильно выручил Тим, проведя операцию с Ферро: был оплачен четвертый курс. И все! Дальнейших перспектив не было... Подходит срок платежей, подумал Нури, трогать кредитную карточку, оставленную Вальдом, не хотелось. Ничего, возьмут наличными...

Цеховой мастер, казалось, без дела прогуливался по своему узкому помосту, поднятому над боксами, он давно уже поглядывал в сторону Нури.

— Вам сегодня повезло, Вальд? Я говорю, тихий кибер достался!

— Случайность, мастер.

— Счастливая случайность! — мастер нажимом клавиши обездвижил кибера и вызвал кран.— Сегодня и завтра можете быть свободны.

— Спасибо, мастер. Ценю доброту.

— Ладно, ладно. Давайте вашу карту, я отмечу.

...С Хогардом Нури связался через спутник на ходу из машины, унаследованной от Вальда. Совместить мощную рацию с ее бортовым компьютером для Нури труда не составило. Это было удобно во всех отношениях, спутниковая связь не пеленговалась и была защищена от преднамеренных помех. Нури пытался одновременно вызвать Олле, но тот не отвечал, то ли не позволяла обстановка, то ли не обратил внимания на тихие сигналы слабенькой рации, вмонтированной в браслет Амитабха. Хогард ответил, что фамилия Бекета ему знакома и, может быть, не мудрить, а просто сделать запрос по информу. Он запросил и тут же продиктовал Нури ответ:

> Норман Бекет, технический колледж, участник второй Венерианской, пилот транспортника регулярной линии Земля — Луна, отличия — пояс космонавта. Сейчас сменный редактор журнала «Феникс», депутат парламента от партии «гражданское движение за обновление Земли» (чистильщики, грозы). Адрес... Шифр видео... Подробное досье — в ведомстве охраны прав граждан.

— «Феникс» — единственный в Джанатии оппозиционный журнал,— пояснил Хогард.— Надо полагать, с редактора глаз не спускают, язычник. Но повидаться с одно-

кашником — вполне безобидное дело, вряд ли это привлечет внимание.

— Я увижусь с ним. Посмотрим, что получится. Все. Подъезжаю к дому. Связь окончена.

— Минутку, прими фотографию.

Нури подождал, пока из щели воспроизводящего аппарата выползла цветная стереофотография Нормана Бекета, и отключил связь.

Возле коттеджа, на псевдогазоне, стояла чья-то машина, и это Нури как-то сразу не понравилось: визит в неурочное время, когда хозяин заведомо на работе, мог означать одно — усиленную слежку. Где-то он приоткрылся, привлек внимание вездесущего министерства всеобщего успокоения.

— Мир вам,— сказал Нури, входя.

Два агнца рылись в ящиках стола и весьма удивились, увидев Нури.

— Мы тут аппаратуру проверяем,— пояснил верзила с громадным животом и в обтягивающем свитере.— Чирикает.

— В мое отсутствие? В столе? И замок взломан.

— Ты, парень, не дергайся, посиди пока в сторонке, мы сейчас тобой займемся. Паунты, какие есть, положи на стол.

Нури вздохнул с облегчением: мелкий грабеж, черт с ними, пусть берут наличные и уходят.

Агнцы сосчитали банкноты, разложили на две небольшие пачки. Они не спешили, им хотелось развлечься. Верзила расположился в кресле за письменным столом, телесного цвета женские груди на его свитере производили впечатление какого-то идиотского абсурда. Младший сидел на углу стола, покачивая ногой.

— Хорошо живешь. Старинные вещи, книги. Неужто все прочитал, а? — Старший агнец сдвинул со стола пачку книг, она рассыпалась.— Подбери, мысляк. Видишь, непорядок.

— Вы взяли деньги. Прошу, уйдите.

Младший длинно сплюнул на ковер.

— Гляди-ка, разрешил.

«Люди,— подумал Нури,— это ведь тоже люди». Он наклонился за книгой и получил очень точный и крайне болезненный удар ногой в печень. Он с трудом разогнулся, преодолевая шоковое оцепенение. Агнцы наблюдали за ним со спокойным любопытством. Нури скрипнул зуба-

ми, прогоняя боль. Люди... Агнец, не трогаясь с места, прицелился ногой в пах, не достал и скривился. «А лица у них вполне нормальные...»

— Ты, мысляк, подойди ближе,— сказал младший.— Я дам тебе урок, чтоб ты не вздумал с аппаратурой баловаться. Подойди, говорю.

Нури был потрясен. Нет, готовясь к операции, он и его товарищи не обольщались насчет Джанатии, но одно дело смутные предположения о том, что не все люди братья, а другое — такая вот практика, когда человека бьют ради развлечения... Нури не сдвинулся с места.

Младший агнец лениво оторвался от стола и вдруг с устрашающим воплем «Йы-х!» в прыжке выбросил ногу вперед, чтобы попасть в подбородок. Нури не был бойцом, он даже не предполагал, что ему придется, что он сможет поднять руку на человека. Но долгие уроки нинзя выработали в нем автоматическую реакцию на каратэ: неуловимым для взгляда движением он перехватил ногу агнца у лодыжки и носка, когда тот был еще в прыжке, и, откидываясь назад, резко вывернул книзу. С каким-то шлепающим звуком агнец упал на пол лицом вниз и остался недвижим.

Старший агнец был очень тяжел, пол вздрогнул, когда Нури вышиб из-под него кресло. «Смерти я им не желаю»,— подумал он. Он бил вполсилы, но удар кулаком в темя выключил гиганта, и тот закрыл глаза, так и застыв с удивленным выражением лица.

Сколько времени прошло, секунда, две? Что я стану говорить своим пацанам? Что реализовал свое право на защиту? Нури стоял над поверженными агнцами, ощущая, как уходит гнев, остается в душе пустота и еще испуг от своего страшного умения.

...Олле прибыл, как всегда, к вечеру. Он ходил вокруг, разглядывая агнцев. Они сидели на стульях, составленных спинками, касались друг друга затылками и были склеены между собой тонкой лентой. Они не двигались и только временами хрипло просили:

— Убери собаку, хозяин.

— Не уберу,— грубо отвечал Нури из-за стола. Он вертел в руках, листал, изучал листы толстого блокнота, который нашелся в куче бумаг, вываленных агнцами из ящиков стола.

— Смотреть на них одно удовольствие,— сказал наконец Олле, занимая привычную позицию в кресле.— Но

что ты намерен делать с этими грубиянами? На что употребить?

Нури оторвался от блокнота, невидяще взглянул на Олле. Потом взгляд его стал осмысленным.

— Отпущу, конечно. Они теперь будут тихие, кроткие, воистину аки агнцы божьи. Да и пес у меня,— он кивнул на чемодан, поставленный посередине комнаты,— свирепый пес, они такого не видали, если вообще видели в своей хулиганской жизни хоть одну собаку.

Нури расклеил агнцев, ногой задвинул в угол чемодан. Агнцы тихо вышли, положив на стол деньги.

— Любите книгу, источник знаний, мерзавцы! — сказал им вслед Нури.

— Ты уверен, что полностью стер происшедшее?

— Э, тряпки. Никакого сопротивления внушению. У любого из моих дошколят воли больше, чем у десятка таких... Ты почему на вызов не отвечал?

— На вызов, бывает, я сразу отвечать не могу, все время в толпе, на виду,— почти полный альбинос Олле был весь в белом, этакий улыбчивый беловолосый гигант с невероятно выразительными глазами, сплошь из жил и мышц состоящий.

— Красив до невозможности,— Нури вздохнул.

— Положение обязывает. В охране у него все в белом, Джольф может это себе позволить. На меня что-то вроде моды. Я, значит, в белом, Гром, значит, черный: контраст, а?

— Давай к делу,— сказал Нури.— Мы пока в замкнутом кругу, но кое-что проясняется. Я сказал — в кругу. Это не совсем верно, правильнее, мы в исходной точке, ведь это Вальд сделал кибера, и он же продал его пророку, это мы уже обсуждали, но оставили без внимания. И есть еще депутат Норман Бекет, слышал о таком? Однокашник Вальда, то есть мой однокашник. Ну, а быть возле Джольфа всегда полезно, мало ли как повернутся обстоятельства... И... ты сегодня позвони из города Норману.

Тут Нури задумался. Отрывочной информации, полученной от Вальда, явно не хватало. Что сказать Норману, чтобы явился сюда? Так ничего не придумав, он махнул рукой:

— Плохой из меня координатор... А, дай ему адрес и скажи, что Вальд хочет видеть его. Раскроюсь? Ну и черт с ним, не могу я все время прятаться. Может, Норман как раз и связан с оппозицией. Раскроюсь.

— Ты чего это? — Олле разозлился.— На тебе все держится! И как вообще ты себе это представлял? Нашу работу здесь?

— Никак не представлял. Я воспитатель, я кибернетик, механик-фаунист. В резиденты не гожусь.— Нури вздохнул: — Ну, а кто резидентом родился, нет таких.

Олле долго молчал.

— Ладно. С Норманом Бекетом я сам свяжусь.

— Каким образом?

— Самым естественным. Прямо от тебя сейчас поеду к нему, адрес есть.

— Не поверишь,— Нури засмеялся с горечью.— Такое мне просто в голову не пришло, все какие-то обходные пути ищу.

Нури проводил Олле до его двухместной машины с могучим дизелем, магнитоприемником и сверхмощным фильтром. В сумерках неподалеку маячили ночлежники бездомные в своих респираторах. Они устраивались на обочинах энергетического шоссе и совсем не замечали ни Нури с Олле, ни роскошной машины.

— Люди,— сказал Нури.

Дом Вальда был расположен за городом, примерно в получасе езды, в ряду других отдельно стоящих коттеджей. Бродяги всегда старательно обходили дома, они если и попрошайничали, то редко и деликатно, вообще беспокойства не причиняли. Странные люди, они возникали в сумерках и исчезали утром, оставляя на обочинах уложенные лентами пустые пластиковые пакеты от завтраков и респираторы с дешевыми угольными фильтрами. Автоподборщики утром же забирали этот мусор. Завтраки и респираторы разбрасывали с вертолетов лихие молодцы в униформе. При этом с неба громоподобно звучало:

— Господин Харисидис угощает! Папаша Харисидис угощает! Кушайте и не теряйте надежды, пророк молится за вас!

Нури просыпался под эти вопли, и к моменту, когда он выезжал из дома, на автостраде уже было пусто, видимо, бродяги превращались в обычных прохожих. Во всяком случае, Нури так и не научился различать их в толпе.

— Господин обеспечен? — во мраке оформился человек, на груди его светился кленовый лист.

— Слушаю вас.

— Умер бог реки. Пожертвуйте на похороны.

— Конечно,— сказал Нури, протягивая банкноту.

Человек надвинул маску, исчез. От реки, вспыхивающей болотными огнями, донеслось завывание:

Гладь реки горит,
в мире смрад и дым.
Бог реки убит,
Горе нам, слепым!

...Нури вошел в кабинет. В кресле, которое только что покинул Олле, сидел, приятно осклабясь, порченный жизнью старик. Гладко выбритый, в модном полосатом костюме, с лицом, покрытым множеством мешочков. Его маска с плоским баллончиком лежала на подлокотнике.

— Что-то вы поздно домой возвращаетесь, Вальд. И замок сломан. Поставьте новый.

Нури вздохнул, воистину день визитов. Опять непрошеный гость. Он прокрутил в памяти историю Вальда. Тот вроде упоминал какого-то старика.

— Что вы думаете об этом, Вальд?

— Э, о чем об этом? — Нури пригляделся. Старик, похоже, безобидный. Пришел и сидит смирно.

— Ну, об этом: я вижу землю, свободную от человека, вместилища греха и порока? Вы, конечно, с вечерней проповеди? Что еще выкинул ваш кроткий кибер Ферро?

Так, вроде что-то проясняется, не тот ли это старик, который помог Вальду сбыть самодельного кибера пророку?

— Ничего я об этом не думаю. И не впутывайте меня. Плевал я на пророка, на божьих баранов...

— Агнцев, Вальд.

— ...на божьих баранов и на вашего кибера.

— Вашего, Вальд.

— К черту! Что вам нужно от меня?

— Ничего,— грустно сказал старик.— Был сейчас мимоходом в местном приходе, два агнца вернулись от вас перекошенные и ничего не говорят, только бормочут про какую-то собаку. Какая в Джанатии может быть собака? Не хочу вам неприятностей, зашел узнать, появился предлог навестить вас. А если по правде, Вальд, просто я тоскую. Знаете, ощущение, будто мне кто-то должен и не отдает, а истребовать я не могу. У меня непривычное состояние, Вальд. Похоже, я испытываю угрызения совести. Я, Тимоти Слэнг, угрызения! Смешно, но это так. Когда я шантажировал блудных мужей, когда я постав-

лял нераскаявшихся алкоголиков сумасшедшим старухам из общества дев-воительниц, меня не мучила совесть. Когда я прижал к ногтю дантиста Зебрера, который вместо золота использовал на зубы некий желтый декоративный металл, и получил от него сотню паунтов в обмен на молчание, мне было легко и спокойно. Я кормился за счет собственной совести, а укажите мне того, кто ни разу не пошел на выгодную сделку с ней. Любая административная или политическая карьера — это толстая цепь сделок с совестью, стыдливо именуемых компромиссами. Поймите меня правильно, я шантажировал личность. В конечном счете каждый нарушитель морали допускает возможность шантажа как формы расплаты за грех — улавливаете мысль? Локальный шантаж для меня внутренне приемлем. Но сейчас мне не по себе, меня возмущают масштабы аферы. И хотя это делается вполне квалифицированно, мне противно, во мне восстает совесть профессионала, знающего меру и пределы допустимого в деликатном деле морального вымогательства.

Слэнг поднялся, опираясь на подлокотники, он горбился, новый пиджак нелепо топорщился на выступающих лопатках.

— А вы изменились, Вальд. Или мне только так кажется? Вы стали выписывать газеты? — Он не ждал ответов и задавал все новые вопросы.— Ваши микрофоны и видео всегда на контроле, и оператор жалуется, что часто что-то чирикает. Зачем вам это нужно, эти помехи здоровому любопытству надзорных органов? Или у вас есть что скрывать, появилось? Нет, портсигар вы не закрывайте, сейчас как раз пусть чирикает. Не удивляйтесь, я в этих делах эксперт, как там что устроено, не знаю, а в части применения — дока. Насчет собаки: вы раздобыли гипнотическую машинку? Не отвечайте, зачем мне знать. Ах, Вальд, я вижу, что посеял вселенское зло, уговорив вас продать кибера этому попу.

— Бросьте, Слэнг. Предвидеть этого вы не могли, как не можете помешать тому, что происходит.

— Труслив я, Вальд,— старик замолчал, словно споткнулся. Он долго сморкался в дорогой льняной платок.— Мне нечего вспомнить, я ничего не сделал, о чем следовало бы помнить. И уже ничего не смогу сделать.

— Как знать,— сказал Нури.— Сколь искренне ваше желание загладить содеянное?

Тимоти Слэнг долго смотрел в переносицу Нури, же-

вал губами, мешочки на его лице беспорядочно двигались. Он слабо усмехнулся:

— Что мы можем? Там такие силы, что вы и представить не в состоянии. Не нам с вами, Вальд, лезть в такие дела. Уж кому знать, как не мне.

— Это ново,— сказал наугад Нури.— У вас что, связи с премьер-министром?

— Хуже. Я уже год работаю консультантом по рэкету в синдикате. Инструктирую приемышей, даю советы сборщикам. Ничего интересного. Но я бываю в курсе кое-каких дел, поскольку синдикат в особо важных случаях, ну, консультирует, в общем, правительство. И такой важный государственный акт, как закон о контроле над частными разговорами, не мог быть подготовлен без нашего участия. Понятно, обошлись без меня, младшего консультанта.

— Н-да, я вижу, вы многому научились в синдикате.

— Видит бог, если бы я не растратил так глупо деньги, полученные за Ферро, ноги моей там не было бы. Когда я пребывал в амплуа стража морали, как-то легче было, попадались иногда стоящие люди, а теперь — нет. Но оставим это. Одной ногой я уже на той стороне, пора сливать воду, пора о душе подумать.

— И я о том же. С чистильщиками мне не по пути, узнают в фирме — вылечу в тот же день. Но и выносить в бездействии все это не могу... Есть такой, как его, Норман Бекет, слышали?

— Минутку. Если мне не изменяет память, он числится в нашей картотеке. Это не из «Феникса» ли?

— Возможно.

— Зеленый. А может, и красный из «Феникса». Помню, как же. Что-то мы там то ли подожгли, то ли взорвали: мелкие услуги правительству мы всегда охотно оказываем. Норман Бекет... вам это нужно?

Тим подошел вплотную, долго смотрел в глаза Нури. Отошел, угнездился в кресле и грустно констатировал:

— Вы не Вальд.

— Так-то вот.— Нури обреченно задумался.— Ты входишь в образ, можно сказать, акклиматизируешься, а потом приходит некто Слэнг и говорит: «Ты не Вальд». Вот именно, я не Вальд, я с материка, и я враг того, что здесь происходит. Если вас интересует, Вальд жив и здоров. Я взял его имя и облик на время...

Слэнг молчал, глядел в сторону, мешочки на лице застыли. Нури усмехнулся.

— Зря вы так, со мной возможность шантажа исключается. Да и зачем.— Он положил на подлокотник кресла толстую пачку банкнот.— Здесь гораздо больше, чем вы сможете заработать в «Сервисе» до конца дней своих. А нам нужна информация о синдикате и прочем. Вся. Естественно, та, которая доступна вам. О душе думайте, Слэнг.

Тим взвесил пачку на руке, отделил меньшую часть, сунул во внутренний карман, остальное положил на стол.

— Сегодня они воют как-то по-особому. Хоть бы дождь пошел, разогнал... хотя, с другой стороны, река опять горит. Знаете, Вальд, я уж так и буду звать вас, знаете, Вальд, я заметил, что с годами мой моральный уровень становится все выше, а соблазнов для меня, э-э, все меньше. Наступил этакий внутренний покой, проще — гормоны меня больше не беспокоят, и в этом есть своя прелесть. Мне бы список вопросов, когда есть список, работать легче... Я с вами свяжусь. Говорят, вчера на помойке собаку видели... Пойду на берег, повою...

Зеленый квадрат сто на сто метров был огорожен тонкими неошкуренными сосновыми стволами, закрепленными на низких столбах, по диагонали на высоте поднятой руки протянут стальной трос. Олле погладил шершавую кору, вдохнул запах живицы: местами на дереве выступала смола, уже побелевшая на солнце. А к квадрату примыкало помещение с хищниками и открытый загон с табунком разноцветных пони.

Олле долго любовался почти игрушечными лошадками, ощущая на сердце беспокойную радость от встречи с ними. Он подумал о своем золотом коне, оставшемся дома в ИРП, и услышал, как шумно вздохнул Гром. Пес тоже тосковал по дому, простору и лесу, по детскому запаху и не понимал старшего, который привез его в смрад здешних городов. Пес не знал покоя, постоянно чувствуя ту струну, что была натянута в душе Олле, и ощущая опасность, грозящую Олле со всех сторон от странных, всегда почему-то злых людей. Вот этот, идущий рядом с Олле, тоже зол и настороржен. Охранники всегда ходили парой, следить друг за другом входило в их обязанности.

— Я пристрелю твоего пса, если он будет показывать мне клыки. И тебя тоже...

Он недоговорил, даже пес не уловил движения Ол-

ле — охранник словно споткнулся и скорчился на оранжевом песке дорожки.

— Дурак, смерти ищешь! — звучно сказал Олле и забросил в кусты кобуру с пистолетом, выдранную из-под мышки охранника вместе с куском пиджака. Гром ощерился, его клыки коснулись лица охранника, и тот зашелся странным звуком: н-га, н-га...

— Фу, Гром. Если ты, недоумок, еще попытаешься мне угрожать...

— Что вы, шеф. Разве я сам, я бы не осмелился...

На черной шерсти Грома мелькнул красноватый отблеск. Олле отвернулся, конечно, еще одна проверка, что они все проверяют? Вон и Гром, добрейший пес, научился на людей зубы скалить, кто бы поверил. Олле подозвал собаку и продолжил обход. У каждого работника внутренней охраны свой маршрут, своя зона ответственности. Они прошли под резным деревянным навесом вдоль ближней к дворцу стороны ограды. Под ним в один ряд стояли высокие кресла, накрытые шуршащими холщовыми чехлами. Неподалеку на лужайке сияли белизной скатертей столики и столы. Дерево живое, необработанное, супер-роскошь, недоступная воображению жителей Джанатии.

Звенели хрусталем и золотом приборов слуги в черном, на дорожках уже были разбросаны влажные бутоны роз без стеблей. Фонтаны, не струи, а бесшумные туманные шары в синих искрах разрядов, висели над цветочными клумбами, исходя прохладой и свежестью. Какая странная судьба изобретения Нури, ведь это он придумал шаровой сгусток капель, взвешенных в электростатическом поле, а здесь они украшают жилища богачей... Рядом с фонтанами высились массивные конусы из прорезного серебра, прикрывающие терминалы кислородного завода, который обслуживал резиденцию Джольфа-4. Над конусами роились громадные черные и изумрудные бабочки, эти живые цветы, и Олле подумалось, что даже в лесном массиве ИРП он не видел такого количества бабочек в одном месте.

От дворца в парк широкими ступенями розового в темных разводах родонита спускалась лестница парадного входа. От лестницы двумя полосами живых самшитовых изгородей начинался этот парк, уходящий вдаль террасами, и бассейнами, и холмами, с озерами и речкой, медленно текущей и образующей маленькие водопады и зер-

кальные заводи. Ивы и ракиты, растущие по берегам, купали ветки в прозрачной воде. Эта гармония для Олле, сотрудника ИРП, была привычной: повсюду на планете возрождались вырубленные предками леса, очищались воды и заселялись омертвевшие от химикатов реки, а ИРП все больше зверья выпускал на волю, ибо что за лес без зверя или река без рыбы. Программа «Возрождение» уже давала результаты. Везде. Кроме Джанатии. И здесь, в этой благодати, невозможно было представить, что рядом, в считанных километрах, люди живут в отравленной атмосфере, и реки горят, и энергетические магистрали усеяны телами бездомных...

Они прошли по бесконечной анфиладе комнат, приготовленных к приему гостей. Олле привычно дивился какой-то нежилой, нечеловеческой роскоши обстановки и убранства. Казалось, этот и предыдущие Джольфы умудрились ограбить лучшие музеи Земли и стащить награбленное к себе в гнездо. Олле знал, что и должность, и дворец Джольф-4 унаследовал от третьего, и что объединенное человечество научилось защищать себя от Джольфов, и потому злодействовать они могли только в пределах Джанатии, а много ли с нее возьмешь. Видимо, много, если умеючи брать.

По служебному ходу они прошли в диспетчерскую. По пути Гром обрычал литую из чугуна мерзопакостную скульптуру «Спазм». У входа в покои Джольфа было целых два «Спазма», хотя в парадной части дворца они отсутствовали.

В диспетчерской, перед целым иконостасом экранов всех видов наблюдения и защиты, сидели двое, дежурный анатом от Джольфа и офицер охраны премьер-министра. Олле уже встречал этого здоровяка и запомнил. Они с демонстративным любопытством оглядели Олле и собаку, переглянулись.

— За что ты его там? — спросил офицер.

Олле пожал плечами.

— Угрожал.

На центральном экране были видны подъезжающие лимузины гостей, невозможно импозантный дворецкий, застывшие в картинных позах функционеры синдиката и суетящиеся слуги. Дважды на экране появлялся сам Джольф-4, он лично встречал пророка и премьер-министра по ту сторону ворот. Резиденцию Джольфа отделяла от мира сего высокая гранитная стена, а ворота были вре-

заны в массивную приземистую башню. Когда-то вся эта фортификация могла играть защитную роль, а теперь выполняла чисто декоративные функции, в защите Джольф-4 полностью полагался на автоматику.

— Значит, если я тебе стану угрожать?..

Офицер был могуч, под два метра, неестественно развитые, широчайшие мышцы спины, гипертрофированные бицепсы... и выучка чувствуется, это тебе не рыхлый, перекормленный агнец. И взгляд наблюдающий, человеческий взгляд, хотелось улыбнуться навстречу ему. Олле сделал усилие:

— Не советую. Я-тебе-не-советую!

После паузы офицер принужденно рассмеялся:

— По-моему, вам пора идти, Олле.

— Да, благодарю вас. Пойдем, Гром.

Святые дриады, неужели только злая сила вызывает у них уважение, думал Олле. Миллионы книг написаны о добре и любви, благородстве и сострадании, но разве они читают книги, зачем им книги. Странная жизнь в странных заботах ни о чем существенном, жизнь без просвета. Или мне это только так кажется, а каждый видит цель: приобщиться к власти, к богатству, иметь возможность унижать окружающих. Иметь тот самый миллион, о котором так часто говорит банкир Харисидис, и тогда можно владеть тем, что недоступно другим, что вызывает зависть. А что? В этом что-то есть: зависть окружающих — признание успеха... Мне, конечно, легче, я привык с животными. Но сохранять маску воинствующего лоботряса, сохранять независимость ежедневными драками, как сохраняет лидерство вожак в обезьяньем питомнике, противно. Видели бы меня сейчас мои друзья, кто бы из них поверил? Что, собственно, сделал этот дурак охранник, что я так остро реагировал? Ну, велели ему спровоцировать драку, может быть, чистейший-в-помыслах, тьфу, Джольф-4 хотел угостить пикантным зрелищем гостей?

Олле взглянул на часы, по расписанию уже пора было в зал приемов, Джольф-4 любил появляться в сопровождении охранников, рослых и красивых.

Олле занял свое место в свите. Джольф-4, а лет ему было около шестидесяти, среднего роста, спортивный, улыбчивый и обаятельный, с бокалом в руке обходил гостей, для каждого находя слово. Здесь все были свои, все знакомы и никто не обращал внимания, когда премьер-министр, пророк Джон, генерал Баргис и сам Джольф-4

скрылись за малоприметной дубовой дверью служебного помещения. По обе стороны ее картинно вытянулись Олле и знакомый уже ему офицер охраны премьера. Браслет на левой опущенной руке Олле прижал к стене.

В зале лакеи разносили напитки, лавируя между избранных, те группировались по трое-четверо, мужчины не моложе сорока и женщины не старше тридцати. Приглушенный шум разговоров, журчащие голоса женщин. Лица мужчин, схожие общим выражением интимно информированных чиновников,— Олле уже начал привыкать к ним.

Избранные, думал Олле, из чего избранные? Для каких дел избранные? Ему было скучно наблюдать за ними, прислушиваться к разговорам, надеясь поймать ниточку, за которую можно было бы зацепиться и выйти... на что? Информация, которой он снабжает Нури, мало отличается от того, что дает Слэнг. О том, что синдикат сотрудничает с верхушкой полиции и кое с кем из правительства, известно каждому. Может быть, сегодня повезет: впервые Олле воочию видел всех этих деятелей в одном гнезде. Альянс уже не скрывают!

Олле рассматривал зал, овальный, с овальным потолком, выложенным золотыми плитками с бирюзой и шпинелью. Это сочетание прозрачно-красных камней с голубой россыпью по золоту поражало воображение. На стенах розового мрамора были развешаны портреты предшественников Джольфа-4, из которых только последний умер своей смертью. Пол был выложен мозаикой из драгоценных пород дерева, повсюду расставлены многочисленные кресла и диваны.

Джольф-4 вышел об руку с пророком, обаятельно улыбаясь. Олле двигался следом в двух шагах, мысленно поторапливая его: беседа закончена, Нури всегда на связи, пора начать трансляцию совещания, но сделать это можно только под открытым небом,— передатчик, вмонтированный в браслет, имел слишком малую мощность, чтобы вести трансляцию из экранированного золотом дворца. Джольф-4 иногда останавливался, клал руки на плечи кого-нибудь из молодых гостей и проникновенно смотрел в глаза.

— Я тот самый винтик,— задыхался от преданности осчастливленный вниманием,— в ком вы, шеф, чистейший-в-помыслах, можете быть уверенными.

Джольф-4 кивал («верю») и, скорбя от необходимости исполнять роль хозяина, переходил к другому гостю.

«Тот самый винтик» смотрел ему вслед просветленно.

Гости то рокочущими, то щебечущими группками двигались по бесконечной анфиладе комнат. Джольф-4, сдерживая усмешку, слушал восторженные возгласы гостей, застывающих возле открытых витрин, где на черном бархате были выложены камеи и камни. Олле был равнодушен к красоте камней, но и его иногда поражало непостижимое искусство ювелиров и скульпторов.

Он, Олле, разбирается в животных, камни — хобби воспитателя Хогарда, он же знаменитый спелеолог, он же торговый советник. Олле вздрогнул. Хогард в свите премьер-министра пребывал неподалеку, улыбчивый, вежливый и равнодушный. Гром огляделся, вильнул хвостом. Олле положил руку ему на голову — не надо, здесь Хогард — чужой. Чистокровный дог, мутант в первом поколении, огромный, покрытый блестящим непроницаемым черным мехом, Гром снова послушно двигался рядом, мелко переступая на толстых, как у тигра, лапах и сдерживая жажду движения. Взгляды гостей останавливались на этом звере, казалось, едва укрощенном. И Олле, и его пес смотрелись словно не от мира сего...

Спускаясь по родонитовой лестнице, Олле коснулся большим пальцем основания мизинца и тем самым включил передатчик. Тридцать минут — и запись тайных переговоров будет в распоряжении Нури. Только вот что он с этим материалом делать будет...

Места за столами были расписаны. Пророк Джон прочел краткую молитву, благословил на трапезу и закончил цитатой из Экклезиаста: «И похвалил я веселие, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его». Гостей, похоже, бог аппетитом не обидел. Хотя, с другой стороны, у Джольфа-4 еда и напитки без примеси синтетики.

Ложа, скорее, возвышение, крытое пестрыми шкурами. В креслах за круглым столом с напитками — Джольф-4, генерал Баргис, премьер-министр и пророк. Гости, в основном мужчины, пониже на траве двумя дугами за столиками, сколько их здесь, сотни две будет? И охраны не менее тридцати лбов. Ничего себе компания. Олле отмечал все это, думая об одном: еще пятнадцать минут, и трансляция будет закончена... Хогард тоже под навесом для почетных гостей и вертит двустволку, хрупкую в его громадных ладонях, рассматривает поблескивающее бril-

миантами цевье и, похоже, прячет растерянность. Ну да, слуги вручали ружья каждому гостю.

Джольф взял в руки старинный, инкрустированный золотом мегафон: ружья — его подарок мужчинам... Конечно, охоты больше нет, такие времена. Но для дорогих гостей и соратников он, Джольф, обеспечивает возможность показать свое искусство в стрельбе по живой цели, экзотическое развлечение, не правда ли? Патроны розданы...

Где, в каком зоопарке был похищен пятнистый хищник или у Джольфа есть собственный зоопарк, не учтенный в регистре Совета экологов? Цепь скользила по тросу, и зверь мог двигаться вдоль троса и метров по пять в стороны. Леопард сначала прижался к сетчатой ограде загона, шипя и скалясь. Электрический удар отбросил его от ограды. Кто-то засмеялся в тишине:

— Шеф, я уложу его!

Хлестнул выстрел. Зверь метнулся в сторону и упал, опрокинутый цепью, вскочил и молча кинулся к стрелявшему. Почти в упор грянули выстрелы и остановили зверя. Шипя и кашляя кровью, он еще несколько минут, расстреливаемый с двух сторон, метался на своей привязи, пока не упал бездыханный. Страшно рыкнул Гром и тонко заскулил, почуяв на голове руку Олле.

— Пластиковые пули,— пояснил Джольф и повернулся к пророку.— Иначе никакого удовольствия. Но вы, отец мой, не стали стрелять.

— Не убий! Шестая заповедь.

— Не первая? — Джольф-4 улыбнулся стылой улыбкой.— Мне тоже, знаете, вид крови неприятен.

Премьер-министр облизнул губы.

— Ерунда! — генерал переломил ружье, вложил патроны.— Охота — занятие для настоящих мужчин. Не для постников и трезвенников, не про вас будет сказано, святой отец.

«Что ты знаешь об охоте, жирный скот»,— мельком подумал Олле, взгляд его был неподвижен, на лице застыло выражение отвращения, он не умел, да и не желал, скрывать свое отношение к происходящему. Люди! Не лучшие представители рода человеческого собрались здесь, у Джольфа, но разве можно было представить столь густую концентрацию подонков. Они находят удовольствие в убийстве — этого Олле не мог ни понять, ни принять. То, что происходит,— распад личности, нравственный

стриптиз , и, поразительно, они не испытывают неловкости один перед другим... Они ведут себя как ненормальные. Олле, охотник Олле, никогда не пользовался оружием, хотя отловил для ИРП десятки хищников из тех, что уцелели в горах и пустынях и неминуемо должны были погибнуть, если их не переселить в какой-нибудь из лесных массивов ИРП. И метод Олле был прост: выследил, догнал, связал. Сеть — на крайний случай. Стрелять в беззащитного — это повергло Олле в смятение, казалось противоестественным.

За оградой труп леопарда утащили в загон, пони, напуганные выстрелами и запахом крови, сбились стайкой в углу. Джольф взял мегафон.

— Друзья, чем мне порадовать вас? Этот вопрос я задал себе, готовя дорогой для меня праздник, эти именины сердца. Уверен, хе, что угожу всем. Сейчас каждый может убить пони. Заряжайте свои ружья, развлекайтесь...

Под резкое щелканье бичей пони выбежали в загон, озираясь и не понимая, чего хотят от них эти люди с их страшными бичами.

— Стреляйте, стреляйте! Каждый может убить пони! — в голосе Джольфа слышались высокие нотки.— Стреляйте!

Гремели выстрелы, и страшно, тонко кричали лошади. Пони метались в загоне, шарахаясь от ударов пуль, падая и снова поднимаясь. Генерал из ложи палил беспрестанно, и Джольф-4 дергался при каждом его выстреле. Премьер спрятал лицо в ладонях, повернувшись к нему, что-то неслышно говорил Хогард, и Олле увидел, как медленно скручивались стволы ружья в его руках.

— Почему ты не стреляешь? — Олле впервые увидел, что глаза у Джольфа белые и пустые.— Стреляй, как все!

Тут Олле усмехнулся, и Джольф замолчал на полуслове...

Много дней спустя Хогард рассказывал, как все произошло, как рез пса и странный, никогда не слышанный крик Олле заглушили выстрелы. Взлетел, сбивая Джольфа своим телом, ошеломленный охранник, и еще он катился по полу, а два смерча, белый и черный, поразили половину дуги, и здесь, на этом фланге, перестали стрелять. Слуга с подносом продолжал двигаться по дорожке к гостям, когда Олле остановился на мгновение и огляделся, бешено скалясь.

— Я покажу вам охоту, паскудники!

Олле действовал в невозможном темпе, но и выучка генерала сказалась. Еще дымились изломанные ружья на траве, и только начинали шевелиться поверженные стрелки, слышно было, как в зубах пса хрустнула рука охранника, выдернувшего пистолет, и он раскрыл рот для крика, когда генерал Баргис выстрелил почти не целясь. Олле машинально тронул плечо и сморщился, удар пластиковой пули был резок и болезнен. Генерал не успел перезарядить ружье, в два немыслимых прыжка его достиг Гром и опрокинул и, расстреливаемый охраной в упор, не успел дотянуться до его горла. Охрана уже пришла в себя, и десяток стволов глянули в лицо Олле.

— Этого живым! — взвизгнул Джольф.— Живым!

Олле пробивался к трибуне, где смолкло рычание пса и шевелилась между кресел расползающаяся масса. На него навалились подручные и анатомы и отхлынули, и четверо остались лежать, хватая ртами воздух. Волоча на себе кучу тел, он добрел до собаки, стряхнул охранников и опустился на пол рядом с Громом.

«Вот это — убить пони — застало врасплох и Олле, и меня,— рассказывал потом Хогард.— А когда лошади закричали, когда начался расстрел, весь этот ужас стрельбы по живому... Олле уже был пропитан ненавистью к этим человекообразным, и реакцию его я считаю нормальной... да. Олле шарил руками по телу собаки, как слепой, я не видел его лица. И тут зачмокало, знаете, такие маленькие гранатки, Олле накрыло желтое облако, и он свалился, прикрывая собой Грома. Потом его уволокли куда-то, и тут я увидел, что учинил наш застенчивый Олле за какую-то минуту. На том фланге, где действовали они с Громом, никто из гостей не ушел самостоятельно, функционеры из охраны, до кого дотянулся Олле, надолго потеряли дееспособность. Стонущего генерала унесли на носилках».

— Ну спасибо, ну порадовали! — сказал розовый от возбуждения пророк Джон.

Нури задумал невозможное. Обнаруженный им блокнот содержал фрагменты программ самообучающегося домового робота, их составил Вальд, когда работал над своим кибером. Еще там, на берегу, Вальд говорил, что у него с кибером двусторонняя связь,— значит, сделал вывод Нури, в принципе возможна переналадка, точнее,

корректировка части программ. Если удастся понудить Ферро записывать, а затем транслировать разговоры, ведущиеся в штаб-квартире пророка, то это позволит многое понять, похоже, пророк становится значительной силой в Джанатии. Задача осложнялась тем, что действовать на программы можно было только дистанционно, ибо непосредственного доступа к Ферро никто не имел, кибер и пророк были почти неразлучны.

Нури уже неделю сидел вечерами, ведя длительные диалоги со своим компьютером, мощным, хотя и портативным. Хорошо, приходские агнцы больше не мешали, хотя прибор для создания помех работал почти непрерывно.

Труд был каторжным. Надо было выделить в памяти кибера свободные блоки, изолировать их от прочей памяти, настроить на запоминание информации, поступающей в форме человеческой речи, и побудить кибера на независимую от него передачу информации. Нури взял отпуск и отсыпался днем, работая по ночам, когда радиопомех было меньше. Но ночью кибер, как правило, находился в экранированном помещении, и это сильно осложняло работу. Помог Слэнг. Неведомо какими путями он узнал, что пророк завел привычку прогуливаться по утрам в саду, на крыше своей резиденции, обсуждая с Ферро план работы на день. Нури уже пару раз нащупывал кибера своим лучом и получил отклик — это обнадеживало. Но работы не уменьшилось. Нури действовал, в основном полагаясь на интуицию и богатый опыт наладчика мыслящих автоматов. Программист-ас, он шел по следу Вальда, программиста средней руки. Интересно, что Вальд, когда у него через Сатона попросили помощи, счел задачу невыполнимой без непосредственного перемонтажа мыслящих элементов.

И вот настал день, когда Нури услышал в динамиках голос пророка, глубокий и значительный. Видимо, он прогуливался наедине с Ферро.

...— Сколько еще они могли сохранить статус-кво, три, ну пять лет. Это без меня. Со мной — максимум десять лет. Конец неизбежен, ибо положение в Джанатии абсурдно. Опровергни, Ферро.

— Посылка верна, в целом. И с точки зрения лица, руководствующегося нормальной человеческой логикой. Но история алогична. Кажется, людям нечем дышать, люди пьют отравленную воду, дети умирают от асфиксии,

власть имущие озабочены лишь тем, чтобы сохранить власть любыми способами, ситуация античеловечна, а государство стоит. И будет стоять до полного вырождения населения. Кажется, любой день может стать последним, а оно стоит, и ничего не меняется. Это я вам, хозяин, говорю на основании анализа информации, заложенной во мне. Ведь история религии весьма тесно переплетена с историей человечества...

— Ты беспощаден, Ферро. И правдив,— голос пророка гаснет.— Я как-то раньше не задумывался об этом.

— Раньше отец Джон не был пророком...

Контакт длился от силы три минуты. Нури подумал, что трансляция в реальном времени просто невозможна, ведь не может же кибер часами находиться в саду. Он снова засел за программы: следовало заставить кибера копить информацию и транслировать ее потом в сжатом во времени виде. Блоком и в возможно короткий срок. А пророка, похоже, гнетут сомнения...

Объективно говоря, информации теперь накапливалось с каждым днем все более. Кладезь знаний, Тимоти Слэнг подробно рассказывал об обстановке в синдикате, который, надо думать, сросся с полицией настолько, что временами не отличить, кто из них за порядком следит, а кто рэкетом занимается. Примитивный грабеж теперь редок, удел дилетантов. Шантаж, порно, наркотики, азартные игры, спекуляция и, наконец, строительство и банковское дело — мало ли способов почти легального бизнеса, не считая интимных услуг, оказываемых государственным надзорным и карательным органам. В последнее время участились диверсии на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и биологической промышленности, действуют какие-то группы, называющие себя воинами Авроры. Охрану на этих предприятиях, объективно виновных в экологических преступлениях, обеспечивают уголовники. Синдикат же поставляет и кадры провокаторов.

— Но это все от случая к случаю. Единой организации не чувствуется, и потому Джольф все чаще поглядывает в сторону генерала Баргиса с его лоудменами.

— Кто такие?

— Лоудмены мне лично больше нравятся. Люди солидные, порядка хотят.

Большего насчет лоудменов от Тима добиться было невозможно. И без того он почти возвысился до анализа, этот бывший домушник.

Приближалось время связи, и Нури вышел в темноту во дворик, где всегда стояла машина Вальда, набитая аппаратурой: приемник, транслятор, автономное питание. Зажглись огни в окнах соседних коттеджей, прошаркали по бетону к реке анимисты. Вдали над городом вспыхнуло «Пророк любит вас» и «Фильтр «Ветерок» вдувает сам». От реки донеслось протяжное:

Я сир, и нищ, и неухожен,
Скорбит душа, слезятся вежды.
О! Дай мне милостыню, боже!
Надежды я прошу. Надежды.

Нури вынул из приемника крошечную кассету, увидел по цвету, что Олле что-то передал. Кассета величиной с наперсток имела емкость на два часа. Нури машинально вложил ее в гнездо и почти сразу услышал шепот Олле.

— Я в имении Джольфа, Нури. Ожидают прибытия пророка и еще какого-то важного начальства. Сборище необычное. Пока отключаюсь, продолжу при первой возможности.

И сразу знакомый каждому голос пророка:

— Господа, прежнего мира нет и не будет, это надо принять, с этим надо смириться. Прежняя государственность гибнет, религия умирает. Мы, здоровые силы общества,— пророк помолчал,— ну, пусть не здоровые, наиболее организованные, я имею в виду правительство и государственные институты, вас, чистейший-в-помыслах, и вас, генерал, мы стоим перед трудным решением.

— Как-то вы сразу, святой отец...

— Бог учит видеть суть вещей, господин премьер-министр. Если очистить человека от демагогической шелухи и подать, так сказать, в чистом виде, то вы увидите, что им правят три силы: голод, пол и честолюбие. Все остальное — наносное. От философии, этики, религии. Я бы сказал,— в голосе пророка явственно слышится усмешка,— все остальное от лукавого. Таков человек и каждый из нас. Но я не о нас, я о пастве. Люди живут в состоянии непреходящей тревоги. Критика и отрицание — вот единственно общее для тех групп, на которые распалось общество, если еще можно выделить в этом хаосе какие-то группы. Мы сами сомневаемся в себе, ибо разломана материальная основа жизни, на смену естеству пришел суррогат. И не стоит обманывать себя, что все образуется само собой. Несмотря на неприятие многими ассо-

циированного мира в целом, мира, который препятствует реализации личностных возможностей, в массах растет стремление к возврату к природе. Не стоит этого недооценивать: язычество проникает во все слои общества, и даже в нашей среде многие заражены им. А это свидетельство и результат того, что общество больно, социальная несправедливость достигла непереносимого уровня. Города умирают, все больше бездомных, дороги усеяны ими, где им приклонить голову? Если бы господин Харисидис, благодетель, не подкармливал их...

— Господа, я исхожу из того, что принятие экологической помощи для нас априори неприемлемо! — Тоже знакомый голос премьер-министра.

— Воистину так.

— Почему? — это уже командный бас.

— Видите ли, генерал,— поясняет пророк,— в случае принятия помощи — мы у себя это исследовали — потребуется полный отказ от того, что есть, полная ликвидация действующих производств и строительство новых. А в новом производстве...

— После нас! После нас!

...— Именно, в новом обществе нам уже места не будет.

— Господин Харисидис, интересы которого я здесь представляю, тоже исследовали,— заговорил премьер-министр.— В обновленном, безотходном производстве с бесплатной энергией, а именно это нам предлагают ассоциаты, частной инициативе придется потесниться. Помощь, буде она принята, пойдет по государственной линии при жестком общественном контроле. Эта помощь отнюдь не ставит целью укрепление нашей власти. Стоит ее принять, и изменится все кардинально. Будет иной порядок вещей.

— Я внимательно слушаю. Полагаю, мы приспособимся. Власть порождает преступность, мы — тень власти.

— Приспособитесь, Джольф, приспособитесь. На какое-то время. И не думаю, что надолго.

— Я тоже слушаю... э... внимательно. Лоудмены должны иметь четкие перспективы.

И снова назидательная речь пророка:

— Два обстоятельства дают мне основание надеяться, что промысел божий восторжествует. Во-первых, уже три поколения джанатийцев пришли в мир суррогата, сломанной природы, они не знают другого мира. Это

позволяет им мириться с тем, что в иных условиях считалось бы невыносимым. Кстати, именно поэтому языческие проповедники не имеют того успеха, которого можно было бы ожидать: люди просто не могут представить, что может быть иначе. Во-вторых, во внешнем мире сократилось потребление жизненных благ, поскольку львиная доля энергии, сил и средств направляется на реставрацию природы. Ассоциаты называют это самоограничением. В полной мере использовать эти два обстоятельства нам мешает только одно — наша разобщенность. Каждый преследует свои цели. Вы, Джольф, стремитесь к власти и богатству, вы, генерал, к власти и порядку, у государства во веки веков цель одна: сохранить статус-кво.

— Истинный патриот всегда стремится сохранить статус-кво. Но что вы предлагаете, отец Джон?

— Объединение. Не формальное, естественно. Государство никогда не признает ваш синдикат — то, что скрывается за его витриной,— официально. Да и мы в этом меньше всего заинтересованы. Я говорю о сути, о координации, единстве действий. Ваш синдикат, например, выполняет некоторые просьбы министра общественного спокойствия...

— Разве?

— Я не в упрек вам, Джольф. Я призываю создать единый центр, координирующий усилия государства, моих последователей и синдиката в акциях, направленных на сохранение существующего положения. Уверен, что должное место в этом деле найдете и вы, генерал, со своими лоудменами. Вы — реальная сила. Но программу вашу, генерал, следовало бы уточнить...

— У меня задача — предотвратить разрушение промышленности. Или вам, святой отец, неведомо положение. Ежедневные диверсии на предприятиях...

— Нам все ведомо.

Нури дослушал до конца. Бесценная информация, но как ее использовать, кому передать. И где этот Норман Бекет?

Нури вышел из машины. Если что, то дубликатор вызова есть в доме. Крики от реки звучали глуше, гилозоисты устраивались на ночлег, и только женский голос, высокий и неукротимый во тьме, выводил странную мелодию, наверное, песню, но слова были неразличимы. Нури слушал ее не первый раз, и песня всегда затрагивала какую-то струну в сердце. Ночью просматривались звезды,

ветер от недалекого океана сдувал хмарь с несчастного острова, и в такие ночи можно было спать без маски.

Нури вытащил из ящика пачку корреспонденции. В этом околотке он был самым крупным подписчиком, прочие предпочитали видеоинформацию. Он прошел в кабинет, лег на тахту и развернул газету «Т-с-с», раздел объявлений. Что там сегодня? О, портрет Тима! И под ним:

Достукался

Младший консультант старик Тим, в быту Тимоти Слэнг, выпал в осадок. Старик вел аморальный образ жизни: стучал красным на синдикат. Расколоть подсудимого не удалось. Пусть родственники не беспокоятся — жидкость «Некрофаг» прекрасно растворяет трупы.

Нури аккуратно свернул газету. Он не стал перечитывать объявление, он вышел во двор и сел на бетон возле машины. Млечный Путь уходил в бархатную черноту бесконечности. На материке под защитой соснового леса посапывали в спальнях его подопечные дошколята, наверное, храпел сытый лев Варсонофий, и, конечно, не спал директор ИРП доктор Сатон. Все остается на своих местах, вертелась никчемная мысль. Где-то там пересекаются параллельные прямые, а Земля вообще-то голубая, и чернота неба не более чем тень Земли. И кто-то из великих говорил, что вечность не что иное, как перпендикуляр к нашему времени и пространству. А сколько времени надо, чтобы труп растворился целиком? А если Тима живьем бросили в некрофаг? Он, конечно, не мог утонуть, некрофаг тяжелая жидкость. Он плавал в ней и растворялся, съедаемый бактериями. Сколько вечностей слышался крик Тима? Зверье!

Нури никогда по-настоящему не думал о грозящих опасностях, это было вне его восприятия. И наверное, он впервые понял серьезность своей работы: за связь с ним убивают. Это странно, это невозможно принять. Еще три дня назад Слэнг сидел, как всегда, в кресле, шевелил мешочками, вытирал глаза и говорил, говорил. Он любил монологи, старик Тим...

Нури вскочил от боли в ушах, затряс головой и тут же увидел на дорожке конус кипящего пламени. Конус мгновенно погас, и на его месте возник некто длинный и веселый.

— Ты звал меня? — голосом злого духа сказал он.— Ты звал меня, Вальд! Я пришел.

Он был в талии перетянут толстой металлической полосой со множеством мелких раструбов понизу. Пояс космонавта, такой точно был у Рахматулы. Ну да, это Норман Бекет, вон и шрам поперек глаза, рассекающий бровь и скулу. Похож.

Нури протянул руку и увидел, что в кулаке у него зажата газета. Норман разжал кулак, вытащил и развернул газету.

— Это он,— после паузы сказал Норман.— Сначала, как мне сообщили, явился какой-то неестественный красавец, сказал, что ты хочешь видеть меня, и исчез. Меня не было, поговорить с ним не мог, но насторожился. А потом вот он пришел, тоже от тебя. Конечно, старик знал, что попытка связаться со мной грозит ему смертью, и вот поди ж ты...

— Некрофаг,— без выражения сказал Нури.

— Да.

— Я жалею о том, что искал встречи с тобой, Норман.

Бекет возился с застежками, стянул с головы блестящий шлем, перекинул через плечо чешуйчатый пояс и пошел в дом не оглядываясь.

— Странные у тебя знакомые, Вальд. Сколько мы с тобой не виделись, четырнадцать, нет, пятнадцать лет Кто ты сейчас? Наладчик? Отличная специальность. А этот, младший консультант? Он говорил, что он твой друг...

Нури машинально отвечал на вопросы. Он был потрясен гибелью Тима и с постыдным, как ему казалось, облегчением думал, что он не просил Слэнга связывать его с Норманом, нет, просил, просил, пусть не впрямую. Но тем не менее инициатива Слэнга...

— Конечно, прямые контакты со мной опасны. Ты поэтому жалеешь о встрече? Не бойся, Вальд, я пользовался поясом, а следить за мной в полете они еще не научились.

— Я не о себе,— сказал Нури.— Что ты можешь сделать, Норман. Ты один, я один.

Норман долго молчал, поглаживая обожженную кожу головы и рассматривая Нури. Потом улыбнулся.

— Тебя это тоже волнует? Вот не ожидал, что ты до такой степени изменишься, помнится, ты был абсолютно пассивен.

— Годы... синдикат, лоудмены, агнцы божьи. Мерзость.

— Вот именно. Добавь сюда тайные, пока еще тайные

концлагеря для язычников-мысляков... И потом, с чего ты взял, что я один?

Нури не ответил. Конечно, Норман в лидерах легальной оппозиции, он наверняка связан с подпольем.

— Вернемся к нашим баранам, зачем ты звал меня?

К этому вопросу Нури был готов. Он с подробностями рассказал, как сделал кибера для домашних услуг, как познакомился с Тимом и продал робота отцу Джону.

— Господи,— сказал под конец Нури, и это вышло у него вполне естественно.— Черт меня дернул сделать этого робота. От него все пошло.

Норман взглянул удивленно.

— Ты что? Всерьез думаешь, что в твоем кибере дело? Если б только кибер, уж с этим-то мы справились бы. Это реакция, Вальд, консерваторы всех мастей, принюхавшиеся. Но это длинный разговор, у нас еще будет время. Для тех, кто со мной, сейчас главное — быть в курсе всего, что затевает пророк, самая опасная фигура.

Норман, длинноногий, длиннорукий и какой-то мосластый, сидел в том самом кресле, похожий на кузнечика. От него исходила спокойная сила, от него веяло уверенностью. И он доверял Вальду, которого, надо полагать, не вспоминал десяток лет, о котором не знал ничего. Доверял секреты оппозиции, а может быть, просто пренебрегал секретностью. Ну что тут скрытого: оппозиция хочет знать, что делается в стане ее врагов, это очевидно. И если Вальд ранее имел связь со своим кибером... Надо посмотреть, нельзя ли эту связь возобновить.

— Я подумаю,— сказал Нури.— Я постараюсь.

Он не знал, под каким предлогом передать Норману запись, сделанную Олле. А передать надо было, по возможности не раскрывая себя. Наконец придумал сослаться на Тима, дескать, Слэнг изловчился достать запись и вот оставил третьего дня. Может быть, для Нормана и оставил?

Насыщенной событиями была эта ночь. Приближалось время урочной связи с Хогардом. Нури, проводив Нормана, с которым договорился о способе связи, снова залез в салон машины. Экранчик уже мерцал, и потрескивало в динамике. Стали гаснуть окна соседних коттеджей, светился вдали разноцветным куполом туман смога над ночным городом, и тихо допевали свои гимны язычники. Нури, стараясь отвлечься от скорбных мыслей о Слэнге, подумал, что ему все не хватает времени заняться языч-

никами, а если в Джанатии кто болеет о природе, то это они...

Потом от ближнего завода заухали взрывы, донеслась очередь крупнокалиберного пулемета, и реквием стих. Боевые группы язычников — воины Авроры, как они себя называли,— начали свои ночные операции. Что они сегодня взорвали — стоки, склад, цех? Об этих ночных сражениях официальные источники молчали. И это настораживало. И Норман, так много сказавший сегодня, о язычниках ни слова. Только Тим говорил иногда о партизанских налетах воинов Авроры на химические заводы-автоматы, наиболее вредоносные. Тим говорил, что язычество в Джанатии чаще всего не религия даже, это форма протеста, образ мышления, отрицающий неравенство между человеком и природой, не воспринимающий разницы между человеком и, скажем, деревом. Природа равна самой себе, неравенства нет, как нет и предпочтения. Эти экскурсы в царство язычества старик Тим всегда завершал словами: «Пойду повою!»

От раздумий Нури отвлек привычный звук работающего приемника. На экране замигали цифры позывных Хогарда, и почти сразу возник он сам.

— Нури?

— Здравствуй. И говори.

— Олле схвачен.

— Схвачен?! Я только что слушал его сообщение о совещании у Джольфа...

Пока Хогард рассказывал, как все было, Нури не произнес ни слова.

— Пса они сбросили со стены,— закончил Хогард.— Я задержался, чтобы подобрать, но не нашел.

Нури рассматривал мерцающее изображение Хогарда, и сердце его сжималось от жалости к нему. Он пытался поставить себя на его место и не смог: счастливец Олле, он всегда поступал как хотел. А каково было Хогарду!

— Знаешь, приди в себя! Не хватало, чтобы ты там ввязался в драку. Ты единственный источник денег и оборудования, на тебе замкнуты все легальные каналы.

— Я что,— Хогард бледно усмехнулся.— Жив, здоров... Я просил посла, он сделал официальный запрос, ссылаясь на то, что Олле все-таки гражданин Ассоциации. Посол почти вынудил премьера истребовать Олле у Джольфа. Не вышло — Олле бежал. И сведений о нем нет. Будем ждать. Это единственное, что остается.

Олле проснулся в полной темноте и тут же вспомнил, что Грома больше нет, вспомнил ощущение мокрой от крови шерсти на ладонях. Он попытался сесть и обнаружил, что скован и руки за спиной сведены наручниками, и когда он шевельнул руками, в запястья впились шипы наручников. Больная мысль о Громе не давала возможности думать о чем-то ином, и Олле волевым усилием загнал ее в глубину сознания. Дураки, надо было сковать выше локтей, а так цепь возле крестца, а это все равно что впереди. Морщась от боли, он свернулся калачиком и пропустил тело через кольцо руки-цепь. Обычное утреннее упражнение — перешагнуть через сцепленные в пальцах руки. Убедившись, что перевести оковы вперед ему по силам, он порадовался забытому на руке браслету и вернул себе прежнюю позу. Оковы на ногах — ерунда, плохо, что так болит голова, то ли его били по голове, то ли это выходит обездвиживающий дурман. Гром, как он кинулся на выстрелы, заслонил собой... О чем они там совещались, хотел бы я знать, а этот... пророк, с каким любопытством он следил за Хогардом. Мысли Олле переключились на Хогарда, и ему стало как-то спокойнее: Хогард все видел, конечно, понял и простил. И Олле, который дома, в ИРП, иногда светло завидовал воспитателю Хогарду, снова привычно восхищался его выдержкой: вмешаться было легче всего, но где взять силы, чтобы не вмешиваться...

Загремели запоры двери, вспыхнул под потолком свет. Два здоровенных анатома молча вытащили его, подхватив под руки, и за порогом камеры Олле проволокся коленями по пластиковому покрытию в светлом переходе, отметил еще несколько камер с обитыми жестью дверями и глазками в них, подумал, что Джольф, конечно же, должен иметь собственную тюрьму, но он, охранник Олле, даже не догадывался о ней.

Его протащили через караульное помещение, подручные, оторвавшись от телеэкрана, молча уставились на него, и Олле поймал странный взгляд знакомого офицера, с которым они вместе стояли у дверей в овальном зале. В следующей комнате его швырнули на пол. За столом сидели Джольф-4, он же чистейший-в-помыслах, советники, то есть шефы провинциальных филиалов синдиката, и кто-то незнакомый в бронзовой униформе лоудмена. А посередине, как главный предмет обстановки, высилось жесткое кресло с высокой спинкой и металли-

ческими нашлепками, опутанное проводами, справа от него пульт со множеством экранов, глазков, кнопок, тумблеров и клавиш.

Джольф-4, играя лучевым пистолетом Олле, с каким-то даже веселым выражением разглядывал его.

— Я вот думаю, что на моем месте сказал бы отец наш пророк? А он бы, мне кажется, сказал: «Кто находится между живыми, тому остается надежда, так и псу живому лучше, нежели мертвому льву».

До чего они любят цитировать Священное писание. Олле промолчал, повернулся на бок. Громадный башмак — носок армирован металлом — шевельнулся у самого лица. Олле остро ощутил свою беспомощность, чувство непривычное и унизительное.

— Рекомендую, господа, анатом Олле. Вчера вы его видели в деле и убедились: несокрушим, свиреп, ловок. Все качества супермена. Но это видимая сторона. Кто он, Олле Великолепный? Сплошная загадка... Неожиданно оставил службу в ИРП, весьма уважаемой в мире ассоциантов организации, и месяца четыре назад появился в Джанатии. Якобы вступил в права наследования. И почти сразу повел расточительный образ жизни, неестественный для ассоциата, которому должна быть присуща аскетическая склонность к самоограничению. Он обратил на себя внимание крупными проигрышами в казино, ну и внешними данными. А скорее сам хотел привлечь наше внимание. Зачем? С наследством вообще так запутано, что даже сам министр всеобщего успокоения разобраться не сумел. Эта неясность и побудила нас пригласить Олле в анатомы, чтобы на виду был. Мы пригласили, но, спрашивается, почему гуманист Олле согласился служить в синдикате, столь одиозном в глазах любого ассоциата и язычника предприятии? Мы успели показать Олле всем сотрудникам внешнего наблюдения, но как минимум раз в неделю он исчезал, уходил от нашего надзора. Спрашивается, куда и зачем? Как вы полагаете, Олле, мои вопросы закономерны?

— Развяжите меня, если хотите со мной говорить.

— Нет! Мы имели возможность убедиться, что жизнь вам не дорога. В кресло его!

Анатомы не без оснований считали себя вполне подготовленными к злодействам: Джольф-4 не жалел денег на оплату инструкторов каратэ. Олле не раз с усмешкой наблюдал эти занятия, освоить два-три приема — это

все, на что были способны приемыши и анатомы. Но недостаток умения они возмещали старательностью. А если иметь в виду полнейшее пренебрежение человеческой жизнью, то следовало признать, что Джольфу-4 служили отъявленные бандиты. Они набросились на Олле всей сворой. Они били туда, куда их учили, и не могли пробить броню его мышц. И связанный Олле был опасен, и через пару секунд один из анатомов уже свалился с разбитой коленной чашечкой. Но тут начальник охраны дважды ударил Олле ботинком в подбородок. Втроем они усадили его в кресло и держали. Олле выплюнул кровь.

— Я тебя запомню, подонок!

Заболели истоптанные руки, прижатые к спинке кресла. Олле погасил боль, отложил ее на потом, это он умел, как и принимать на себя чужую боль.

— Продолжим,— сказал Джольф-4.— Я все думаю, с кем вы? Конечно, и генералу, и премьеру была бы интересна конфиденциальная информация о нас. Но никому из них Олле Великолепный служить не станет, не так ли? Пророк Джон? Несерьезно. Остаются две возможности. Репрезентант Суинли, его любопытство к делам синдиката несомненно, но зачем бы стал на него работать мысляк Олле, ассоциат Олле, о религиозности которого и говорить не стоит. И последнее наиболее вероятное...— Джольф-4 перегнулся над столом, он ловил взгляд Олле.— И последнее...

— Ерунда все это! — Из раны на подбородке лилась кровь, Олле сосредоточился, чтобы унять кровотечение.— Ерунда. Я сам по себе.

Джольф-4 выпрямился.

— Непостижимо. Пытаюсь и не могу понять,— сказал он.— За минутное удовольствие заплатить жизнью, вы ведь знали, чем рискуете... испортить праздник! Это непростительно и... почему я с вами вожусь, Олле? Чем-то вы мне нравитесь. Может быть, своей раскованностью, непривычной для Джанатии. Или мне хочется обратить вас в нашу веру, безнадежная попытка, не правда ли? А ведь наш почтенный синдикат пользуется уважением власть имущих. Имущих явную власть — тайная у меня. Уж вы-то могли бы понять: организованная преступность один из краеугольных камней, на которых зиждется здание общества всеобщего благоденствия, государственный аппарат не мог бы существовать без нас. Изыми мы свои вклады — и банковская система рухнет. Воздержись мы от

ликвидации шоблы мысляков-экологов — и под угрозой спокойствие государства... Мы, и только мы, даем тем, кто стоит у власти, возможность продемонстрировать единство слова и дела, о котором тоскуют управляемые массы. Процессы над мафией так утешительны, они будят веру в добрые намерения власть имущих. Вам еще не смешно, Олле?

— Бросьте, Джольф. В истории нет такого преступления, которое не пытались бы оправдать соображениями высокой пользы. Поразительно не то, что вы, видимо, всерьез считаете полезной деятельность своей шайки. Поразительно, что вам верят.

— Можете представить, верят.— Джольф стал непритворно весел. Нет, какое-то обаяние, свинское обаяние, в нем все-таки было.— Или делают вид, что верят, а это в общем равноценно. Не правда ли, господа?

Господа закивали. Двусмысленность вопроса не дошла до их мозгов, не привыкших к таким тонкостям. Эти верят, подумал Олле, жратва, женщины, деньги, зрелища — цель и смысл жизни для них. Только ли для них? А те, вдоль дорог, кто из них не пойдет в услужение к Джольфу с истовой верой и радостью?

— Преступник как личность не в состоянии подняться выше среднего уровня. И в силу этого крупный преступник вашего масштаба, Джольф, всегда концентрирует возле себя серость, оглянитесь. Ваше окружение только подчеркивает вашу заурядность.— Олле торопил события: левая рука, неудобно зажатая, стала терять чувствительность. Он заметил, что Джольф медленно бледнел.— Власть и богатство — вот что позволяет утвердиться преступной личности, всегда, в сущности, сознающей свою заурядность...

— Я недоговорил,— медленно произнес Джольф.— Я еще не рассмотрел последнюю возможность. Точнее, единственно оправданную причину вашего появления в Джанатии. Дорогой подарок премьер получит от меня — доказательство нарушения конвенции о невмешательстве. И конечно, вы не один, чтобы понять это, особого ума не нужно.

— Десяток разбитых физиономий у мерзавцев, которым ни одна пощечина лишней не будет, да пара разорванных псом штанов — это вы называете нарушением конвенции? Нет, Джольф, я сам по себе, я одиночка. А в Джанатии потому, что хочу жить без самоограничений.

Причина, на мой взгляд, вполне уважительная. И скажите... этим, чтоб не сопели так.

— Мои анатомы сейчас привяжут вас к этому креслу, и, держу пари, вы назовете своих сообщников. Вы сначала нам все скажете, а потом сойдете с ума от боли и превратитесь в тихого, запуганного идиота и будете вздрагивать от резких звуков и бояться собственной тени...

— Развяжите, и посмотрим, кто кого будет бояться.

— Я не хочу лишать своих соратников удовольствия видеть, как будет терять лицо Олле Великолепный... Господа?

— Только чтоб сразу не подох, как старик Тим.

— Ну, он молод, силен. Он много выдержит. Привяжите его.

Четверо навалились, прижали. Пятый анатом завозился за спиной, пытаясь снять наручники.

— Шеф, здесь у него на руке какой-то браслет, я такого не видел.

— Любопытно.— Джольф вертел браслет, рассматривая экранчик и выпуклости узора. Он надавил на что-то там, экранчик осветился, побежали красные числа вызова.— Пусть посмотрят специалисты.

«Браслет Амитабха — невиданный свет,— подумал Олле,— все-таки хорошо оснастил нас Сатон. Вот сейчас, сейчас! Успеть поймать мгновение». Джольф сделал движение, и Олле отчетливо увидел, как складывается браслет. Ему давили на плечи, и он ринулся всем телом вниз, увлекая за собой рычащих охранников.

До того, как браслет сработал, Олле успел спрятать лицо в колени, но невозможная по интенсивности вспышка света ослепила его. Он замер так на минуту, пережидая световой шок, потом вывалился из кресла, сжавшись в комок, вывел из-за спины скованные руки и открыл глаза. Плоские черно-белые фигуры главарей и челяди были недвижимы, реальность для них исчезла.

«Смотрели они на меня,— думал Олле,— так что сетчатка у них обожжена, но не выжжена, надолго вряд ли кто ослепнет». Он подполз к столу, взял блик, зажал в коленях, наложил соединяющую пластину наручников на раструб и изловчился нажать на спусковой крючок. Олле не считал блик серьезным оружием, разве что для ближнего боя. Но на выходе температура луча достигала четырех тысяч градусов, и пластина почти мгновенно испарилась. Таким же путем Олле избавился от оков и,

морщась от ожогов, плеснул воды из сифона поочередно на оставшиеся на запястьях и лодыжках стальные браслеты. Потом сжег кресло и пульт и отбросил ставший бесполезным блик.

Мир стал постепенно обретать объемность. Скорбя о том, что не может поднять руку на беззащитного, Олле с сожалением оглядел Джольфа и присных его, разоружил ближайшего громилу и вышиб ногой дверь. Он возник перед охраной с пистолетом в левой руке, злой и грозный. От хлесткого удара ладонью по шее обморочно закатил глаза и осел ближайший анатом.

— Не вздумайте стрелять! Изувечу! Лечь на пол, быстро!

Его знали. Со вчерашнего дня особенно хорошо знали. И с готовностью, словно только и ждали команды, повалились животами на замызганный пластик пола.

— Мне тоже лечь? — офицер спокойно смотрел в лицо Олле.

— К дверям! — Олле шевельнул пистолетом.— А вам всем лежать! Кто двинется — пристрелю.

Они вышли, офицер впереди, Олле привалился к двери, его подташнивало. Где здесь выход, черт его знает.

— Ну что ж, пойдем,— офицер рассматривал его со жгучим любопытством.

— Куда?

— У вас сейчас один путь.

Олле почувствовал шорох за спиной, приоткрыл дверь, рявкнул: «Лежать!» — и снова закрыл.

— Вы знаете мой путь.

— Знаю. Зовите меня Дин.

— Дин.

Они пробежали по длинному переходу. Оба стража с автоматами у неприметного входа в личную тюрьму Джольфа были мгновенно разоружены. Олле втолкнул их в полутемный коридор тюрьмы, закрыл скрипучее полотнище дверей и задвинул наружный засов.

— Сейчас нас увидят на пульте в диспетчерской,— офицер вынул блик, Олле покосился на него, промолчал.— Идите впереди меня. Будет лучше, если вы мне скажете, сколько еще времени у нас есть?

Встречные подручные и приемыши, завидев Дина, вытягивались. Заминка произошла только в диспетчерской, где дежурный функционер, похоже, что-то понял. Во всяком случае, он сделал попытку вытащить пистолет. Олле,

рыкнув зверски, пресек попытку. Дин сел за пульт, стал набирать команду на снятие электронного контроля ворот.

— Работайте спокойно,— сказал Олле.— Еще минимум полчаса Джольфу и остальным будет не до нас.

На мониторе было видно, как отходят в стороны массивные полотнища ворот и поворачиваются в зенит стволы лучеметов.

— Основное питание я отключил, но система охраны имеет автономное энергоснабжение. Поэтому поторопимся.

Олле не пришлось сдерживать темп, Дин проявил себя с лучшей стороны. Они рванулись к стоянке транспорта, личный шофер Джольфа, всегда дежуривший в лимузине, был грубо сдернут с сиденья и отброшен в сторону. Олле занял его место, нажал на стартер, в ту же секунду Дин упал в сиденье рядом, и машина с места почти прыжком вынеслась за ворота.

— Нам нужно минут двадцать, и мы будем у цели.

— Вы рискуете карьерой,— Олле не отрывал глаз от шоссе, пустынного и извилистого.— Ради чего?

— И ради вас тоже, Олле. Наши, я имею в виду боевиков-язычников, будут рады вам. Впрочем, решать будете сами. А мне все равно пора было уходить, на меня прищуривались у Джольфа, да и премьер не очень жалует последнее время. Должен сказать, что у них есть к тому основания гораздо большие, чем о том можно подумать.— Он помолчал, провожая взглядом промелькнувший пост контроля. По обе стороны сплошной сверкающей лентой прозрачных покрытий тянулись гидропонные поля.— Дайте-ка мне ваш пистолет, похоже, Джольф очнулся от шока, не знаю, что вы там с ними сделали. Погоня — ерунда. Хуже, что через десять километров контрольный пост, шоссе наверняка перекроют. По моему сигналу выпускайте крылья, там голубая кнопка на пульте. Справитесь?

Олле не ответил. Почти инстинктивно он уловил движение впереди у обочины и бросил машину в сторону. Хвостатый снаряд базуки со сминающим шорохом мелькнул мимо. Взрыв позади они уже не слышали. Дин выстрелил навскидку.

— Вверх, Олле! — закричал он, перекрывая вой встречного вихря.

Олле надавил кнопку, боковым зрением уловил, как выдвигаются короткие подкрылки, и ощутил отрыв машины от шоссе. Это был не полет в привычном для Олле пони-

мании, это был длинный планирующий прыжок: над шлагбаумом и шипастым участком дороги машина перелетела на высоте десяти метров. И резко — Олле сделал усилие, чтобы справиться с управлением,— приземлилась на передние колеса. Еще в прыжке-полете Дин выстрелами поразил обслугу лучеметов, суетящуюся на плоской крыше здания поста. После второго поворота он, вытянув руку, выключил двигатель.

— Стоп! — Дин повозился с клавиатурой бортового компьютера, задавая на автомат маршрут, выползли по бокам и образовали закрытую кабину обтекатели из поляризованного пластика.

— Олле, заберите запасные баллоны, пригодятся. Уходим.

Они поглядели вслед лимузину, набирающему скорость, и Дин повел Олле в сторону от шоссе, в какие-то бетонные развалины. Пробираясь через хаос арматуры, они услышали смягченный расстоянием звук взрыва.

— Все! — Дин на секунду остановился.— Нас больше нет. На этот раз они загодя пустили в ход лучеметы.

Головоломная схема универсального самообучающегося домового кибера давала лишь общие представления о его электронной начинке. Вообще задача дистанционной перенастройки казалась невыполнимой, тем более что, как предупреждал Вальд, Ферро был собран из бракованных блоков. Сатон по просьбе Хогарда привлек большую вычислительную машину, ту самую, разработкой которой в свое время руководил генеральный конструктор Нури Метти. До того, как он возвысился до звания воспитателя дошколят в ИРП. Машина выдала кипу тестов, по отзывам на которые можно было по кусочкам внедрить новую программу в управляющую систему кибера. Нури возился с этими тестами больше месяца, предварительно он уволился с фирмы, ссылаясь на болезнь. Место за ним оставили, ценный работник, а в последнее время как заново родился, инициативен, активен... Он работал над программой с малыми перерывами на сон и еду. Местные агнцы не напрашивались на контакты, хотя пару раз забредали днем, оговариваясь необходимостью проверить регистрирующую аппаратуру. Он впускал, клал на стол купюру и, похлопывая пальцами по столешнице, молча ждал ухода. Независимость как черта характера своей непонятностью всегда озадачивает людей с рабской психологией, ибо

может быть объяснена только силой, на которую опирается. Какие-то смутные слухи о всесилии Нури ходили в среде окрестных агнцев. И Нури не трогали.

По ночам он связывался с Хогардом, от него узнавал, что поиски Олле, по официальным каналам, не увенчались успехом,— это было главным. А потом Хогард рассказывал о текущих делах, о новых диверсиях воинов Авроры, о том, что диверсии нередко сопровождаются быстротечными ночными боями с полицией и военизированными отрядами лоудменов. И еще о том, что агнцы и лоудмены посещают совместные сборища и драки между ними поутихли,— видимо, генерал Баргис и пророк Джон сумели договориться о совместных действиях. Над этим стоит подумать.

Смерть старика Тима, исчезновение Олле сильно уменьшили поток информации. И с деньгами у Нури стало трудно. Олле, как легальный эмигрант, мог посещать консульство, что и делал порой, питая Нури деньгами. Сатон главную задачу сейчас видит в том, чтобы всемерно помогать Норману Бекету, а чем можно помочь, кроме добротной информации? Хогард с Сатоном полагают, что действия воинов Авроры, деструктивные в сути своей, объективно полезны, поскольку разрушенные в результате диверсий предприятия уже, как правило, не восстанавливаются и это в конце концов будет способствовать принятию Джанатией экологической помощи ассоциированного мира. Но когда это будет? Из истории известно, что гражданские войны — самые затяжные и разрушительные...

И настал день, когда Нури понял: дело сделано, команда на перестройку программного комплекса кибера Ферро может быть подана, невозможное стало возможным — кибер будет фиксировать в блоках памяти всю дневную информацию и выдавать ее по команде в спрессованном виде.

Тут же возникло очередное затруднение. Расчеты показали, что необходимая мощность командной, ударной трансляции на кибера существенно превышала возможности слабенького передатчика Нури. Из затруднения помог выйти Сатон, предложивший транслировать перестроечную программу на кибера через спутник связи. Для этого следовало доставить Сатону кассету с программой.

Никак нельзя было Нури вступать в личный контакт с Хогардом, каждый шаг которого находился под наблю-

дением недремлющего ока министерства всеобщего успокоения. И они решили воспользоваться так называемым почтовым ящиком.

Хогард выехал из посольства и увидел четыре знакомые машины наблюдения. «Хоть двадцать»,— злорадно подумал он. Маршрут советника Хогарда всегда один: посольство — торговое представительство. Он двинулся по спокойной улице старой части города, где сосредоточивались официальные учреждения. Как и везде, правящее чиновничество умело обеспечить тишину и порядок в своей рабочей зоне, здесь даже воздух казался чище. Все четыре машины сначала шли следом, но на повороте на центральный проспект две из них обогнали его. Это естественно, в сплошном потоке машин лимузин Хогарда вполне мог затеряться и потому двое сзади, двое спереди. Привычная тактика.

Хогард вспомнил, что в первые дни своего пребывания в Джанатии все поражался немыслимому множеству машин на улицах столицы. Потом понял: салон машины — единственное место, где можно дышать без маски. Для многих машина была не столько средством передвижения, сколько местом ночлега, по сути, домом на колесах. Безмашинные граждане на ночлег выбирались из города, все-таки загазованность меньше. Дешевого фильтра в маске хватало ровно на восемь часов — время сна на надувном матрасике где-то на обочине. Но в том воздухе, что можно было высосать через фильтр, кислорода было недостаточно: отсюда бледность на лицах и трупы астматиков на обочинах.

На высоте десятых этажей на искусственном облаке проецировались разноцветные: «О себе думай!», «Наша надежда — пророк Джон», «Глупо иметь двух детей, еще глупей не иметь двух машин «Уют», «Раздельное проживание укрепляет семью. Покупайте два «Уюта». Эти призывы чередовались подвижными портретами пророка и генерала, рисуемыми лазерными лучами. Реклама работала вовсю. Пестро одетые толпы двигались по тротуарам вдоль витрин. На большинстве — маски телесного цвета странных форм. Но попадались плотные группы людей в демонстративно серых или черных масках — язычники.

Машины в потоке двигались со скоростью пешехода, и Хогард замечал временами какие-то завихрения вокруг группок в серых и черных масках. Люди в костюмах

бронзового цвета — лоудмены — затевали драки, которые как-то быстро затухали. Выделялись белыми касками и черными пластиковыми щитами центурионы, дежурившие в паре с роботами возле припаркованных у панелей машин. Полиция бдила.

А вот что-то новое: красная продольная полоса светофора неожиданно перечеркнула перекресток, пропуская пешую колонну, окаймленную бронзовыми лоудменами. Во всю ширь улицы был развернут транспарант «Мы принюхались!», а замыкал колонну, довольно длинную, на десять минут стоянки, лозунг «Все не так плохо, как кажется». Боковые лоудмены иногда выкрикивали в микрофоны сентенции вроде «Лучшая новость — отсутствие новостей!» и «Кто-то должен иметь привилегии!».

Наблюдая за этой неожиданной демонстрацией, Хогард включил рацию. Он не стал ждать отзыва.

— Нури, не спеши, я немного опаздываю.

— Понял,— ответил Нури.— Я на месте.

Наконец колонна функционеров консервативной партии истаяла. Политическая жизнь в Джанатии была весьма пестрой и запутанной. Консерваторы занимали место между лоудменами и агнцами божьими, именно они обеспечивали массовость радениям агнцев. Хогард отдавал должное пропаганде защитников статус-кво, умело направляемой людьми грамотными и умными. Диапазон средств воздействия был весьма широк, от вот этих консерваторов с их универсальным лозунгом «Мы принюхались» до сектантов-непротивленцев, агнцев божьих, ведомых пророком,— это, так сказать, идеологическая надстройка. А силовая часть — полиция, полулегальные формирования лоудменов с их генералом Баргисом и «Сервис», бандитский синдикат Джольфа. И вся эта мощь — против язычников, всерьез не принимаемых и никем не признанных, которых вроде бы и не существует. Не много ли?

Хогард сознавал закономерность возрождения интереса к язычеству в стране, где природа поругана и исчерпана. Для многих в Джанатии это была религия надежды на радостное возвращение к природе, на единение с ней, неясное, но сказочно заманчивое. И значит, как ни крути, язычники — даже самые ревностные — союзники ассоциированного на экологических началах мира. Не случайно Сатон назвал этим словом их операцию. В сущности, в среде сотрудников ИРП языческое отношение к природе процветало. Священность, одушевленность при-

роды — это было как бы само собой разумеющееся убеждение экологов, ибо язычество отрицает бездумное потребительство: одно дело завалить родник мусором, другое — убить нимфу ручья. Надо полагать, здешние сторонники существующего положения понимают ущербность своей пропаганды. Ведь «Мы принюхались», в сущности, лозунг, не имеющий смысла, неприкрытая демагогия. Потому и атака на язычников ведется денно и нощно. Отсюда и официальное замалчивание язычества. Нет его, и все!

Так размышлял Хогард, двигаясь в потоке машин до следующего перекрестка, где его должна ждать посылка от Нури. Двигался, стараясь подгадать к моменту перекрытия магистрали красной полосой. Он прибыл вовремя и остановил лимузин в трех метрах от перехода, обозначенного белыми пластиковыми дисками на асфальте. Передние машины с наблюдателями удалялись, подчиняясь движению потока. А вот и Нури. Он спешил последним по переходу с пакетом под мышкой. Замешкался, оглянулся, из пакета посыпались пластиковые тубы консервов. Нури наклонился было поднять, но загорелась зеленая полоса, он махнул, сожалея, рукой, вспрыгнул на панель и исчез в толпе пешеходов. Хогард тронул машину, услышал легкий щелчок снизу и улыбнулся: магнитная присоска сработала, с пятого от поребрика разметочного диска снята кассета для Сатона. Завтра она будет в ИРП. Передаст сотрудник посольства, уезжающий в отпуск. А тубы остались на асфальте, сминаемые колесами машин.

Хогард свернул в переулок, к зданию торгового представительства, сдвинул на лицо маску и вышел из машины. Лимузины наблюдателей выстроились неподалеку гуськом. Он помахал им, поднялся на ступени и почувствовал, как дрогнула земля. Над изумленно притихшим городом прокатился далекий гром, и в мутном небе вспыхнули багровые всполохи. Отчаяние рождает насилие. Воины Авроры стали действовать при свете дня...

Жрец-хранитель был стар. С какой-то робостью во взоре он рассматривал огромного Олле, что стоял в круге света. Долго молчал, а потом спросил из темноты:

— Что привело вас к нам?

— Обстоятельства и давнее намерение.

— Вы искали встречи?

— Да. Случая.

— Цель?

— Служить делу Авроры.

— Ваша вера?

— Возврат возможен. Пусть на ином витке спирали, но возможен.

— Ваши убеждения?

— Человек — дитя природы. Не причиняй вреда матери своей.

— Что вы скажете о нем, Дин-поручитель?

В круг вышел Дин, встал рядом с Олле, почти равный ему по росту.

— Язычество никого не отринет. Олле — язычник по своим убеждениям. Он светел в намерениях и поступках, и пусть Аврора, богиня утренней зари, даст ему удачу!

— Что скажете вы, братья-мои-язычники?

Олле ощущал присутствие многих людей, хотя и не видел их из своего светлого круга. Он был спокоен, и это чувство, от которого он отвык, общаясь с Джольфом и его бандитами, омрачалось только скорбью по Грому. Впервые за прошедшую неделю у него ничего не болело, а этим утром удивленные быстрым заживлением раны хирурги-язычники сняли швы на подбородке.

— Пусть он назовет тотем!— сказал кто-то из тех, кого он не видел.

— Два!— ответил Олле.— Собака и лошадь.

— Он выбрал правильно,— сказал жрец.— Из живых.

В зале зазвучали птичьи голоса, видимо, включили запись. Когда эта музыка лесного утра стихла, сладко засвистел божок ночи соловей.

— Принять его и оказать первый знак доверия.

Соловей прозвенел хрустальным колокольчиком и смолк.

— Отныне вы брат наш язычник, Олле. Спасибо всем. Мы с Дином завершим обряд. И пусть каждый делает свое во славу Авроры.

В полутьме послышалось движение множества людей, и пространство расширилось. К тому времени, когда белый круг, образованный терминалами световодов, потускнел и стали различимы предметы в сумрачном освещении окрашенных светящейся краской стен, они остались втроем в зале станции. Из черного зева тоннеля донесся далекий шум проходящего поезда.

— Они, те, кто был, растекутся постепенно по всему маршруту. Администрация подземки всегда выполняет

наши необременительные просьбы подать поезд или временно прекратить движение на какой-то линии...

Дин, говоря все это, помог жрецу снять алую мантию и высокую конусообразную шапку в золотых звездах. Он был преисполнен почтения. Жрец опирался на руку Дина и старался держаться прямо. Старомодный костюм и белая манишка с галстуком смотрелись как привычный для него наряд. Он протянул руку, и его маленькая сухая ладонь утонула в ладони Олле.

— Здравствуйте, Олле. Рад видеть вас в наших рядах. Дин много рассказывал о вас и вашей собаке, и я почему-то ждал встречи. Позвольте представиться: профессор природоведения на кафедре экологии столичного университета. Бывший. Кафедру разогнали, признав вредоносной, смущающей умы и распространяющей зловредные семена язычества. А сейчас вот возвысился до уровня жреца-хранителя на языческом капище. Жрец-хранитель! Мог ли ты это представить, Дин, когда слушал мои лекции? Ты ведь был не худшим моим учеником.

— Да, профессор. Я хочу сказать, нет, профессор.

Жрец печально улыбнулся.

— Какое сейчас природоведение, скорее нечто из области воспоминаний. Наука о невозвратно утраченном, не правда ли, Олле?

— Не могу согласиться с вами, профессор. В ассоциированном мире я работал у Сатона в ИРП. Вам здесь в Джанатии, трудно представить, сколь быстро природа залечивает раны при разумной и ненавязчивой помощи человека.

— Если она не совсем исчерпана, Олле, не совсем исчерпана. У Сатона, счастливец... Мы участвовали в разработке глобальной программы реставрации природы, опасное, представьте, занятие в Джанатии. На программу вся наша надежда. Но мы с вами еще поговорим о Сатоне, о вашем институте...

— Поговорим,— наверное, среди убиенных экологов были люди молодые и сильные, но Олле почему-то представился сопящий анатом рядом с беспомощным в своей бесплотной старости жрецом.— Вас много уцелело?

— Я один... Те, кто случайно не были на открытии сессии, потом просто исчезали без следа. Дин привел меня... Сейчас, прошу вас, надо закончить обряд, пойдемте.

Тоннель, в котором были сняты рельсы и чувствовалась

под ногами плохо утрамбованная щебенка, вывел их в обширное, теряющееся вдали помещение.

— Музей тотемов!— громко сказал жрец-хранитель.— Первый знак доверия. Смотрите, Олле, что утратила Земля по вине человека, и скорбите вместе с нами.

Белый свет залил зал с квадратными колоннами и остатками фундаментов снятых станков. Наверное, здесь когда-то были ремонтные мастерские. Олле замер: стены и колонны были увешаны цветными изображениями животных в тяжелых рамах.

Прекрасное прошлое Земли, необратимо утраченное, смотрело на него прозрачными глазами зверей, их лица, как чудилось ему, несли печать обреченности. Обреченности и вопроса: почему для маленькой газели Томсона не нашлось места на Земле? Чем провинился перед человечеством синий кит? Стеллерова корова? Тигровый питон? Ламантин? Тасманийский дьявол? Единорог? Кондор? Маленький лис корсак? Утконос? Сумчатый волк, бухарский олень? Венценосный голубь и сотни других видов, исчезнувших с лица Земли. Невозвратно исчезнувших!

Сейчас в центрах ИРП биологи всех специальностей предпринимают титанические усилия, чтобы восстановить утраты, но скуден генетический материал, мизерны успехи, и как часто приходится удовлетворяться подобием... Эти мысли одолевали Олле, пока они шли. А прошли они только раздел млекопитающих. Рыбы, рептилии, птицы, растения — это было впереди, скорбная галерея казалась бесконечной, и не было счета потерям.

— Выбирайте стезю, брат-наш-язычник. У нас каждому найдется дело по душе — и смиренному чистильщику, и стратегу-экологу.

— Моя ненависть ищет выход, отравителям нет оправдания. Я найду покой, когда оживет река.

Самодельные, изготовленные в подземных мастерских ракеты язычников, отличаясь высокой точностью, имели дальность всего три километра. В городских условиях этого было вполне достаточно. Обычно в сумерках воины Авроры, возникая на поверхности в подходящих развалинах, быстро монтировали примитивные пусковые установки и тут же исчезали. Пуск ракеты осуществлялся сигналом по радио, и ответный удар, если бывал, приходился по пустому месту. Атака с десятка точек позволяла вывести

из строя безлюдное химическое предприятие-автомат средней величины на месяц-два, и, если работа потом возобновлялась, язычники проводили новую диверсию.

Карты подземных коммуникаций если когда-либо существовали, то давно были утрачены, и штаб армии Авроры организовал специальные группы, которые непрерывно вели разведку коммуникаций всех видов, для обеспечения текущих военных действий и на будущее, когда придется создавать новое безотходное, экологически чистое производство.

Центральный штаб размещался в широком тоннеле, а немногочисленный постоянный персонал так и жил здесь, в боковых ответвлениях, разделенных на клетушки,— у каждого своя. Потолков не было за ненадобностью, пластиковые перегородки создавали лишь иллюзию уединения, но Олле быстро привык и успевал высыпаться на своей надувашке за немногие часы свободного времени. Он проходил что-то вроде стажировки при штабе, постигая тактику партизанской войны в Джанатии. Времени на беседы со жрецом-хранителем не оставалось, да и резиденция жреца размещалась в часе езды на метро. Приметному Олле не следовало без крайней необходимости показываться где бы то ни было.

Олле не спешил восстанавливать связь с Нури, хотя имел возможность подать о себе весть. Он знал, чем это кончится,— Сатон немедленно отзовет его, одно дело — разведка, другое — прямое участие в разработке операций. Олле захотел остаться в нарушителях запрета, он любил поступать по-своему, если это не мешало жить другим: запреты себе он устанавливал сам. И еще Олле по утрам, когда затрагивал бритвой косой шрам на подбородке, вспоминал о допросе у Джольфа, всегда помнил расстрел пони и ощущение мокрой от крови шерсти Грома на ладонях. И как там Джольф говорил: «ликвидация шоблы мысляков-экологов»? Нет, из Джанатии он не уедет. Долги надо отдавать.

Через спутник связи и Хогарда Сатон сообщил, что командный удар по киберу состоялся и с ним можно начать работу. Но прошло еще несколько дней, пока наконец Нури, позвонив из автомата, вызвал Нормана. Серый от усталости и недосыпа, он усадил его в кресло и включил запись. Из прибора послышался тонкий писк, и почти сразу все кончилось.

— Ну как? Вам понравилось, Норман?

— И это все?

— А вы что думали, Норман Бекет? Не говорить же мне с ним часами. Вся дневная информация — за пять секунд.

Норман захохотал, облапил Нури, как клещами, и поднял его вместе со стулом.

— Вальд, наладчик! Если это так, то ты даже не знаешь, что ты сделал!— Норман поставил Нури перед собой и смущенно топтался на месте.— Давай сейчас послушаем, а?

— Конечно,— Нури был тронут столь неожиданным и бурным проявлением чувств. Что-то забытое в этой сумасшедшей гонке, в этой ненормальной жизни без просветов почудилось ему. Вот так необузданно радовались жизни его пацаны-дошколята в ИРП, так смеялся Олле, победив в беге своего пса. Норман теребил застежки шлема, глядя на него блестящими глазами.

Нури перемотал пленку, вставил ее в дешифратор, включил.

— Это третьего дня совещание у пророка. Сугубо конфиденциальное. Полагаю, перед этим они смотрели видеозапись парада лоудменов.

Послышался недовольный старческий голос.

— Не то, Джон, все не то. Взгляните на их животы и лица, разве ради них святая церковь прилагает столько усилий. Почему нет молодежи, где интеллигенция? Те, кого вы ведете,— стадо.

— Ваше преосвященство,— зазвучал командный бас.— Обойдемся наличными силами, что касается интеллигентской сволочи, то от них вся смута. Мои парни давят их и будут давить. Это они, мысляки, вечно недовольны существующим порядком.

— Вы согласны с этой точкой зрения, Джон?

— У меня нет расхождений с генералом, мы достаточно понимаем друг друга. Не надо ждать консолидации всего общества, это химера. Язычники никогда не будут с нами.

Нури взглянул на Нормана. Перед ним сидел, казалось, совсем другой человек, напряженный, с застывшим взглядом серых глаз.

— Старик — это, похоже, репрезентант Суинли,— пробормотал Нури. Норман молча кивнул.

— ... Но где массовость движения? Лишний десяток тысяч хулиганствующих типов, подобных этим, не делают погоды, извините, генерал, за резкость. Движение теряет

смысл. Оно идет на убыль, хоть это вы понимаете? Язычество усиливается, армия Авроры, о действиях которой мы молчим, набирает силы. Мы говорим об интересах текущего дня, они предлагают программу на будущее. Человек не может не думать о будущем, оно в его детях. Мы стимулируем выпуск машин — это для сего дня. Это хорошо, но рынок уже перенасыщен машинами, и призыв владеть машиной, пока она не овладела нами (не спорю, это у вас, Джон, эффектно получается), уже почти не действует. Я спрашиваю себя, я спрашиваю вас, Джон, вас, генерал, и вас, господин Харисидис, есть ли реальные надежды сохранить статус-кво? Или надо признать неизбежность принятия экологической помощи и постепенно готовиться к тому, чтобы войти в новые времена и порядки с наименьшими для нас потерями. В вашем движении, Джон, я искал путь, но не просветил господь слугу своего, и я не вижу, что дальше.

После длинной паузы пророк произносит:

— Диктатура церкви!

И сдавленный полушепот репрезентанта:

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! Вы с ума сошли, Джон. Диктатура церкви! Нам не хватает еще взвалить на церковь ответственность за все, что творится в нашем обществе... Вы задумывались над вопросом, почему за две с лишним тысячи лет церковь пережила и вынесла все — смены формаций, войны и катаклизмы, революции социальные и технические? И уцелела. Все проходило, а церковь стоит. Человечество осваивает новые миры, а церковь стоит! Человек овладевает механизмом наследственности и творит чудеса, о которых молчит Библия, а церковь стоит! Почему? Я отвечу. Потому, что мы всегда стремились к власти над душами,— это самая реальная власть. Опыт церкви показывает, сколь иллюзорна и преходяща власть светская, ведь и она была в наших руках, была и ушла. Но мы есть, ибо за века отшлифовали, довели до высшего совершенства искусство компромисса — уступать, не уступая, уходить, оставаясь. Мы стали мудрыми с мудрецами и кроткими с бедняками, мы покинули ризницы и ушли в народ, мы приняли даже релятивизм и уживаемся с атеизмом.

Я грешен, господа, я поддался соблазну, не разглядев опасности в проповедях отца Джона. Позже я допускал в нечистых помыслах своих, что новая ересь, вера в пришедшего кибера, отвращая от язычества, будет безобидна

для людей и полезна для церкви, как антитеза ее, как убедительная демонстрация еще одного ложного пути, после которого лишь остается вернуться в лоно церкви истинной. Должен был я предвидеть, но не сподобил господь, в какую пропасть ведет этот путь. Сейчас говорю вам: остановитесь! Одно дело удерживать паству от насилия, от стремления изменить порядки и сущности, и совсем другое — диктатура именем церкви, а любая диктатура есть насилие. Зачем вину за насилие брать на себя? Я стар и хотел бы служить добру, но ложен был мой путь, и вижу: я повинен во зле...

Пророк непочтительно перебивает его:

— К чему столько пафоса и эмоций! Диктатура неизбежна, и сие от вас не зависит, у нас просто нет другого выхода: язычество набирает силу, идейная борьба с ним не дает результатов, обстоятельства принуждают нас к насилию. Вы задавали нам вопросы, теперь позвольте вас спросить: а не является ли история церкви историей борьбы с язычеством?

— Вы правы, Джон, вы правы! Борьба с язычеством в чем-то — великий грех монотеизма вообще и христианства в особенности. Господь выделил человека из природы, поставив его над ней. И я, служитель божий, усомнился...

— Зеленый! Язычник!

— Ну-ну, генерал,— голос пророка ласков.— Вы преувеличиваете. Сомнение — простительный грех, и апостолы сомневались... Его преосвященство поначалу внес достойный вклад в наше движение, он стоял у истоков и, как говорит мой кибер Ферро, выполнил предначертание. Теперь мы достаточно сильны... Итак, господа, по общему согласию руководство движением отныне полностью переходит в мои руки.

— Тут неподалеку, на помойке, недавно видели собаку. Я вас покидаю, господа.— В старческом голосе репрезентанта слышится ирония.— Надо съездить, возможно, и мне повезет. А потом пойду... повою.

В этот раз пауза тянется нескончаемо, присутствующим надо время, чтобы прийти в себя от шока.

— Репрезентант не понимает духа времени. Больше прямоты, больше решительности, больше, если дозволено сказать, наглости. Вот чего мы ждем от вас.— Это тоже знакомый по телевидению голос папаши Харисидиса.

— Совершенно с вами согласен,— говорит пророк.

— Лоудмены могут выступить в любой момент,— чеканит генерал.— Покончим с язычниками!

— Да! И, я полагаю, весьма полезным будет, если Джольф-4, чистейший-в-помыслах, нанесет удар по гидропонным предприятиям. В любом случае мы в этом замешаны не будем...

Совещание длилось более двух часов, и постепенно перед Нури и Норманом разворачивалась картина заговора, охватывающего все звенья государственного аппарата.

По мнению пророка, движение достигло своего апогея, когда к нему примкнул отставной генерал Баргис. Генерал привел с собой полтораста тысяч горластых фанатиков тишины и порядка: после ликвидации регулярной армии — вынужденная уступка ассоциированному миру — многие офицеры примкнули к движению генерала. Баргис наладил взаимодействие с полицией, особенно с теми ее формированиями, которые непосредственно вели бои с армией Авроры, нашел общий язык с синдикатом Джольфа и умело пользовался услугами его анатомов. Короче, он взял на себя всю оперативную подготовку переворота, оставив за пророком идеологию.

После того, как господин Харисидис заверил присутствующих, что деятельность штаба встречает понимание в деловых кругах и что премьер-министр, милейший, надо сказать, человек и широких взглядов, полностью в курсе событий, совещание приступило к обсуждению конкретных деталей намечаемого переворота...

Норман дослушал все до конца, вынул из аппарата и спрятал на груди кассету.

— Спасибо, Вальд. Твою услугу переоценить нельзя! Мы еще увидимся,— лицо его было отрешенным и замкнутым.— А сейчас я дожен исчезнуть.

— Что будет, Норман?

— Будет то, что должно быть. Это судороги уходящего. Править по-старому они не в состоянии. Нового принять не могут, в новом для них места нет. В прошлом такая ситуация рождала фашизм. Будет борьба. И знаешь, что в ней самое страшное?— Он помолчал.— То, что мещане тоже люди.

Норман застегнул на груди лямки пояса астронавта и оглянулся в дверях.

— До встречи, друг.

— Тебя убьют, Норман.

— Ну, не сразу.— Норман натянул шлем, улыбнулся.— Я пока еще депутат парламента, а они вынуждены до поры соблюдать приличия. И вообще это не так просто.

В этот день с утра Дин был чем-то озабочен, но нашел время предупредить Олле, что жрец-хранитель ждет их, дабы оказать второй знак доверия. Это высокая честь, и немногие удостоены ее.

До резиденции жреца они добирались на метро с двумя пересадками и в сопровождении группы боевиков. Олле был слишком заметен, и стать его угадывалась под любым гримом. Вообще-то признаков, что за ними охотились, как сказал Дин, не было. То ли Джольфу было не до них, то ли взрыв лимузина на шоссе был достаточно убедительным.

Жрец ждал их в музее тотемов. Он был в своей спецодежде — алой мантии и синей шапке в звездах.

— Наслышан о ваших успехах,— жрец обнял Дина, тепло поздоровался с Олле и повел их по длинному заброшенному тоннелю.

— Второй знак доверия!— Они остановились перед тяжелой двустворчатой дверью, украшенной выпуклым резным изображением львиной головы, покоящейся на когтистой лапе.

Жрец тронул коготь на лапе, и створки разошлись.

Олле не заметил ни высоких сводов украшенного колоннами зала, ни великолепных светильников, неожиданных здесь после мрачных переходов. Олле увидел детей. Это было непривычно. В Джанатии дети не играли на улицах, дети прятались в квартирах и машинах, где можно было дышать. Здесь они стояли молча, и, вслушиваясь в их молчание, Олле вспомнил звонкоголосых подопечных Нури там, в городке ИРП. Он вгляделся в лица с синюшными кругами под глазами и задохнулся от тяжелой злобы, от темного гнева на страшный мир взрослых, в котором если недостает доброты, то разума должно бы хватить для понимания той простой истины, что на нас жизнь не кончается, что дети после нас жить должны. Кошке это понятно, кошка лапой скребет, следит, чтобы после нее на Земле чисто было...

— В музее тотемов вы видели утраченное. Здесь то, что осталось,— звери, сохранившиеся в Джанатии.

К зверям были отнесены мыши домашние, проживающие в ящике со стеклянными стенками, две серые крысы в большой клетке и пара мелких собачек помойной породы. Под потолком чирикали не живущие в клетках воробьи, ковырялись в рассыпанном корме неаккуратные сизые голуби, и в том же вольере сидели хмурые вороны. Был еще

зверь кот, он лежал на подушке и был удобен для обозрений и робких поглаживаний.

Жрец проследил взгляд Олле.

— Это брошенные дети, сейчас многие бросают детей, мы подбираем, кто-то должен думать о будущем. У нас несколько приютов. И даже школы имеются, в метро, вы знаете, можно дышать без маски. Сегодня экскурсия в зверинец — так важно знать, что на Земле человек не одинок, что есть кошки, и вороны, и собаки. Сейчас у нас здесь несколько сотен детей от пяти лет и старше.

Дети, узники неустроенного мира, не смотрели на них, они созерцали животных, группками толпясь у ограждения. Красиво одетые дети с белыми лицами...

Олле словно наступили на сердце. Ему стало стыдно своего здоровья, силы и благополучия, того, что вот он может уйти отсюда в любой момент, вернуться в привычный желанный мир ИРП, расстаться с Джанатией, очнуться от нее, как от дурного сна... А дети? Куда им уйти? А ведь все эти дни были сомнения: не превысил ли полномочий, ввязавшись в драку, нарушив удобный, оправданный высокими соображениями принцип невмешательства...

— Я знаю, гнев ваш праведен и ищет выхода,— жрец смотрел в глаза Олле и тонкими движениями касался его груди у сердца.— Не надо слов, слова придут потом. Я хочу удвоить вашу силу и снять тяжесть с души. В Джанатии мало радости, а человек не может без нее. Примите наш подарок. И мы, кто здесь сейчас, порадуемся с вами... Дин, пусть он войдет!

Он не вошел, он ворвался, лишь только Дин чуть приоткрыл малозаметную дверь.

— Святые дриады,— прошептал Олле, упав на колени и протягивая руки.— Гром! Щеночек мой!

Вечером в штабе были включены все экраны. Диктор известил о чрезвычайном сообщении, с которым выступит премьер-министр.

На экранах премьер хорошо смотрелся: государственный деятель, для которого безопасность государства и благополучие граждан — единственная забота.

Он сказал, что устои шатаются, общество расколото усилиями тех, кто называет себя язычниками. «Язычество — безнадежная попытка пробудить в человечестве давно угасшие атавистические верования, возможно, и оправданные на заре цивилизации. но смешные в наш век

всеобщего прогресса. Не для того человек, венец божественного творения, вырос до царя природы, чтобы в итоге признать себя недостойным лидирующего в ней положения». Догмы язычества, сказал премьер, настолько несерьезны, что оспаривать их бессмысленно. Конечно, в свободной демократической стране, каковой является Джанатия, каждый вправе выбирать себе веру по сердцу и уму. Никто не может сказать, что правительство виновно в гонениях на язычников, в ущемлении их прав, оно всегда было лояльно к верующим. Но лояльны ли язычники к государству, благами которого они пользуются?

Тут премьер сделал паузу, перебирая на столике листы с текстом выступления.

— В язычестве,— продолжал он,— выделилось агрессивное крыло, так называемая армия Авроры. Бандитские формирования этой армии ведут войну против сил порядка. Войну, прямо направленную на подрыв экономики Джанатии. Разрушены многие жизненно необходимые предприятия. Однако правительство, руководствуясь гуманными соображениями, не предпринимало жестких мер против армии Авроры. Мы надеялись, что, поняв бессмысленность диверсионной деятельности, язычество откажется от вооруженной борьбы, переведя ее в плоскость идеологии. К сожалению, эти надежды не оправдались. С прискорбием должен сообщить, что армия Авроры ударила по самой основе жизни — по гидропонным сооружениям.

На экранах возникли развалины гидропонных теплиц, снятые с вертолетов. Панорама производила жуткое впечатление — сплошной хаос пленки, труб и решетчатых конструкций. Потом крупно были показаны рабочие, убирающие лопатами зеленую слизь. Все, что осталось от растений. Показаны погрузочные машины и бульдозеры, работающие в развалинах.

— Граждане Джанатии знают, что в стране нет голодных, что необходимые продукты питания щедротами картеля и банков даются бесплатно и каждый из нас не ведает заботы о хлебе насущном. Мне горько, но я вынужден сообщить, что отныне мы вынуждены ограничить в рационах натуральные продукты. Естественно, на жеватин, как продукт синтетический, ограничения не распространяются...

Премьер еще долго говорил, но его плохо слушали.

— Гнусная провокация!— Дин ударил кулаком по столу.— Я не думал, что они решатся на такое. Мы никогда

не трогаем предприятий пищевой промышленности, и вся страна это знает.

Все подавленно молчали. Потом Олле спросил:

— Вы сказали: «Не думал, что они решатся».

— Это работа Джольфа,— проговорил кто-то из боевиков.

— Ни минуты не сомневаюсь,— кивнул Дин.— Сейчас Баргис бросит на нас своих лоудменов. Генерал жаждет крови. Потом, когда язычество как движение будет уничтожено, они увеличат раздачу пищи, восстановить гидропонные теплицы — не велика задача. Передача власти пророку, выборочный террор против интеллигенции — и все вернется на круги своя, легальная оппозиция им не страшна.

— Надо организовать охрану пищевых предприятий,— сказал бородач, сидевший в углу.

— Это значит подставить под удар наши боевые группы,— возразил Дин.— Объединенным силам полиции, лоудменов и гангстерского синдиката мы противостоять не сможем.

Олле прислушивался к разговору, положив руку на голову пса. Гром с момента встречи не отходил от хозяина, все стараясь заглянуть Олле в глаза. Язычники-хирурги сотворили чудо, вернув пса к жизни. Раны зажили, но выделялись на черной шерсти серыми пятнами, следами стрижки и повязок.

— И еще прошу учесть.— Дин приглушил звук видео,— генерал собирается выкурить нас из метро в ближайшее время. Мне это доподлинно известно.

— Что значит выкурить?

— Пустить ночью в метро хлор. И помешать этому мы не можем, сил не хватит.

— Они же знают, что у нас здесь дети.

— Не обольщайтесь, для них нет запретов. Эвакуацию детей надо начать утром с первыми поездами.

— Эвакуацию?

— Да. На улицы.

— Пойти на ликвидацию приютов?

Вопрос остался без ответа.

— Я вот все слушаю вас, братья-мои-язычники, и не очень приемлю вашу позицию. Детей увести надо, тут спорить не о чем. Но сами-то неужто будем ждать, пока нас обложат со всех сторон? Врагов надо бить поодиночке — это азбука. Я беру на себя Джольфа четвертого и надеюсь,

он станет последним.— Олле потрогал шрам на подбородке.— Мы у него в долгу, а долг платежом красен, не так ли, Гром?

Пес застучал хвостом по столу, оскалился. На него смотрели с опаской: в голове не укладывалось, что этот чудо-зверь вполне ручной.

— Олле прав,— сказал Дин.— Не далее как вчера пророк и генерал обсуждали детали переворота, сейчас события будут развиваться все более быстрыми темпами. И я согласен, надо ударить по притону Джольфа. Действовать крупными силами!

— Не надо крупными,— Олле улыбнулся.— Вы, я и Гром — это уже трое. Еще двух я подберу сам. Главное — внезапность.

Ночью, когда Олле лежал на своей сиротской надувашке, к нему в каморку зашел Дин. Пес разрешил ему потрогать себя.

— Удивительное ощущение касаться собаки,— Дин вздохнул.

— Вы пришли, чтобы сказать мне об этом?

— Я пришел спросить, кто будут эти, четвертый и пятый.

— Один из них тот, кто дал вам пленку с записью совещания у Джольфа.

— Нет! Ему нельзя.

Олле помолчал, осмысливая новость. Нури все можно, значит, пленка не от Нури. Значит, Дин о Нури не знает, значит, Нури сумел связаться с Норманом, которому нельзя, а тот не может не иметь связи с армией Авроры.

— Конечно,— сказал Олле.— Норману Бекету пока нельзя.

Они осторожно поулыбались друг другу. И тени недоверия не было в их улыбках. Просто, будучи человеком сдержанным, Олле ничего не рассказывал ни о Нури, ни о Хогарде. Дин, возглавляя разведку армии Авроры, был профессионально скрытен. Разговор о Нормане развития не получил, Олле только заверил Дина, что он разочарован не будет.

Нури предчувствовал наступление перемен в своей жизни, он все чего-то ждал, полагая свою миссию выполненной. Он сделал все, что мог, и надеялся, что это понимает Норман, который больше не подавал о себе вестей. Ежедневные разговоры с Хогардом становились все короче. Хогард сообщал, что в воздухе носится что-то неопределенное и все ждут перемен к худшему, видимо, подготов-

ка к перевороту заканчивается. Положение становится все более напряженным. После уничтожения гидропонных теплиц, а уже известно, что это дело рук Джольфа, на следующий же день боевики армии Авроры захватили городскую подстанцию и удерживали ее более часа, на это время столица была оставлена без энергии. Что творилось в городе, представить немыслимо. Почти все смельчаки погибли, но армия Авроры получила возможность заявить, что более не потерпит провокаций, от кого бы они ни исходили. И пусть подземелье оставят в покое. Правительство вынуждено было дать обещание.

Хогард настоятельно советовал сидеть спокойно и ждать. И поддерживать связь с кибером Ферро, вдруг еще что-нибудь ценное будет. Нури поддерживал, копил текущие сведения о деятельности пророка на случай возможной связи с Норманом. А в сумерки он шел к язычникам на берег реки. Уступая давнишнему своему желанию разобраться в сути язычества, он подсаживался неподалеку от молящихся, слушал реквиемы. Скорбные мелодии, утихая в одном месте, возникали дальше, и эта печальная эстафета заканчивалась лишь после полуночи. Река мерцала в ночи длинными неясными огнями, на горизонте светился воздух над бесконечным мегалополисом. И вспыхивали в небе рисуемые лучами лазеров на аэрозольных туманах изречения пророка, рекламы, призывы и лозунги. Этот ночной пейзаж и мелодии порождали в воображении Нури странные образы, гнетущее ощущение полного отрыва от природы. Для него близким и привычным был голос леса, и потому здесь, на зловонном берегу, будни ИРП вспоминались как ослепительное, невозможное счастье. И Нури тихо рычал сквозь зубы от ярости и жалости, разглядывая бездомных бедолаг-язычников, коротающих время вокруг фонаря. К нему привыкли, к этому обеспеченному из коттеджа, который, не скупясь, жертвовал на инвентарь для чистильщиков, на кислород для умирающих, на одежду для нуждающихся.

Вообще появление на берегу жителей загородных коттеджей было привычным для бездомных. Обеспеченные «приходили повыть», давали деньги и старались уйти незамеченными до появления приемышей, собирающих в пользу Джольфа-4 ночную мзду за право ночлега и жизни. И беда тем, кому нечем было откупиться. Нури даже ожидали на его привычном месте, туда, где он был, сборщики-приемыши приближаться избегали.

После молитв, если ветер был с моря, с Нури подолгу беседовали наставники, удивляясь наивности и любознательности неофита. Наставники менялись, странные люди с лицами бродяг и повадками интеллигентов. Если ветер дул с моря, можно было дышать без маски и язычники говорили и говорили. А Нури жадно слушал, чтобы новые слова заполнили пустоту в сердце и чтобы побороть, приглушить отчаяние, найти в словах прибежище душе. Человек, живущий на помойке и видящий вокруг только кучи мусора, кучи мусора и помойку, не может остаться нормальным — человек не создан, чтобы жить на помойке. И язычество в Джанатии, думал Нури, способ сохнанить себя, надежда увидеть свет.

— Язычество нельзя назвать религией, как это принято понимать,— говорил самый старый из наставников.— Язычество — это система этических представлений, определяющих отношение человека к миру, к среде обитания. Говорят, язычество порождено беспомощностью древних перед силами природы. Мы придерживаемся иной точки зрения. Корни язычества — в понимании человеком собственного всесилия. И разнуздай он свои силы — ничего живого в мире не останется. Это понимание было интуитивно присуще предкам, и они воплощали его в запреты. Ярчайший пример тому — тотемизм. Если угодно, назовите его культом, верой, заблуждением, а только прикладное значение тотемизма переоценить невозможно. Объявление того или иного животного запретным для охоты способствовало сохранению данной популяции. Каждое племя имело свой тотем, и тем самым каждому виду животных давались шансы на выживание. Монотеизм снял все запреты. Помните библейское: «Размножайтесь, наполняйте Землю, обладайте ею и владычествуйте над всеми животными и над всею Землею». За каких-то триста лет, ничтожно малый промежуток времени в истории не Земли, нет, в истории человечества, освобожденный от ограничений человек, владыка, покончил с животным миром на планете. Охота — убийство вынужденное, когда охотой жили,— из источника существования превратилась в развлечение. Риск, которому подвергал себя древний охотник, исчез. Безнаказанное убийство было объявлено благородным занятием. Тотемизм ушел из жизни людей. Сейчас это только символ, тень прошедшего.

Нури слушал и думал, что неистребима память человеческая, как неистребимо стремление к чистоте. И не мог понять, как эти замордованные бедолаги, не имеющие

угла, чтобы приклонить голову, ночующие в мусорных кучах на берегу умерщвленной реки, умудрились сохранить в себе знание, находят в себе силы мечтать о будущем, силы противостоять. В себе, только в себе, ибо в сегодняшней Джанатии все враждебно разуму и человеку и негде ему больше черпать силы для надежд...

Из темноты выступил некто дергающийся.

— Можно киберу к фонарику?

— Посиди с нами, устал, наверное? — сказал старый наставник и шепотом пояснил Нури: — Местный дурачок. Сейчас много таких, роботам подражают.

И тут повел речь второй наставник.

— О крайностях хочу сказать. В любой религии крайности порождают фанатизм, а фанатизм требует крови. Нужны ли примеры: еще недавно велись религиозные войны, я не говорю о средневековье. А в язычестве крайности вылились в анимизм, первоисточник сказки и поэзии. Анимизм, кстати, присущ детям, убежденным, что звери разговаривают... А вот и Эльта. Ты пришла, Эльта? Спой нам. Золотые строки спой. Человек интересуется, хороший человек. Спой ему, жрица.

Нури не увидел в сумерках ее лица. Хрустальный, прозрачный альт сформировал сначала мелодию. А потом на мелодию легли слова.

Ты мыслишь, человек. Но разве одному
тебе присуща мысль? Она во всем таится...
И пусть для чувств твоих неведома граница,
твои желания Вселенной ни к чему.
    Рассудок у зверей не погружен во тьму.
    Есть у цветов душа, готовая раскрыться.
    В металле тайна спит и хочет пробудиться.
    Все в мире чувствует. Подвластен ты всему!
Слепой стены страшись, ее косого взгляда.
Есть дух в материи: не заставляй его
кощунственно служить тому, чему не надо.
    В немых созданиях укрылось божество.
    И как под веком глаз, чье близится рожденье,
    Так чистый разум скрыт и в камне, и в растенье *.

Слова прошли, мелодия догорела не сразу.

Нури молчал. Вселенский смысл гимна анимистов, который весь — стремление к гармонии, только подчеркивал непреходящий ужас того, что человек сотворил с домом своим.

---

[1] Эти стихи написал современник Пушкина француз Жерар де Нерваль (1808—1855). Провидец!

Нури очнулся от раздумий: браслет Амитабха на левом запястье упруго сжимался, требуя внимания. Внеурочный вызов?! Нури незаметно удалился, и никто не обратил внимания, здесь каждый приходил и уходил, когда хотел. Нури поднял руку: на экранчике светились позывные Олле...

Полицейский бронетранспортер был грозен — водяная пушка, пулемет с запасом магазинов, катапульта-гранатомет. Техники-язычники вместе с Нури многое в нем усовершенствовали. Фильтр снизу гнал столь мощные потоки очищенного воздуха, что даже в открытой кабине можно было обходиться без масок. Вооруженные силы министерства всеобщего успокоения располагали добротной техникой подавления.

Водитель гнал машину, преданно поглядывая на веселого Олле и его гигантского пса.

— Ну что, сержант? — Олле положил руку водителю на плечо.— Ударим по этой сволочи? Не боишься?

— С вами нет, генерал!

— И правильно. Пока мы живы — смерти нет. Помрем — нас не будет. Только не генерал я. Рядовой.

— Генерал.

Дин засмеялся.

— А что, Олле. Был же у гладиаторов Спартак-император.

Бронемашину то и дело обгоняли авто. Судя по эмблемам, это были в основном агнцы божьи. Пророк устраивал очередное действо где-то на окраине. За городом, который, казалось, не имеет конца, посветлело. Осталось позади безнадежное «Перемен к лучшему не бывает!». Этот излюбленный лозунг официальной пропаганды малиново светился на черном облаке, образованном над ближними теплицами. На обочинах, устраиваясь на ночлег, копошились бездомные, использованные респираторы и пластиковые коробки от бесплатного вечернего рациона аккуратной лентой были уложены по обе стороны магистрали, в стороне от проезжей части. Граждане Джанатии, те, что на обочинах, трогательно заботились о чистоте своего отечества.

Полицейские посты пропускали машину беспрепятственно, патрульные вертолеты пролетали не задерживаясь: бортовой компьютер обеспечивал соответствующий отклик на запросы. По мере удаления от города исчезли бездомные,

контроль над магистралью слабел. Мутный солнечный диск был почти у горизонта, когда километрах в двадцати от резиденции Джольфа-4 они свернули в развалины. Здесь был замаскирован орнитоплан Олле. На сиденье его угнездился Нури, положил на колени сверток. Он поднял машину в воздух, сделал круг.

— Как это принято говорить: все, братья-мои-язычники, я пошел.

С земли ему сотрясающим лаем ответил Гром.

— Теперь гони! — сказал водителю Олле.— Мы в пределах досягаемости радаров, и охрана сейчас увидит нас. И пусть видит, скоро мы исчезнем.

Пустынное в это время шоссе после суеты городских окраин смотрелось непривычно. Кое-где попадались заброшенные многоэтажки, вода давно уже подавалась только в городские дома, в городе же были сосредоточены и основные перерабатывающие предприятия: скученность и теснота в Джанатии считались экономически оправданными. Безлюдье и заброшенность были бы даже приятны Олле, но пейзаж портили необозримые свалки.

— Они станут многолетними источниками сырья, когда мы получим от вас безотходную технологию и бесплатную энергию.

— Как вы сказали, Дин?

— От вас, я сказал. От вас... генерал, иначе зачем вы здесь?

Олле смотрел на дорогу, ту самую, по которой они с Дином несколько месяцев назад (черт, как бежит время) мчались в лимузине Джольфа, отличная была машина, а дорога сейчас совсем по-другому смотрится.

— Нури говорит, мы не должны вмешиваться.

— А дети? — скрипучим голосом сказал Дин.

Олле молчал.

— А отравленная вода? А дышать людям нечем?

Олле молчал.

— Вы не смогли удержаться. И Нури не смог, я же вижу. Да и кто сможет пройти мимо, если ребенка убивают. В этом случае нет и не может быть оправдания невмешательству. Невмешательство вообще выдуманная античеловечная, антигуманная позиция. Накорми голодного, помоги болящему, напои жаждущего, будь милосерд — в этом основа жизни.

— Я в километре от цели,— голос Нури был деловит и спокоен.— Тут освещенная аллея и хорошо просматри-

вается полянка, полагаю, та, где расстреливали пони. Здесь и приземлюсь. Работайте. Сейчас будет много крику.

Экран локатора покрылся рябью, водитель потянулся к верньеру.

— Забудьте про автоматику, сержант.— Дин натянул шлем. То же сделали остальные. Олле посадил перед собой пса и зажал его голову между своими коленями. Они на полном ходу приближались к ребристому участку дороги, охраняемому дюжими приемышами. Олле посмотрел на часы, все шло минута в минуту, как и было рассчитано.

Завидев полицейскую машину, один из приемышей, сняв маску, вышел на середину шоссе и картинно застыл, улыбаясь. Второй, сидевший за панелью боевого лучемета, тоже встал.

И в это мгновение Дин включил сирену. Это был не тот инфразвук, которым пользовалась полиция в городских условиях, чтобы страху нагнать. Многократно усиленный, об этом Нури позаботился заблаговременно, он сминающим ужасом словно сдул приемышей с дороги. Вмонтированные в шлемы поглотители низкой частоты смягчили удар инфразвука для сидящих в машине, но Олле ощутил, как вздрогнул и ощетинился Гром, услышал его вой и еще сильнее сжал голову собаки. Десять секунд работы сирены казались нескончаемыми.

— Страшное оружие,— сказал Дин, когда сирена смолкла. Обезумевшие приемыши успешно преодолевали кучи мусора, не сбавляя темпов на подъемах.— Жаль только, поражает и своих.

Гром вздрагивал под рукой, прижимаясь к Олле. Страх отпускал его не сразу, и пес нервно встряхивался.

— Полагаю, там, у Джольфа, сейчас тихая паника. Весь технический персонал занят поисками причин выхода электроники из строя. И нас они потеряли из виду.

У знакомых ворот резиденции Джольфа сержант остановил машину, вышел, закричал:

— Два офицера охраны премьера с визитом к чистейшему-в-помыслах по конфиденциальному делу!

Ему долго никто не отвечал, потом на башне между зубцов выглянул страж.

— Два офицера...

— Слышу, чего орать. Ворота все равно не работают, автоматика сломалась.

— Открой малую дверь.

— Шеф ждет вас?

— Не ждет,— машинально сказал правду сержант.

— Тогда пойду позвоню.— Страж исчез. Сержант оглянулся на Дина и забарабанил кулаком в малую дверь.

— Пойдем,— сказал Олле.— Пока крикун действует.

Крикун — результат технической изощренности кибернетика Нури, или, как он сам говорил по этому поводу, технической извращенности,— невероятно мощный генератор радиопомех. Раз включенный, он работал примерно час, пока длилась химическая реакция в недрах его. В радиусе километра все электронное оборудование на время действия крикуна выходит из строя — так утверждал Нури, и он не ошибся: электронная защита резиденции Джольфа-4 и внутренняя связь были парализованы, лазерные пушки обездвижены, на экранах локаторов и инфракрасных приборов ночного видения изображения потеряли смысл...

Нетерпеливый Олле пустил в ход катапульту и вышиб дверь гранатой. Они с Дином ворвались в тамбур. Страж стоял с аппаратом связи в руках, видимо, безуспешно пытаясь соединиться. Он смотрел мимо них и медленно бледнел — он увидел Грома.

— Сержант, работайте.

— Руки назад! — Сержант неведомо откуда извлек наручники, поманил к себе стража, тот повиновался. Сержант надел браслет ему на руку.— Садись сюда.— Он пропустил цепочку через дверную ручку и защелкнул браслет наручников на второй руке. Страж оказался прикованным к тяжелой двери.

— Готово, генерал!

— Сержант, спросите, сколько их здесь?

Страж молчал. Дин подошел поближе.

— Если вы не будете отвечать на наши вопросы, то я попрошу собаку, чтобы она укусила вас.

Гром оскалился. Смертоубийственная гримаса, жуткие клыки на черной морде...

— Сами шеф, анатомы, пять или шесть подручных,— как в бреду зачастил охранник.— Один приемыш, он в диспетчерской. Прислуга инженерного обеспечения, дежурные на кислородном заводе. Я точно не знаю...

— Не разбираюсь я, генерал, в этой бандитской иерархии,— сказал сержант.— Извините.

Олле, поднаторевший в этих вещах за время службы у Джольфа, разъяснил:

— Анатом — из персональной охраны, палач. Подручные — кандидаты в анатомы, нечто вроде личной гвардии.

Функционеры интеллигенты (представляют чистейшего-в-помыслах в официальных органах) малочисленны. Техники и прислуга — инертная масса, ни во что не вмешиваются.

— Приемыш?

— Начинающий гангстер. Опасен, выслуживается. Что там считать. Сколько есть, все наши будут.

В диспетчерской техники возились с аппаратурой. За пультом скучал приемыш. Сержант поманил его пальцем: иди сюда на пару слов. Никто из техников даже не поднял головы... Увидев в коридоре пса, приемыш молча протянул руки. Приковать его к ручке двери и заклеить рот пластырем было делом одной минуты. У приемыша были очень выразительные глаза, и взор его говорил, что умирать он, ну, никак не хочет, а хочет, наоборот, жить.

На этом эффект внезапности исчерпал себя. Едва они вышли в парк, молодой приемыш, идущий по открытой галерее в диспетчерскую, глянул вниз и узнал Олле. Он молча кинулся обратно. Догнать его было невозможно, и Дин выстрелил навскидку. Пластиковая пуля шлепнула приемыша ниже спины, он дико взвизгнул и скрылся.

— Сейчас за нами устроят охоту,— виновато сказал Дин.

— Кто за кем,— пожал плечами Олле.— Не убивать же тебе было мальчишку.

Они почти бегом двинулись через темный парк, миновали поляну с орнитопланом на ней, и первое, что увидели,— подручного, прикованного наручниками к решетке конуса кислородного терминала. Подручный довольно громко мычал через нос, поскольку рот его был заклеен лентой. Пиджак его был разорван, болтались ремешки от выдранной кобуры. Олле, замедлив шаг, обозрел его.

— Не понимаю,— сказал он.— Я точно знаю, что у Нури не могло быть с собой наручников.

Далее, на знакомой аллее, обняв руками дерево, стоял еще один подручный, руки его были скованы по ту сторону ствола. Рядом, закатив глаза, валялся третий. Из носа его текла кровь, глаз заплывал синяком.

— Святые дриады! — воскликнул Олле.— У меня в помыслах личные счеты с чистейшим-в-помыслах. Я бы не хотел, чтобы Нури, не к ночи будь сказано, дорвался до него раньше меня.

— Там еще один, и больше мне не встретилось.— Нури сидел неподалеку на длинной скамейке и гладил

Грома, пистолеты лежали по обе стороны от него.— Я жду вас уже четверть часа. Дышите глубже, какой здесь воздух! И бабочки под фонарями. О Мардук, Перун, Озирис, сколько нескончаемых дней я был лишен этой радости! — И без перехода добавил: — Надо думать, мы уже обнаружены?

Служебное здание, где когда-то допрашивали Олле, было пусто. Они пробежали по нему, не зажигая света, и Гром ни разу не дал понять, что за очередными дверями могут быть люди.

Громада дворца — они приблизились к нему короткими перебежками — постепенно обретала детали, и в предрассветной серости словно угадывалась рельефность фризов. Ни полоски света, ни звука. Но когда на фоне черной листвы живой изгороди возник силуэт фантома, от колонн прозвенела автоматная очередь, а в стороне еще одна. Дин убрал фантом-силуэты.

— Этих я сейчас,— сказал Олле.— Ваша забота вовремя включить проектор, когда анатом заорет.

Олле и пес неслышно слились с кустами, а Дин прижал к щеке прицел проектора. Услышав, как в напряженной тишине внезапно рыкнул Гром и по-дурному возопил анатом, Дин повел раструбом проектора, в невидимом ультрафиолетовом луче вспыхнул белым светом синтетический костюм дергающегося анатома, два выстрела Олле слились в один — и сразу топот и звук захлопнувшейся двери.

Олле и пес вычленились из темноты. Рядом стонал анатом, руки его болтались.

— Второй успел удрать. Сейчас они будут бросать гранаты.— И сразу частые взрывы окутали ступени дворца. Их оранжевые вспышки на короткие мгновения высвечивали основания рифленых колонн.

— Феерическое зрелище,— сказал Дин.— Но с этим что делать? Зачем ты его вообще сюда притащил?

— Он сам. Понимает. Сейчас от него там, на ступенях, и пепла бы не осталось. Пусть убирается куда хочет, я ему предплечья отшиб. И нервное потрясение: Гром рявкнул над ухом.

— Конченый человек.

— Все в порядке,— сказал Нури.— Ползем дальше.

Теперь, когда темп был потерян, штурм главного входа не имел смысла. Оставив безразличного ко всему анатома, они кинулись к ближайшему служебному входу,

одному из многих. Такие входы охранялись системой «ухо-глаз». По сути, это была не охрана, а контроль, бессмысленный в повседневном обиходе. Джольф-4, как и предшествующие ему Джольфы, в деле охраны резиденции почти полностью полагался на автоматику. Идея крикуна в среде джанатийских электронщиков даже не обсуждалась, как теоретически невозможная. Парализованная крикуном автоматика лишила Джольфа-4 привычной защиты, блокировка входов не работала. Вход оказался открытым, коридор-тоннель — пустым, и только вскрикнул кто-то в боковом ответвлении, когда они бежали по длинному и плохо освещенному тоннелю. Несколько переходов и лестничных маршей — дорога, знакомая Дину и Олле,— вывели их в вестибюль, от которого начиналась парадная часть дворца. Из-за узорчатых дверей доносились взрывы гранат.

— Нури, уйми идиота, имущество портит,— Олле кивнул на узкую лестницу, и Нури взбежал по ней. Здесь, внутри балочного перекрытия, подпираемого колоннами главного входа, было помещение с телеаппаратурой. Камеры через люки смотрели в парк и вниз, на ступени входа.

Идиот был не один. Второй сидел рядом на опрокинутом ящике. Они непрерывно доставали из ящиков небольшие, с куриное яйцо, гранаты и опускали их в отверстия люков. Нури подивился неисчерпаемости запаса гранат. В помещении сладко пахло эйфоритом.

— Ладно, парни, кончайте! — Подручные повернули головы. Одинаковые лица, и у каждого во рту слюнявая сигарета.— Внизу давно никого нет. Так что давайте лапы кверху и — к стене!

Подручные посмотрели на пистолеты в руках Нури и одинаковыми движениями потянулись к кобурам. Их затуманенные эйфоритом мозги действовали медленно, но сработал условный рефлекс: стреляй!

Нури выстрелил по кобурам с обеих рук.

— Я же прошу, к стене!

Страшное дело одурманенный наркотиком дурак. Обезоруженные, они кинулись на него одновременно, и Нури едва успел бросить пистолеты — стрелять в людей он не научился — и принять второго на удар. От первого он отклонился, и тот по инерции скатился вниз и остался лежать недвижим. Гром обнюхал его, поморщился и отошел. На морде его было написано недоумение.

Второй, сопящий и мокрый, навалился на Нури и словно прилип к нему, не давая возможности действовать

Нури несколько секунд возился с ним, пока не удалось вырваться и провести прием. Подручный загремел по лестнице. Этот прием не числился в учебниках, но Нури почувствовал удовлетворение достигнутым результатом.

— Семь и восемь,— сосчитал сержант, связывая подручных спина к спине.

— Не нравится мне это! — Олле следил, как Гром обнюхивал двери служебных входов в вестибюле.— Так мы до морковкина заговенья провозимся. Где все? Чтоб разом.

— Здесь, внутри замка, организованного сопротивления не будет.— Дин набивал карманы гранатами, Нури приволок сверху целый ящик.— Убийство, поджог — в этом они доки, но сражаться не умеют и серьезного сопротивления своим злодействам не выносят. Защита у Джольфа наружная и, по сути, от своих, больше ему никто не угрожает.

Они кинулись через анфиладу парадных комнат. С той стороны овального зала разом загремели несколько автоматов, и сержант, вбежавший первым, упал. Дин из-за колонны швырнул раз за разом несколько гранат.

— Даешь чистейшего! — Олле броском пересек зал. На цветном паркете валялся покалеченный взрывом подручный, второй, поникнув головой, обнимал мраморную Венеру.— Где Джольф? — Олле схватил его за подбородок, повернул к себе, подручный закатил глаза. Олле услышал убегающие шаги, зарычал: «Вперед, Гром!»

Два анатома бежали по переходу, ведущему в покои Джольфа мимо литых скульптур «Спазм», уродующих эстетику голых стен. Олле и пес догоняли их с устрашающим ревом и выстрелами. Знакомая двустворчатая дверь в приемную перед кабинетом Джольфа, пропустив анатомов, не успела закрыться, и Олле и Гром ворвались в приемную буквально на плечах беглецов. Их уже ждали.

В учебном бою нинзя Олле в броске поражал три точки одновременно. Здесь он превзошел себя, и первые от дверей четыре анатома были выведены из строя за то самое мгновение, которого им не хватило для выстрела. Никто из них не успел упасть, когда Олле, стреляя с обеих рук, обезоружил еще двоих. Он очень спешил, он боялся, что начнут стрелять в собаку... С восторженным ревом Гром опрокинул того, что бежал последним, и завертелся по комнате черным вихрем, предупреждая даже попытку двинуться.

Олле отбросил разряженные пистолеты, коснулся ботинком лежащего начальника охраны.

— Ты сам встанешь, Эдвард? Или хочешь, чтобы мой пес помог тебе?

Анатом, гора мышц, поднялся с неожиданной легкостью. Удар Олле, нокаутирующий других, не имел для него серьезных последствий, хотя и сбил с ног. Он стоял пригнувшись, но и при этом был под два метра. Кожа на его голове двигалась вместе с волосами. Олле тронул шрам на подбородке, усмехнулся:

— Положишь меня, уйдешь живым. Гром, не вмешиваться, следить.

Анатом рванулся, не дожидаясь конца фразы. Его кулак-гиря бил в лицо Олле. Чтобы убить. И прошел рядом, почти коснувшись скулы. Гигант пролетел мимо и рухнул боком на пол, сбитый ударами в колено спереди и в шею под ушами, нанесенными странным образом сзади.

— Это тебе не связанного казнить, палач!

Анатом захрипел и, вывернувшись, лежа метнул нож. Олле вроде не двинулся: тяжелый нож прошелестел возле уха и вонзился в дубовую створку двери на половину лезвия.

— Святые дриады, чего я не могу, так это бить лежачего!

Гром заскулил, пытаясь поймать взгляд Олле: можно?

— Следи,— крикнул Олле.

Он был весь в азарте боя. По своему характеру Олле в принципе не способен был причинять боль даже тем животным, которых отлавливал для ИРП, но сейчас ощущал чувство мести, и оно не казалось ему противоречащим морали. Он бил воплощенное зло, ибо что значит гангстер Джольф без анатома Эдварда? В свите чистейшего-в-помыслах анатом потому и назывался так, что владел методами причинения страдания, знал, куда давить, чтобы жертва была на пределе потери сознания от болевого шока, знал, куда бить, чтобы выключить сознание на время или навсегда.

— Один раз достать! — поднимаясь, Эдвард затряс головой, глаза его утонули в нависших веках.

— Давай! У тебя фэйс еще не тронут.

Олле уклонился от кулака, сделал шаг навстречу и неуловимым для глаз ударом ороговевшей ладони снизу рассек анатому подбородок. Он двигался втрое быстрее

Эдварда, массивное тело охранника моментами казалось ему почти неподвижным.

Нури возник в дверях, стряхивая с себя штукатурку. Он охватил взглядом поле сражения и остался доволен: именно в этот момент Эдвард, помраченно мигая, рухнул, сотрясая мебель.

— Сержант надолго вышел из строя, отличный парень! — переступая через лежащих и стонущих, Нури подошел к двери в кабинет Джольфа, надавил, потрогал ручку: — Надо взрывать.

— Обойдемся.

Олле приволок «Спазм», центнер чугунной отливки, не имеющей художественной ценности.

— Я только теперь понял, зачем она нужна.— Олле, держа «Спазм» под мышкой, разбежался и трахнул по замку. Двери распахнулись.

Кабинет Джольфа был пуст. Пусто было и в прилегающих покоях. Олле откинул занавес, скрывающий двери лифта, послал вызов, услышал глухой взрыв вверху и шум падения кабины.

— У него на крыше всегда дежурит вертолет с пилотом. Ну, да никуда он не денется — автоматика-то не работает.

— Уйдет он, Олле! Крикун уже иссяк.

— Иссяк?! У Джольфа на побережье запасное убежище. Если он уйдет, наша диверсия потеряет смысл...

Последнюю фразу Олле произнес уже на бегу. Он несся громадными прыжками, хватаясь на поворотах за стены и колонны, несся в парк, где на поляне лежал орнитоплан.

— Бесполезно! — Нури подбежал, когда Олле уже был в седле, и помог ему застегнуть браслеты.— Против вертолета эта птица бессильна. Жаль, не предвидели, его б ракетой...

Аппарат задрожал, ему передавалось состояние пилота. Олле спрятал ладони в оперении, поднял оба крыла вверх, и они сомкнулись у него над головой.

— Святые дриады, если не я, то кто! — В два взмаха он взметнул машину в воздух. Завыл, захлебнулся воем Гром. Сверху донесся крик Олле:

— Утешься, Гром, малыш. Пока мы живы, смерти нет!

Олле набирал высоту, усиливая взмахи своей силой, и она казалась ему неисчерпаемой: выше, выше! Вертолет он увидел неожиданно метрах в двухстах ниже себя.

Джольф шел в сторону океана. Олле забирался все выше, понимая, что его вот-вот заметят, ибо заря высветила его первыми лучами. Встречный бриз от океана замедлял скорость, но облегчал подъем. Олле следовал за вертолетом вдоль побережья, угадываемого по белеющей полосе прибоя. Дворец Джольфа и здание кислородного завода скрылись за горизонтом. Олле еще не знал, что он будет делать, его спортивно-прогулочный аппарат имел сугубо мирное назначение и ни в коей мере не был приспособлен к драке. Слегка снижаясь, Олле перешел в горизонтальный полет, он легко следовал за вертолетом параллельным курсом. И его заметили.

Вертолет завис и стал набирать высоту, его сферическая пластиковая кабина повернулась вертикальной прорезью к Олле, и ствол пулемета в ней, тонкий и длинный, задвигался. Пока что Олле был под защитой мерцающего диска винта, но при первой возможности, вот сейчас, Джольф срежет его пулеметной очередью или изрубит... Олле планировал точно над винтом, вертолет приближался с устрашающей быстротой. До смертоносного диска оставалось двадцать, потом десять метров. Страха не было, была уверенность, что Джольф не уйдет.

— Пока мы живы... Вспомни убиенных экологов, Джольф!

Олле привстал на сиденье орнитоплана, застонав от страшной боли, вырвал из крыльев обе руки вместе с браслетами и приросшими к ним синтемышцами и толчком выбросил себя из аппарата. В каком-то сумасшедшем движении он еще успел заметить, как рухнул сверху аппарат, ломая лопасти вертолета, и как мгновенно синей радугой разлетелись брызги подкрашенной глюкозы — голубой крови его чудесной птицы. Олле весь сосредоточился на одной мысли: войти в воду вертикально, ногами вниз. И это ему удалось. Опускаясь в черную глубину, он видел, как неподалеку, быстро теряя очертания, погружался вертолет.

Олле вынырнул, работая ногами, рвущая боль в предплечьях и запястьях не хотела уходить. Он видел — руки у него целы, знал, что боль — это реакция на разрушение крыльев, ведь аппарат на время полета включался в нервную систему пилота. Но боль обездвижила руки, и Олле не мог даже сбросить браслеты. Он лег на спину, качаясь на малой волне, берег скрывался в туманной дымке, спешить было некуда.

Океан дышал, как живое существо, безмолвное в этом прохладном утре. Семья чистильщиков просыпалась на берегу от утренней росы. Люди вылезали из своих тележек, выпускали воздух из матрасов и, зябко ежась, брели к воде сполоснуть лица. Рокот донесся сверху, и они увидели над океаном черный вертолет и большую птицу над ним, розовую в первых лучах, еще не коснувшихся воды и берега. Они видели, как, сложив крылья, птица сверху ударила по вертолету и сломала ему винт, и вертолет, нелепо махая уцелевшей лопастью, рухнул в океан.

Чистильщики переглянулись и увели свои тележки с пляжа подальше в дюны. Мало ли что может случиться: приедут на ревущих машинах, схватят, станут задавать вопросы, угрожать, гнать от берега. Чистильщика всякий обидеть может.

Они видели, как из воды выполз на коленях странный человек, длинные руки его неподвижно висели. Выполз и остался лежать вниз лицом на мокром песке. Они смотрели и тихо советовались: подойти, помочь? Боязно, конечно, но ведь человек...

И внезапно от прибрежных валунов возник огромный черный зверь. Он двигался прыжками на толстых лапах и шумно дышал, вывалив красный язык. Зверь подбежал к лежащему, засуетился, заныл тонко. Человек поднялся на колени, потом на ноги, и они ушли в дюны, человек и зверь.

Нури достал гостевой билет — результат невероятных усилий Хогарда. Билет был заодно и пропуском в столицу: все магистрали были перекрыты отрядами лоудменов, их черные машины образовывали непроницаемые дорожные пробки.

Нури спешил. Норман не выходил на связь уже вторую неделю, Олле тоже не давал о себе знать, накопилась целая коробка кассет с записями. Нури подчинился тогда решению штаба армии Авроры остаться на связи с Ферро, но сейчас это решение казалось ему неоправданным, а привлечение его к диверсии против Джольфа смотрелось как некая уступка его темпераменту. И сразу же после завершения операции он был вынужден вернуться к себе.

Пророк Джон, как узнал Нури из сообщения кибера Ферро, закончил подготовку к перевороту и не сомневался в успехе. Это ощущалось и в наглой самоуверенности

агнцев божьих, проверявших документы на дорогах, и в безлюдности притихших городков, мимо которых мчался лимузин Нури, и в той лихорадочной спешке, с которой правительство издавало законы. Закон об организации приходов на предприятиях взамен профсоюзов — в каждом священник и кибер-секретарь; закон о принятии присяги на верность фирме; закон, объявляющий язычество ересью, караемой заключением на срок, достаточный для обращения в веру истинную. Правительство объявило было, что замурует бездействующие линии метро, но решение это после эпизода с отключением электроэнергии пришлось отменить. Это доказывало, что армия Авроры превратилась в силу, способную ограничивать произвол власть имущих. После захвата резиденции Джольфа и одновременных ударов по местным филиалам гангстерский синдикат потерял значение как сила, противостоящая язычеству. Во всяком случае, Джольф-5 на смену четвертому не появился.

Миновав последний пикет лоудменов у въезда в столицу, Нури переключил машину на ручное управление и по вымершим гулким ущельям улиц двинулся к «Фениксу», надеясь застать там Нормана Бекета и отдать наконец ему пакет с пленками. Небольшая площадь перед зданием редакции журнала была заполнена толпой. Желтые агнцы вперемежку с голубыми лоудменами угрожающе орали, размахивая лучевыми пистолетами.

Нури вышел из машины, на него никто не обратил внимания. Но когда он пытался пробраться через толпу к входу в здание, колоссальный, трехметрового роста, кибер, по-видимому основной здесь распорядитель, прогудел что-то теснящимся рядом с ним лоудменам, и Нури был схвачен и вышвырнут на узкую панель. Напрасно он размахивал пропуском и пытался что-то доказать. Толпе было не до него. Дожили, черт возьми, шахтный кибер, даже не требующий психоналадки, примитивный, как арифмометр, командует людьми!

Встав на сиденье своей машины, Нури увидел, как десяток агнцев били ногами в двери редакции. И тут взвыла сирена. На площадь выкатился сферический низкий танк и завис на воздушной подушке. Через минуту площадь была пуста, агнцы и лоудмены отхлынули в прилегающие улицы. И тогда из танка вырвался слепящий белый луч и неровным зигзагом пробежал по фасаду здания. Послышался треск, и в то же мгновение, словно облитое напалмом, здание вспыхнуло. Танк ворочался на

площади, белая нить луча связывала его с горящим домом, и Нури, чувствуя опаляющий жар, тупо думал, что незачем тратить энергию, если дом и так горит, и что, видимо, экипаж танка сейчас дышит эйфоритом. А потом над танком, на уровне пятого этажа, завис в воздухе неведомо откуда взявшийся Норман, опоясанный бледным сиянием. Он швырнул в танк какой-то цилиндр и тут же исчез в клубах дыма.

Взрывная волна сбила Нури с ног, он на коленях вполз в машину, поднял ее над дорогой. Танка на площади не было, вообще ничего не было, кроме мечущегося адского пламени.

Проехав несколько кварталов, Нури остановил машину, привел себя в порядок. Что же с Норманом? За Олле он сейчас не так тревожился, тот — с армией Авроры... Итак, пленки передать не удалось, а теперь это вообще не имело смысла, наверное, переворот уже начался, оставалось действовать самому. Нури направил машину к центру. Он еще надеялся попасть к открытию заседания парламента, но надежда эта почти угасла у первого виадука: на проезжей части перекатывались циклопические полусферы танков и маячили патрульные лоудмены.

Нури отвел машину назад и нашел стоянку неподалеку от входа в метро. Он протиснулся через молчаливую, колышущуюся у эскалаторов толпу, слабо удивился: улицы пусты, а здесь, под землей, не протолкнуться. Ленты двигались почти пустые, к центру с окраин никого не пропускали. Густая цепь агнцев божьих под командой киберов сдерживала толпу. Нури, размахивая пропуском, пролез-таки к старшему киберу — его можно было узнать по эмблеме атома, мерцающей на панцире,— сунул ему карточку. Робот взглянул на символы, отодвинулся, освобождая проход.

Через несколько минут Нури вышел на площади перед зданием парламента. Массивное, но зажатое между титаническими цилиндрами домов, уходящих в низкие мутные облака, оно выглядело старым и тесным. Над крышей парламента сияло: «Грешите! Пророк приемлет вас такими, какие вы есть».

Его остановил патруль: пропуск? подождите! Ждать пришлось долго: через площадь тянулись колонны агнцев и лоудменов, у каждого возле бедра болтался массивный блик. Нури заметил, что нигде не видно излюбленного в Джанатии лозунга «Перемен к лучшему не бывает!».

Вместо него появилось звонкое изречение пророка. «Подлинное равенство — это равенство во грехах».

Агнцы шли не менее получаса. Они пересекали площадь и скрывались в темнеющей пасти тоннеля, у основания жилого цилиндра.

Каждую колонну возглавлял андроид. Походка робота была более плавной, чем у марширующих в рядах. Агнцы явно подражали роботам, угловато дергаясь при каждом шаге. Это было трудно, это замедляло движение, но они старались с маниакальной настойчивостью. Нури вспомнились слова жреца-наставника там, у вечерней реки: высшую степень смирения пророк усматривает в подчинении человека машине, а такое подчинение не может не сопровождаться деградацией личности. Нури гасил в себе презрение: ведь тоже люди, хоть и стремящиеся избавиться от человеческого облика. Жрец, помнится, высказал тогда соображение, что это реакция человеческой психики на разрушение природы...

Иногда андроид, не сбиваясь с шага, поворачивал голову назад и начинал размахивать манипуляторами. Откуда-то со спины вырывалась грохочущая музыка, и тогда агнцы ритмично орали железный марш. Этот марш, по заверениям пророка, как нельзя более отражал внутреннюю потребность усредненного джанатийца, уставшего от официального вранья.

Мы спали,
жрали,
пили,
Плевали на рай и ад!
Но киберы нам влепили
Железным мокасом в зад!
Дошли до конечной вехи —
И робот всему наследник!
Мы ржем абсолютным смехом,
Нам дадено ржать последним!

...Нури все-таки опоздал, и его кресло в гостевой галерее оказалось занятым. Пришлось стоять, и он примостился у барьера. Отсюда хорошо просматривался зал, расходящийся полукруглым амфитеатром от возвышения. Там за длинным столом сидели министры и еще какие-то люди в бронзового цвета костюмах. Этот назойливый цвет преобладал и на скамьях депутатов. С краю возвышалась широкоплечая фигура пророка, кресло рядом с ним пустовало, репрезентант Суинли не явился, как того и следовало ожидать.

Нури оглядел зал, свободных мест не было. На это столь рекламируемое заседание прибыли все депутаты.

Премьер-министр поднялся на трибуну. Он говорил о долге правительства перед страной.

— Я буду откровенен, господа, я, может быть, буду резок. Общество переживает глубокий кризис, ибо внешние силы не оставляют нас в покое. Нам пытаются диктовать, что нам делать в своей стране, нам навязывают так называемую экологическую конвенцию. Принять ее — значит фактически утратить суверенитет, добровольно наложить на себя ограничения в потреблении. Ассоциаты пошли на это, но мы, заботясь о благе граждан, не пойдем на снижение уровня потребления. Мы сами кормим, обуваем и одеваем себя, кто хочет, пусть ограничивается, мы в чужих советах не нуждаемся...

Зал внимательно слушал.

— Нам говорят, что мы кому-то мешаем, сбрасывая свои отходы в океан. Но мы очищаем свою страну и отходы сбрасываем в свои территориальные воды, и если наши действия кому-то не нравятся, то это не наша забота... Я знаю, язычники не разделяют наше мнение, но мы, господа, и не стремимся к единомыслию, мы стремимся к порядку. Чего нам не хватает, так это порядка...

Ну, если он заговорил о порядке, подумал Нури, то тут не обойдется без пророка. И — точно:

— ...Правительство особо отмечает заслуги пророка, его энергичную деятельность, направленную на защиту основ общества торжествующей демократии. Мы все отлично понимаем, в каких сложных условиях работает отец Джон, мы приветствуем новые движения, в которых сплотились истинные патриоты. Когда я думаю о словах пророка нашего, я думаю, не есть ли стремление человека удовлетворить потребность в грехе — свою гордыню, жадность, лень, чревоугодие, сластолюбие — главный двигатель прогресса? Но если это так, то не греховен ли сам прогресс и не карает ли нас господь за грех прогресса? Карает! Карает депрессией, которую мы переживаем. Производительные силы выросли настолько, что предложение во всех сферах производства превышает спрос. Насыщенность промышленности автоматикой привела к тому, что количество незанятого населения превысило все мыслимые пределы. Вот кара за грех прогресса!.. И если мы примем бесплатную технологию, то, я спрашиваю, что останется делать джанатийцу! Отсюда один вывод — мы отклоняем

помощь так называемого ассоциированного мира. К этому зовет нас здравый смысл и наша гордость!

Премьер помолчал, ибо последние его слова вызвали одобрительный рев в зале.

— Человек греховен от природы. Эта истина не требует доказательств: греховен и несовершенен. Это я отношу и к себе, и к членам возглавляемого мной кабинета.— Премьер-министр стал интимно задумчив.— Мне иногда приходит мысль, а не является ли человеческое несовершенство главной причиной несовершенства нашего общества, причиной войн, революций и неурядиц, которые на протяжении всей истории сотрясают государства? Из плохих деталей не собрать хорошей машины! Имея в виду все сказанное, перед лицом народа мы приняли единственно возможное решение...

Шорох пробежал по залу, желтые и голубые выпрямились, на скамьях оппозиции озабоченно притихли, и только телеоператоры по-прежнему перемещались по проходам со своими камерами.

...— Единственно возможное решение: призвать к управлению государством того, кто полностью свободен от предрассудков, присущих нам от рождения, того, кто обладает непогрешимой логикой, железной последовательностью, неограниченными возможностями, чей рассудок не связан традициями, а разум безупречен и чист. От имени правительства я предлагаю вам, избранники народа, всю полноту власти передать в руки достойного...

Разом вскочили желтые и голубые, с грохотом распахнулись двери, и, ровно топая, по главному проходу замаршировала шеренга агнцев божьих. Премьер тихо просиял и, срывая голос, закричал:

— Кто более достоин, нежели Великий Кибер! Да здравствует железный диктатор!

Что-то двусложное рявкнули агнцы. В наступившей тишине были слышны шаркающие шаги премьер-министра. Он, горбясь, сошел с трибуны, а навстречу ему двигался кибер Ферро. И когда они поравнялись, в зале раздался смех. Премьер вздрогнул. Слева в первом ряду прозвучал негромкий голос:

— Прохвосты! Нашли-таки себе фюрера!

— Я арестую вас, Норман Бекет! — прохрипел премьер.

— Знаю! Но разве вы не сдали полномочия? Вот только что и на глазах всей страны.

— Проклятый мысляк! Язычник! — загремел, не вставая, генерал Баргис.— Вывести его!

— Где же право открытой дискуссии? Боитесь пустить меня на трибуну!

Агнцы, потея от усердия, выволокли Нормана из зала. За столом правительства замешкались, зашептались... Потом пророк Джон отодвинул кресло, направился к трибуне. Но Ферро одним движением четырехпалого манипулятора остановил пророка, и голос кибера загремел в зале. «Ну да, он не нуждается в усилителе»,— вспомнил Нури.

— Люди, вы призвали меня, чтобы я разрешил противоречия, которые вами порождены.— Кибер, кажется, принял игру всерьез.— Гомо фабер, способный создавать мыслящие устройства, оказался не в состоянии построить простейшую схему производства-потребления, хотя критерий оптимальности очевиден: потреблять все, что производится, производить не больше, чем нужно для потребления. Тот, кто задает программу, усматривает противоречие в том, что производится больше, чем можно потребить. Нужен ли я для решения столь примитивной задачи: следует сократить производство. Я это предлагаю, поскольку схема общества по заданной мне программе считается неизменной!..

Речь кибера, его однолинейная, примитивная логика создавала впечатление какой-то карикатуры на глубокомысленные рассуждения премьера. Но ведь и решения государственного масштаба, судя по всему, принимаются правительством на столь же убогом уровне мышления. О, Мардук! При таких порядках любой маразматик гением смотрится. Сам факт прямой телетрансляции заседания парламента — иллюстрация высокомерного пренебрежения мнением народным: любое глумление над здравым смыслом допустимо, чего там... проглотят.

Нет, одновременно думал кибернетик Нури, в речи робота какие-то необычные выбросы, что-то тут неладно. Он несчетное число раз имел с Ферро телеконтакты, но видел его впервые: кибер как кибер, слегка утрированная внешность, присущая роботам для домашних услуг. Отличная машина. И конечно, он весь во власти формальной, машинной логики. Но как же так, не может быть, чтобы пророк не отрепетировал, не проиграл много раз программу поведения и выступления кибера заранее. Разве мало отличных программистов трудится на пророка? Откуда же тогда эти флуктуации в поведении и словах

Ферро, незаметные пока для окружающих, но очевидные для наладчиков кибернетических устройств.

...— Следует сократить число автоматов,— продолжал кибер,— увеличится занятость...

Ну вот, все становится на свои места: луддизм, чистейший пример формальной логики, неспособной не то что оценить значимость связей, а просто выявить действующие факторы. Все это уже было, было!

...— Формулирую вывод: противоречие устраняется уменьшением количества машин. Я — машина!

Робот сел на пол и неуловимым движением отделил у себя сначала левую, а потом и правую стопы и осторожно положил их на пол.

Зал оцепенел.

— Нет! — вскричал пророк.— Нет!..— Шум за дверями заставил его обернуться.

— Ах, Джон, отец Джон! — Норман Бекет в разорванной куртке стоял в проходе, не вытирая кровь с рассеченной щеки.— Вам же говорили: мозг Ферро собран из нестандартных элементов и чреват сбоем программы. Не вняли предупреждению, честолюбец!..

За дверью хлопнул выстрел. Ему ответила автоматная очередь. Депутаты поднялись с мест. Со странным выражением Бекет смотрел, как корчится на полу несчастный кибер.

— Людям нечем дышать! — выкрикнул Норман, перекрывая звуки стрельбы.— Разрушена сама основа жизни! И никакие софизмы не могут оправдать отказ от экологической помощи...

Взрыв в вестибюле оборвал его слова.

Верхняя палуба пятимачтового фрегата, поднятая над волнами на десятиметровую высоту, звенела детскими голосами. Соленый бриз, опережающий паруса, был сладок и опьянял маленьких джанатийцев.

— А если не будет ветра, Нури? Тогда мы остановимся на самой середине океана? Воспитатель Нури, если не будет ветра?

Веерный строй парусных барков и гафельных шхун уходил за далекий горизонт, и Нури думал, что сверху, с высоты полета дирижабля-катамарана, сопровождающего флот, парусники, наверное, кажутся Хогарду и Олле цветами, уроненными на складчатую скатерть океана.

— Ветер будет...

Александр ЧУМАНОВ

Корней, крестьянский сын

● Родился Корней так давно, что нам с вами и представить такое весьма затруднительно. Он родился задолго до реформы.

Что, и вы тоже до? Да нет, не до денежной реформы 1961 года, а до той великой, случившейся ровно на сто лет раньше, что подвела черту под крепостным правом.

Родился Корней, как и большинство наших с вами далеких предков, в избе-развалюхе под соломенной крышей, коих немало еще и теперь в сердцевине России. Он пришел в мир при свете лучины, без всякого участия акушеров-гинекологов, но при участии повивальной бабки Ефросиньи и с благословения барина Сергея Сергеевича, отставного поручика Кудымского полка.

Как и другие нормальные младенцы всех времен и народов, маленький Корней возвестил о своем пришествии на свет божий душераздирающим криком на границе ультразвука, чем необычайно изумил народившегося неделей раньше темно-коричневого телка, обитавшего тут же рядом, на желтой скрипучей соломке. А больше никого не изумил. Телок привстал на слабеньких еще ножках и покосился на источник беспокойства большим влажным глазом, за что мать младенца Дуняша легонько хлопнула любопытного по добродушной шелковистой мордашке горячей влажной ладонью.

В тот же день Сергей Сергеевич, хозяин грамотный и тароватый, в толстой экономической книге в графе «Приход» зафиксировал Корнея в качестве естественной прибыли. А в церковную книгу мальца записали только через неделю, видя, что он чувствует себя хорошо, мамкину огромную грудь терзает азартно и по-хозяйски, а стало быть, умирать безымянным нехристем не собирается. Собственно, тогда только он и заделался Корнеем. Ну а в бумагах Сергея Сергеевича имени и не требова-

лось. Там просто значилось: «Младенец мужеского пол-ка». И все.

Весной в честь пришедшего в мир очередного раба божьего отец Корнея посадил за гумном маленький дубок. И пошла жизнь от лета к лету, от урожая к урожаю. С пяти лет Корнея определили пасти барских гусей. Ну, а что вы хотите, крепостничество — это крепостничество, время подневольное и бесправное. Спасибо барину Сергею Сергеевичу, человеку просвещенному и настроенному либерально, он не только эксплуатировал крепостных, но и самолично учил крестьянских детей грамоте. Он и Корнея выучил многому, дал отличное для крестьянского сына образование, приохотил к чтению.

Так что к девяти годам Корней бегло читал, писал красивым витиеватым почерком, считал изрядно. А уж крестьянскому делу и разным, говоря по-сегодняшнему, смежным профессиям обучился от отца да от других мужиков.

В общем, к двадцати годам Корней женился и стал справным по всем статьям крестьянином. Ничего у него из рук не выпадало, и кузнец был отменный, и плотник, печи клал мастерски. Хлеборобство — само собой.

А вот деток у них с бабой не было. Спервоначалу народился один, неживой, и больше никак, хоть что делай. Все испробовали, даже Сергей Сергеевич Корнееву бабу в город возил к лекарю. Только зря барские денежки пропали.

Вот и рассуди, время-то какое было, ни тебе радиации, ни загазованности, ни канцерогенов, да и вообще окружающая среда была еще чистой, как нецелованная девка. Так что только и оставалось на судьбу грешить да на господа бога уповать. И уповали Корней с бабой на пару, да, знать, господь их не услыхал. Текучка, поди, заедала, сердешного.

Ну, ладно. Шло время. Корней в имении числился мужиком незаменимым и покладистым, а потому всякие горести, связанные с мрачной эпохой крепостничества, обходили его стороной. Даже и солдатчина миновала, хотя кому, казалось бы, и класть свой живот за веру, царя и отечество, как не ему, бездетному. Но Корней был нужней на гражданке, по-нашему. Барину, стало быть, нужней, а также и обществу в том смысле, что односельчанам.

Ну, а когда нет у людей деток, они, как правило, начинают вытворять нечто выходящее, как говорится, за

пределы общепринятых норм. Так случилось и с Корнеем. Стал он приносить из господского леса всяких попавших в беду зверушек да пташек, скоро об этом прознали в деревне, пошутили, посмеялись заглазно да и начали помогать мужику в его богоугодном увлечении. Услышал о чудачествах Корнея барин Сергей Сергеевич и тоже одобрил. Даже стал помогать мужику кой-какими медикаментами, мазями всякими, кормом для живности. Хотя, конечно, в то время мало кто испытывал умиление при виде всего того, что мы теперь называем словом «природа». Природы тогда было вокруг навалом, и она то и дело изрядно досаждала людям своим изобилием.

В общем, постепенно собрались в Корнеевом хозяйстве дикий утенок, волчонок да щуренок, не считая других-прочих божьих тварей, о коих речи не будет, потому что они для нашего повествования интереса не представляют.

Волчонок сидел на цепи и уже умел выть почти как большой, утенок гулял по двору и кушал по мере надобности распаренные отруби, а также плескался в маленьком прудике, вырытом в огороде работящим Корнеем. В этом же прудике обретался и нарядный щуренок, подкармливаемый малыми желтыми карасиками да жирными дождевыми червяками.

А в те сумеречные годы, как вы отлично понимаете, не было еще разветвленной системы страхования. Во всяком случае, для простых мужиков. Это теперь можно застраховаться от чего угодно. Хоть от внезапной смерти, хоть от несчастного случая, хоть от стихийного бедствия. В том смысле застраховаться, что, как только помрешь, упаси бог, так тебе тут же и страховая денежка. Распишись — и получай сумму прописью.

А у них ничего такого не было. И вот однажды, не ведаю в точности с чего, а лишь могу догадываться, засела в голове у Корнея одна мыслишка. Захотелось ему жизнь свою застраховать в буквальном, первородном смысле этого слова. Вот ведь, варнак, и бога не убоялся. И на рай его хваленый не польстился. Уж больно охота было мужику поглядеть, как она дальше-то пойдет, жизнь наша российская, в какие недосягаемые выси вознесется. Рассудил просто: если, значит, бог окажется супротив дерзкой задумки, так он на это и укажет перстом своим. А не укажет — быть посему.

И господь не вмешался, то ли опять текучка одоле-

вала, то ли у самого любознательность верх взяла, интересно стало поглядеть на затею своего верного Корнея. Неведомо.

Взял Корней жизнь свою вечную, а любой человек вечен, пока не преставился, положил ее на наковаленку. Да и отковал из нее тонкую блестящую иглу. И было это самое главное и трудное. Дальше пошло легче. Дальше сделал сундук дубовый с уголками железными и секретным музыкальным замком.

Потом Корней закатал свою жизнь — иголку в распаренные отруби, утку накормил, утка, поевши, отправилась в воде порезвиться. А щуренок, да он к тому моменту уже матерой щукой сделался, голодный был страсть — его хозяин специально несколько дней не кормил,— враз проглотил утку. А его, как вы давно догадались, выловленного саком, употребил волк.

Загнал Корней волка в сундук, тот, конечно, огрызался, не шел, да разве с хозяином сладишь, ежели хозяин чего захочет. Пришлось лезть в дубовую темницу. А потом взобрался Корней на подросший дубок, затащил веревкой сундук на самую вершину да и приковал его там цепями к стволу.

А сам спустился вниз, довольный, что все так удачно вышло. Никто не помешал, не приставал с вопросами да советами. Отряхнул Корней коленки и пузо от налипшей дубовой трухи и пошел в избу пить чай. А попивши чаю, завалился спать и проспал до следующего утра. К этому делу, как и ко всякому другому, он был шибко способен и охоч.

В ту пору ему как раз сровнялось тридцать три года.

Тут-то и случилась реформа. Сергей Сергеевич был к тем дням уже стар и немощен, начал в детство впадать да вскорости и умер, царствие ему небесное. При нем-то еще крестьяне придерживались как-то прежнего уклада, жалели старого барина. Хотя, надо заметить, нередко говаривал покойничек в своем, понятно, кругу такие вот слова, определяющие все его хозяйственные методы: «Чем больше на мужичка жмешь, тем больше выжмешь». Но был он политик тонкий и понимающий, а потому для холопов своих — отец родной. А сколько раз потом самые разнообразные люди говорили эти крылатые слова, и не сочтешь...

Ну, а хозяйство покойного Сергея Сергеевича в распыл пошло. Наследнички были аховые, они бы и в старое

время вряд ли продержались, а после реформы — и говорить нечего.

И на Корнея беда свалилась. В одночасье изба и все подворье сгорело, только и успел зверей в лес выпустить, а вскоре и хозяйка скончалась от давней нутряной хвори.

Отгоревал Корней, сколько полагается по нормам домостроевской морали, но не более того, да и стал жить дальше. «Ничего,— думали люди,— мужик он крепкий. Еще поживет. Может, и ничего».

А он поставил у речки кузню и заделался общественным кузнецом. Начинал с малого, но работал так, что пупок трещал, славу по всей округе заимел со временем, деньжат подкопил. Крепко подкопил, дом поставил на месте прежнего пепелища, землицы прикупил малость. И значит, нечему тут удивляться, что взял из соседней деревни самую красивую да молодую девку. Женился, стало быть, вдругорядь. За такого, небось, любая пойдет. У такого, как теперь говорят, перспектива. Раньше такого слова не знали, но за сытое будущее хватались не менее цепко.

Жить бы да жить Корнею с новой молодой хозяйкой. Да с судьбой не поспоришь. А она тянула по уже накатанной колее. От мертворожденного младенчика к нутряной хвори и далее, до опустошающего, буйного пожара...

В десятом, что ли, году нового века женился Корней в третий раз. Да и чего ему счастье не пытать, если, подойдя почти вплотную к столетней черте, был он все так же статен, ядрен и крепок, как тридцатитрехлетний; если дубок его заветный вымахал в ту пору аж под самое небушко, тучки начал цеплять ветвями. Уже имя Корнеево обросло тугим клубком сказок и былей, и зависть людская то накатывала на него кипучей волной, то вновь с шипением отступала. Куда ей, этой ползучей волне, было до Корнеюшки.

И показалось Корнею в какой-то момент, что ухватил-таки он за хвост свое мужицкое счастье. Домину отгрохал красивше прежних всех, девку взял вообще стати немыслимой. И народился у них наконец мальчонка, смышленый да шустрый. Потихоньку оттаяла бабина родня, простила самоходку, не послушавшую злой людской молвы про мужика, чужую жизнь живущего, сделавшую наперекор всем и, теперь это видели все, не прогадавшую в расчетах.

И только счастливый Корней да женушка его знали правду и втихомолку посмеивались. А правда заключалась

в том, что и в помине не было тут никаких расчетов, а было то, что ныне зовем мы любовью, а раньше люди называли по-разному, всяк на свой лад и по своему соображению.

Вот тут и грянула империалистическая. И Корнея с первой же партией забрали на позиции. Несмотря на преклонный возраст. Одна только его баба и не голосила на проводах, поскольку знала уже, что ничего не сделается ее кормильцу, пока упирается в небо ветвями огромный дуб за гумном, то есть пока существует во Вселенной планета Земля, а также господь на небеси.

И уж когда кончились все битвы, большие и малые, когда пролилось море нашей и ненашей, а в сущности, тоже нашей крови, вернулся Корней в родную деревню полным Георгиевским кавалером, а, кроме того, еще и героем революции. И узнал, что сгинуло его семейство в полыме великих событий то ли от голода, то ли от холеры, даже объяснить достоверно было некому. Зато дом уцелел как-то. Правда, в нем уже располагалось первое в деревне учреждение.

Раньше бы подумал Корней, что опять судьба, а теперь он так подумать не мог, потому что довершил на разных фронтах свое начальное старорежимное образование и узнал, что никакой судьбы, а также и бога нет, что человек сам кузнец своего счастья, что все свершается по воле неумолимых исторических законов, а остальное — мура и прочий несознательный опиум.

Прирезали Корнею хорошей землицы, как геройскому и политически грамотному борцу, и велели эту землю возрождать и обихаживать на радость и сытость себе, а также всему победившему классу. На какие-то миги тяжко задумался мужик да и принялся за дело, к которому сызмальства был приставлен самим создателем, низвергнутым ныне с освобожденных небес. Принялся обустраиваться и обустраивать все вокруг со всеми вытекающими из этого последствиями. Все потерянное восстановил, да так вошел во вкус, что его же через несколько лет и пришлось подводить под экспроприацию, к чему он отнесся стоически и даже с пониманием.

Огорчало только, что сынишка малолетний — от четвертой, стало быть, жены — кричал ему принародно такие слова, каких от века не позволялось даже шепотом произносить в присутствии старших, а тем более родителей. Уж так огорчало, что даже и представить тошно.

Однако стерпел. Еще и потому стерпел, что жена шептала в ухо всякие увещевания да цепко держалась за подол рубахи. Хотя, конечно, если бы не крепился сам, разве спасла бы от непоправимого ветхая косоворотка из ситчика, вылинявшая до полной бесцветности?

Потом приехал из города землеустроитель, несколько дней мерял угодья саженью и в конце концов пришел к выводу, что огромный дуб никак невозможно оставить в целости в свете ликвидации межей, как последнего пережитка частнособственнической психологии.

О-о-о! Такого грандиозного мероприятия, не считая осквернения местного храма, не знала деревня. Все собрались как на митинг. И только Корней стоял в толпе совсем непраздничный с виду. Но пьяненькие добровольные пильщики и рубщики сочли, что он тоже клюнул с утра, только лишку. Безропотного Корнея отвели под руки в сторонку, чтобы случайно не зашибить.

Дуб был образцово крепок и держался полдня. Но добровольцев хватало с избытком. И когда великан рухнул, сопровождаемый восторженным воплем толпы, из его буйных веток неожиданно выкатился окованный позеленевшими медными полосками сундук. Сундук был, конечно, крепок, что ему могло сделаться от снега и дождя, но и он не смог выдержать страшного удара о землю. Сундук раскололся, из него кубарем выкатился невиданных размеров волк. Толпа сразу отпрянула. Волк сверкнул глазами, устрашающе рыкнул и кинулся прыжками в чернеющий на горизонте лес.

Никто не побежал за ружьем, все от неожиданности оторопели, а когда пришли в себя, уж было поздно. Волк давно исчез. Да и был ли он, этот волк? Ну, откуда бы ему взяться в сундуке да еще на дереве? Совсем неоткуда. Так и подумали люди. «Поблазнилось»,— решили они. А что, мы ведь помним, что еще с утра многие из добровольцев были навеселе, а к концу работы можно себе представить...

— Да не реви ты, что ревешь, как баба,— утешала Корнея ночью жена,— спасибо, что не сослали, да и волк убежал, значит, еще тыщу лет проживешь...

А Корней до утра не мог унять слез, и это были первые его слезы в жизни. Не считая, понятно, тех, что он пролил в младенчестве. Нет, отдать жизнь за хорошее дело он был всегда готов, но признать в землеустроителе борца за правду душа категорически отказывалась.

Мешали, по всей видимости, остатки проклятых пережитков.

А потом потянулись мирные годы, душевные раны затягивались, и уже думалось Корнею, что наконец-то все горести позади. Подрастал сынок, и обида на него постепенно уходила, пришло даже убеждение, что это он, Корней, по своей заскорузлости и отсталости недопонял вовремя чего-то важного, а вот малец допонял и хоть жестоко, но справедливо поправил отца. Правда, все эти годы ощущал на себе Корней недоверие и отчужденность многих односельчан, кое-кто видел в нем затаившегося врага, и никакой ударный труд, никакое бескорыстие уже не могли растопить этот холод. А Корней терпел, зная, что у него в запасе достаточно времени, чтобы пережить, перемочь любую немилость.

Время от времени деревенские мужики устраивали облавы на расплодившихся в округе волков. Но самого опасного и коварного зверя добыть все никак не удавалось. Он же был воспитан человеком, а потому никаких красных флажков не боялся. И это вселяло надежды.

Уже почти все в деревне отстроились и поправились, а Корней с женой и сыном продолжали ютиться в ветхой свой засыпнушке с промерзающими углами. Хозяин все старался каждый лишний заработанный трудодень употребить на общественную пользу. Причем так, чтобы про это никто не узнал. Он думал, так будет лучше.

Но становилось хуже и хуже. Зловещие тучи сгущались вокруг Корнея, временами они мягко и вкрадчиво касались его крутых плеч, сивой головы, и в целом ясно, чем бы это кончилось, если б не новая война.

И снова Корнея призвали в числе первых. И он прошел войну до самого победного конца. Домой вернулся единственный из всех деревенских мужиков, весь в орденах и медалях. И привычно впрягся в свою вековечную работу. Он, конечно, снова остался один: жена умерла от голода, а сына убили на фронте.

Весь облик старого Корнея еще вполне соответствовал, еще вполне можно было пригреть какую-нибудь вдовушку, но он на сей раз решил поставить окончательный крест на семейной жизни. Он не смог за такой долгий век никого сделать счастливым. Не смог, как ни старался. «Значит,— решил про себя Корней,— нечего и затевать больше. От судьбы не уйдешь».

Слово «судьба» к тому времени постепенно переста-

вало быть пережитком на все сто процентов. Но, главное, уже Корнеево сердце не вмещало всех утрат и болей.

В общем, работать Корней старался за всех убитых на войне мужиков, а добрую треть того, что зарабатывал, безропотно тратил на радужные бумажки всевозможных займов. Ему не нужно было ничего. Почти ничего. Вот только, пробыв всю войну на передовой, он так пристрастился к ежедневным наркомовским ста граммам, что, отвоевавшись, как начал праздновать Победу, так и не мог уже остановиться. Да разве он один? Разве мало их было, праздновавших Победу до своего крайнего дня?..

А подозрительная живучесть Корнея и его темное зажиточное прошлое многим не давали покоя. И однажды, в самый разгар страды, когда была на счету каждая пара рабочих рук, а Корнеева пара и вообще числилась на вес золота, его и забрали. А вернулся он совсем-совсем старым. У него стали трястись голова и руки, он забыл почти всю свою небывало долгую жизнь.

Вино было еще дешевым, но и его требовалось заработать. И Корней работал в меру уходящих сил. Совсем не так, как раньше. Он стал делать все кое-как, едва начальство теряло его из глаз, сразу начинал дремать или опохмеляться для поправки головы. Его не прогоняли, потому что рады были хоть какому работнику.

И откуда было знать Корнею, что того волка, которого он выкормил когда-то из соски, пристрелили с вертолета егеря. Пока они спускались, из разорванного картечью волчьего брюха выбралась огромная, покрытая мохом щука и, кувыркаясь, успела исчезнуть в речке. Щука эта соблазнилась скоро на блестящую железку, но, пока ее вываживали да подсачивали, успела-таки выплюнуть из ужасной пасти живую серую утку. Хотела выплюнуть блесну, но та сидела прочно.

Утке чудом удалось спастись, да тоже ненадолго. Совсем недавно на современной «королевской охоте» ее сбил влет один высокопоставленный охотник. Он привез утку домой, а внутри птицы оказалось яйцо. И это было удивительно, ведь сезон гнездования бывает весной. Охотник разбил диковинное яйцо и обнаружил в нем изъеденную ржавчиной старинную иглу.

И вот сейчас, в этот самый момент, он держит иглу в руке и думает, что бы это могло значить. И как ему поступить с находкой. Можно почистить, и она заблестит, как новая. Но зачем? Можно выкинуть. Можно сна-

чала сломать, а потом выкинуть... Да над чем тут, собственно говоря, думать, разве мало в этой жизни действительно актуальных больших и малых проблем?!

Находка

● Перекапывая грядку на садовом участке, Лева наткнулся на какой-то твердый предмет. Он чертыхнулся и стал окапывать предмет со всех сторон. Участку было уже много лет, но до сих пор каждый год хозяин извлекал из почвы массу всякого мусора и хлама, оставшегося от большой свалки. Создавалось впечатление, что все эти железяки, куски вечного полиэтилена, осколки кирпичей и старомодных унитазов, заваленные когда-то метровым слоем привозной земли, ни за что не хотели спокойно лежать на раз и навсегда отведенном им месте, а постоянно вылезали на поверхность, вроде как тоскуя о породившем их веселом и безалаберном мире.

Изрядно попотев, Лева извлек из глубины диковинный сосуд, судя по весу, пустой, судя по виду, глиняный. Сосуд был плотно укупорен пластиковой пробкой, для верности залитой чем-то вроде парафина.

Лева потряс емкость раз, прислушался, потряс снова. Нет, ничего внутри не звякнуло. Ничегошеньки. Оставалось выкинуть находку в кучу такого же мусора и продолжить прерванную работу. Но работать, честно говоря, стало лень, уже начиналась жара, а разобраться с находкой хотелось. Конечно, ничего интересного она вроде не сулила, ну, а вдруг?

И, недолго думая, Лева поддел пробку садовым ножом. Пробка выскочила довольно легко, и тотчас из горлышка повалил густой черный дым.

О таком обороте дел Лева до сих пор читал только в сказках, да и то довольно давно, и многое уже начало забываться, но тут мгновенно вспомнилось. И он, не поддавшись панике, проворно заткнул отверстие пальцем. Он чувствовал, что кто-то или, вернее, что-то щиплет, царапает небольно его палец изнутри, и торопливо обшаривал глазами землю, отыскивая закатившуюся куда-то

затычку. И наконец затычка нашлась. Дым снова полез было наружу, но тут же дрожащими руками Лева снова надежно укупорил кувшин.

Потихоньку он убрал руку с пробки, готовый снова изо всех сил вдавить ее внутрь. Но пробка вроде бы и не собиралась вылезать. Видимо, если кто-то или что-то и давило на нее изнутри, то несильно. И Лева решился поставить сосуд на землю. И перевел дух.

А небольшое облачко черного дыма тем временем, поднявшись невысоко над землей и, по-видимому, остыв, упало прямо под ноги Леве. Он опасливо поднял его и увидел, что держит клок спутанных, крепких и жестких, как проволока, черных волос. Лева брезгливо отбросил его от себя подальше, хотя исследовательский инстинкт требовал, конечно же, более детального изучения. Ну, если и не спектрального анализа — где и как его проведешь,— то понюхать-то, во всяком случае, не мешало б. Но для этого не хватало мужества.

Итак, Лева понял, что нечаянно вступил в обладание укрощенным в стародавние времена сказочным джинном. И не было никаких надежд достоверно выяснить, каково главное свойство содержащегося в сосуде субъекта. В смысле добрый он или злой. Но было совершенно ясно, что джинна из его обиталища лучше всего, пожалуй, не выпускать.

Поразмыслив о случившемся и не придумав толком, что делать дальше, Лева взвалил кувшин на плечо и, стараясь шагать помягче, не спуская глаз с пробки, отнес его в сарайчик, где хранил садовый инвентарь. Там он поставил кувшин в дальний угол и тщательно замаскировал, чтобы кто-нибудь случайно не наткнулся.

Дома, в городе, Леву целую неделю мучили кошмары. Работа валилась из рук, не шла на ум. День и ночь его преследовали картины, одна страшней другой. Мерещилось, что запертому в сосуде духу удалось каким-то образом вытолкнуть ненадежную пробку и выбраться на волю. Виделось, как разъяренный здоровенный мужик в набедренной повязке, обалдев от долгожданного кислорода — или, наоборот, от плачевного состояния окружающей среды,— ломает и крушит садовый домик, построенный с таким трудом и лишениями, топчет ухоженные грядки, наносит непоправимый разор соседям, за который придется отвечать ему, Леве, кому же еще.

Едва дождавшись пятницы, Лева вечером на последней электричке помчался в сад. И в пустом темном вагоне к нему пристали пьяные хулиганы. Они, как водится, попросили закурить, а кончили тем, что разбили Леве нос и выгребли из его кошелька около четырех рублей денег, все, что было, и хорошо еще, что было так мало.

С электрички Лева бежал к саду бегом, подгоняемый справедливой жаждой отмщения. Теперь ему уже мерещились другие картины, теперь явственно виделось, как все тот же мужик в белых плавках огромными скачками мчится за электричкой, как вскакивает на подножку, как идет потом по вагонам, играя мускулами и пытливо вглядываясь в лица жмущихся по по углам редких ночных пассажиров. Как отыскивает он наконец сладко дремлющих Левиных обидчиков, как вытряхивает из них деньги в сумме около четырех рублей, нет, почему около четырех, все неправедно добытые деньги вытряхивает, а заодно и самих юнцов вытряхивает из поезда на полном ходу...

Домечтав до этого места, Лева вдруг резко затормозил. И дальше пошел нормальным шагом.

«Эк, куда хватил,— подумал он, уже слегка остыв,— а кто потом за этих хулиганчиков сидеть будет? Святой или какой там дух, что ли? Нет, я буду сидеть... Так что черт с ними, с четырьмя рублями, и нос уже почти не болит, ребята еще молодые, глупые, постарше станут, небось сами со стыдом будут вспоминать сегодняшний случай. Вот ведь куда может завести человека ослепление гневом... Но что же там, однако, в саду, хоть бы домик не тронул, паразит, грядки, бог с ними!..»

Домик встретил Леву спокойными темными окнами. Лева отыскал на полке фонарик и с замирающим сердцем открыл дверь сарайчика. Древний сосуд стоял там, где он его и оставлял. Пробка была на месте.

Леву знобило, и, хотя на дворе было лето, он слегка подтопил печку, не спеша поужинал привезенными из дома припасами, выпил стопку смородиновой настойки. А потом погасил свет и лег спать. Больше он не беспокоился, что джинн вылезет из кувшина сам, без посторонней помощи. Раз тыщу лет просидел, значит, и дальше будет сидеть, если никто не помешает. И правильно, пускай сидит, зря, небось, не посадят.

«А интересно было бы хоть одним глазком посмотреть

на этого великана,— думал Лева, лежа в потемках.— Он, поди, выше моего домика ростом, да уж, конечно, выше, что он, мой домик. Нет, этот великан, пожалуй, даже выше двухэтажного особняка нашего начальника АХО, хотя что это я, смешно даже! Джинн наверняка с телебашню будет ростом... А может, и не будет. Нет, не будет. Выше десятого этажа вряд ли. Метров тридцать, тридцать два от силы.

А кувшин такой маленький и легкий. Даже и не верится... А может, выдумал я все сдуру? Может, нету в этом кувшине никого? Может, был, да весь вышел? Нет, вышел не весь, только кусочек бороды вышел, это я сам видел. А вдруг он там давно умер? Хоть и джинн, но ведь и ему не высидеть в тесном горшке больше определенного срока. Вдруг умер или даже наложил на себя руки от тоски. А что, очень даже запросто. Любой бы на его месте не выдержал. А к примеру, и я...»

И тут Лева ни с того, ни с сего начал думать, какой бы он выбрал способ, если бы вдруг припекло.

«Та-ак,— перебирал он в уме.— Вешаться — пошло. Стреляться — не из чего. Вены вскрывать — как-то нехорошо... Может, нож в сердце? Нож — это красиво. Но как представишь, что своей рукой поднес к груди сверкающий замогильным холодом тесак и надавил и нож стал постепенно скрываться в твоей беззащитной груди...»

Лева аж поежился в постели, так ясно он представил все это, и в тот же миг понял, что ничего такого проделать с собой никогда не сможет.

Мысли его вернулись к старинному кувшину:

«А если он все-таки там сидит спокойненько и ждет своего часа? А я как открою, да выпущу его на волю! А он как закричит с высоты своего невиданного роста: «Ты выпустил меня, о, повелитель! Осеребрю, озолочу, приказывай, чего хочешь, о, господин мой, да продлит аллах дни твои, о, светоч моих очей!» И упадет передо мной ниц, аж земля содрогнется, как бы мой домишко не рассыпался. А я как прикажу ему, мол, построй-ка мне такие хоромы, как у нашего начальника АХО и даже еще раскошней!..

Впрочем, нет. Он-то, возможно, и построит любой терем, да ведь теперь не старое время, теперь придется декларацию о доходах представлять. А где я ее возьму? Джинн, конечно, хоть какую декларацию мне нарисует,

ему это, конечно, раз плюнуть. Но ведь проверять станут, и тогда уж никакой дух не спасет...»

Лева встал напиться. Видать, смородиновая настойка уже слегка перебродила.

«...А я как открою, выпущу его на волю — а он как выскочит, как закричит: «Ах ты такой-сякой, неверный, что же ты, скотина, так долго не выпускал меня отсюда и куда ты подевал мою распрекрасную бороду?! А вот я тебя за это сейчас поджарю на костре из твоей хибарки, хороший костерок получится, дровишки сухие, да как съем я тебя, упитанного и некурящего, да как запью твоей настоечкой вопреки указу изготовленной! Да как с новыми силами начну крушить всю эту вашу частную собственность!»

И снова Лева поежился в постели от грозной реальности возникших в сознании картин. «Нет, настойку надо, пожалуй, вылить от греха!» — подумал он и провалился в глубокий беспокойный сон.

Лева встал разбитым и совсем неотдохнувшим. Кое-как умылся, но теплая вода почти не освежила. Не вытираясь, он прошлепал босыми ногами к сарайчику и скоро показался оттуда с кувшином на плече.

Никем не замеченный в этот ранний час, Лева спустился через кусты к речке, делившей коллективный сад надвое, немного повозившись, привязал к кувшину какую-то ржавую железяку и, пристроив свой груз на спину, тихонько поплыл. Достигнув середины, он свалил древнюю емкость в воду, и она сразу скрылась в глубине, даже не булькнув.

К берегу он возвращался раскрепощенно и резво, разрезая неподвижную утреннюю воду торопливыми саженками.

Потом Лева сделал небольшую пробежку по саду, тщательно обтерся жестким массажным полотенцем, похлопал себя по впалому животу и скрылся в домике. Но сразу снова появился, таща огромную стеклянную бутыль с чем-то аппетитно розовым внутри. Он вылил настойку в ту же речку, и на пару минут медленно бегущая вода окрасилась в приятный красный цвет. Но только на пару минут.

Теперь Лева чувствовал себя наконец-то совершенно свободным. Неделя, полная страхов, самый малый из которых он пережил накануне в электричке, благополучно закончилась. И он целый день увлеченно работал в

саду за троих — и за себя, и за жену с тещей, гостивших в деревне,— полол, окучивал, прореживал, подрезал, подвязывал, и не знаю, что они там еще делают целыми днями, эти сегодняшние мичуринцы.

Лева лег спать, ощущая в членах приятную усталость и тихую радость в сердце от хорошо начавшегося и так же хорошо окончившегося дня. Он сладко потянулся в постели, зажмурился, надеясь мгновенно заснуть...

«Дурак я, дурак! — эта метнувшаяся в голове мысль разом сбила Леву с дороги, ведущей в страну сладкого забытья и радужных грез.— Кретин последний, и больше никто! Иметь то, чего не имеет ни одна душа в мире, ни один воротила из военно-промышленного комплекса, ни один начальник АХО, и так, за здорово живешь, потерять! Утопить добровольно да еще потом весь день радоваться, что легко отделался. Ну, где еще в природе встречаются на свободе такие дураки!»

Напрасно кто-то, сидящий внутри Левы, пытался вразумить своего хозяина, пытался выяснить хотя бы, зачем Леве вдруг сдался этот горшок с неизвестным, а может, и очень опасным содержимым, если уже все было решено и обдумано. Все напрасно.

В общем, посреди ночи наш Лева встал и отправился к речке. И речка, такая домашняя и ласковая днем, показалась ему в темноте загадочной и страшной. К тому же от одного вида черной воды его начал бить озноб. Но о возвращении назад, в теплую постель, не могло быть и речи. Словно сам заточенный в горшке, джинн звал его с речного дна, молил об освобождении. Впрочем, если бы кто-то действительно звал Леву на помощь, он бы, может, и не отозвался, поскольку был от природы робким и не очень уверенным в своих физических возможностях. Значит, тут имело место что-то другое. Да ладно, не важно. А важно то, что, пересилив страх, Лева вошел в воду и поплыл, а достигнув середины, нырнул, набрав в легкие побольше воздуху.

Это малоприятное купание продолжалось часа три. Уже у Левы зуб на зуб не попадал, уже судорога начинала сводить ноги, уже маячила реальная перспектива подхватить пневмонию или что похуже. А бедный Лева, которому, как мы знаем, ничего особенного не требовалось от жизни, все нырял и нырял в эту враждебную пучину. Видимо, кувшин маленько отнесло вниз по течению, что и осложнило поиски. К тому же приходилось искать

только на ощупь, и любой здравомыслящий человек отложил бы это купание до утра. Но Лева в этот момент к числу здравомыслящих, конечно же, не относился. Да и нырять вот так, на глазах соседей, означало бы давать потом неизбежные объяснения. А где их возьмешь?

Наконец Лева нашарил среди камней драгоценный кувшин, отвязал груз и поплыл к берегу. Войдя в домик, он рухнул без сил. Но потом, одолевая изнеможение, поднялся, поставил на плитку чайник. И пожалел о смородиновке, пусть и перестоявшей маленько.

На другой день Лева отправился на электричку, неся под мышкой огромный сверток. Ему мерещилось, что люди с подозрением провожают глазами его самого, а главное, его ношу. Но, естественно, только мерещилось. Мало ли какие диковинные свертки бывают у людей на станции, их и разглядеть-то не успеешь, да и неинтересно.

А в электричке опять навалились сомнения. И по мере приближения к городу эти сомнения все крепли, пока не оформились в конкретный замысел. Лева решил «забыть» кувшин в вагоне и, таким образом, отделаться от него раз и навсегда.

Но уже через пару часов он бегал по вокзалу от одного человека в форменной фуражке к другому, бегал с выпученными от отчаяния глазами. И снова был счастлив, что пропажа благополучно нашлась, что никто не успел открыть пробку.

А потом он оставлял кувшин в трамвае и снова искал его, унижаясь и заискивая перед каждым, от кого могла зависеть судьба драгоценного и ненавистного сосуда. А потом совал свой кувшин в самосвал с мусором, чтобы очень скоро рыться в отбросах с отчаянной решимостью перерыть всю городскую свалку. Но стоило Леве в очередной раз притащить своего мучителя домой и поставить куда-нибудь, поклявшись больше не пытаться от него избавиться, а тем более открыть пробку, как начинали чесаться руки...

И однажды Лева снова поехал в сад, прихватив с собой кувшин. Он выкопал прямо посреди грядок огромную яму, опустил сосуд на дно и принялся торопливо зарывать. А когда совсем зарыл, то уже вполне созрел для того, чтобы, передохнув, снова начать откапывать. Он и начал откапывать, даже и без отдыха. Пот заливал глаза, сердце в груди колотилось, как молот, требуя пе-

редышки. А Лева все копал и копал, словно боялся, что кувшин провалится сквозь землю, растворится в ней. Тут его и прихватил инфаркт. Пока прибежали соседи, пока добралась из города «скорая», все было кончено. Люди так и не поняли, чего это сосед так спешил с перекопкой.

Так кувшин и лежит по сей день глубоко в земле. И теперь этим участком владеет совсем другой человек. Он счастлив, потому что еще не знает, какое неведомое диво спрятано под его викторией и облепихой.

Я бы мог указать любознательным заветное место, но прошу хорошо подумать, принесет ли вам счастье эта раскрытая тайна.

Эксперимент

● В институте онкологии Семен работал уже три года и, несмотря на эксперименты, время от времени проводимые над ним, был доволен судьбой. Как каждый настоящий ученый, он был готов на любые жертвы ради науки. Семеном его прозвали лаборантки, тужась на оригинальность, но Семену нравилась эта кличка, он думал, что его неспроста нарекли человеческим именем.

Семен был невзрачной и довольно грустной дворнягой, но какая-то почти невероятная мутация наградила его интеллектом. В детстве его, бездомного и тощего щенка, подобрал институтский электрик и притащил на работу. Электрика скоро уволили за прогулы, а Семена пристроили в лабораторию и поставили на довольствие.

Очень скоро он освоил человеческий язык, цепкой памятью запомнил кучу латинских слов, если бы устроить экзамен, пес, пожалуй, потянул бы на фельдшера. Для трех лет самообразования — совсем неплохо!

Семен запросто открывал лапой любые задвижки и защелки, гулял ночью по всей лаборатории, пока его не стали запирать на висячий замок. Душа его жаждала полноправного общения с человеком, он не раз делал попытку заговорить, но получался противный вой — язык

был непослушным, брал в зубы карандаш — получались непонятные каракули. Он умел считать, но ведь не станешь же лаять сто раз, если в результате какого-нибудь арифметического действия получится сто.

Со временем Семен понял, что, имея интеллект, не менее важно иметь средства для его выражения, но духом не упал и мучительно искал выход. Мозг его работал постоянно и напряженно, Семен почти не спал, мало ел. За это его презрительно называли иногда доходягой, но терпели за понятливость и тихий нрав.

Общаться с другими жителями лаборатории ему было противно. Жившая по соседству смазливая Айна была как будто не прочь познакомиться с ним поближе, но Семен и мысли не допускал, что между ними может случиться любовь на глазах у всех, к тому же он не мог простить Айне ее легкомысленных связей с другими псами.

Его четвероногие собратья время от времени умирали, отдав за науку свое единственное достояние — жизнь. Остальные собаки тоскливо жались по углам, но через полчаса после того, как покойного выносили, обо всем забывали, успокоившись, резвились, ели. А Семен на несколько дней заболевал. «Надо же, какой чувствительный!» — фыркали лаборантки. Такого права за ним почему-то никто не признавал.

И однажды настала очередь Семена. Когда выбирали кандидата на эту участь, не было никаких оснований пожалеть именно его.

Ему не было страшно, когда делали прививку. Он внутренне был готов к этому, но надеялся, что еще успеет найти средство для установления контакта с людьми. Если бы в детстве ему еще больше повезло и он попал бы в другой институт, нейрохирургии например, наверняка этот контакт уже состоялся бы. Но ничего не поделаешь. Спасибо и за то, что его довольно непривлекательная шкурка не досталась живодерам.

Семен внимательно прислушивался к своему организму. Он старался побольше есть, зная, что скоро не сможет этого делать...

Болезнь сперва некоторое время молчала, потом стала отзываться легким недомоганием, появилась одышка. «Как жалко,— с горечью думал Семен,— что мутация не коснулась моего языка, я так много полезного мог бы рассказать людям!» Так уж Семен был устроен: он любил

людей по-собачьи. И думал всегда в первую очередь только о них, о их благополучии.

Болезнь развивалась все быстрее. Начавшись в легких, она охватила горло, достала желудок. Наступила непроходимость пищевода, и Семен перестал есть и пить. Но физически он был еще достаточно крепок, сердце работало исправно. Мысленно он заполнял графы в истории своей болезни, начиная с самого первого дня. Это был уникальный документ, но как, как сделать так, чтобы люди смогли его прочитать?! Мысли путались, отвлекала боль, пронизывающая все его существо. Контакта не было, не было...

«Как пригодилась бы сейчас хоть одна инъекция морфия!» — с тоской мечтал Семен. Но облегчение его страданий не входило в задачи эксперимента. Напротив, ставилось целью проследить естественное развитие болезни от начала и до конца.

А муки становились с каждым днем все нестерпимей. Семен тихонько скулил по ночам, нос его был сухим и горячим, бока ввалились, он перестал вставать. И однажды ночью, в один из перерывов между приступами, которые теперь почти не прекращались, Семен понял, что контакта уже не будет. Собрав остатки сил, он поднялся, подошел к миске, куда ежедневно на всякий случай продолжали класть кусочки мяса. Он долго раскладывал эти кусочки на полу клетки, пока не получились слова: «Я больше не могу!» Потом зубами нащупал на передней лапе зачастившую артерию...

Утром первой увидела Семена уборщица. От изумления она перекрестилась, потом, поняв, что сплоховала, сердито плюнула, собрала раскиданное по всей клетке мясо, чтобы отдать его другим больным собакам, которые пока не потеряли аппетит — не пропадать же добру,— и пошла докладывать о случившемся заведующему лабораторией.

Заведующий, молодой, подающий надежды ученый, выслушав ее, с досадой ругнулся:

— Чертова псина, испортила эксперимент в самом конце!..— Но, помолчав, задумчиво проговорил: — Однако случай-то из ряда вон... А что, вполне можно дать информашку в «Очевидное — невероятное».

Андрей ЩУПОВ

Закрой глаза...

Та дальняя выдавала ему кошмары. С нею он разберется попозже. Сейчас его интересовала эта, стоящая возле самого окна. Тусклая, с жирным слоем пыли... Вен зашарил взглядом по кабинету. Что-нибудь тяжелое... Вроде ломика. Впрочем, и лом не подойдет — эта стерва научилась управлять напряжением, сообразила, чего он хочет!

Обросший, с воспаленными глазами, Вен подошел к высокому шкафу и начал выгребать оттуда электронный хлам. Ему нужны были обыкновенные провода. Потолще. Можно обойтись и без лома. Даже проще — заземлить эту тварь, и все. Даже если она успеет перестроиться, хотя вряд ли... Он оторвался от груды спутанных проводов и долгим взглядом уставился на крупную необычной расцветки крысу, высовывающуюся из-под стойки. Не решаясь пробежать дальше, она настороженно поглядывала на человека. Все-таки неплохо выходит у них с этой материализацией! Как живые... Вен вяло размахнулся и швырнул в крысу тяжелым мотком провода. Крыса легко увернулась и, выскочив из-за железных плит, рывком бросилась к дальней стойке.

Еще одно подобие атаки... Забыв о проводах, человек молча повернул голову и наблюдал. Крыса ловко вскарабкалась на глянцевый бок неприкрытого трансформатора. Лапки нетерпеливо заскребли по лакоткани,— прежде чем вонзить зубы, она выбирала место. Как ни ждал этого Вен, он все-таки вздрогнул, когда в тиши кабинета звонко треснул разряд. Тельце грызуна дернулось и мягко шлепнулось на пол. Вен хрипло рассмеялся. Та дальняя действовала просто молодцом! Ей бы еще догадаться материализовать кошку. Но он ей поможет — это уж точно... Зачистив концы силового провода, он туго примотал один из них к трубе парового отопления, второй в виде свободной петли подцепил к ножке стула. Подняв стул и держа его на вытянутых руках перед собой, шагнул к стойке. Все! Больше ей не лепить крыс. Он протянул стул к металлической поверхности панелей...

Сначала ему показалось, что стойка задымила,— воз-

дух взмутило перед самыми глазами. Он попытался посильнее прижать стул, но не успел. Из бурлящего дыма плеснуло черным прямо в лицо. Вен ощутил удар, и тут же сознание взорвалось на тысячи мелких осколков...

Нелепое, туманное создание колыхалось над убитым им человеком. Не прошло и минуты, как оно начало медленно таять. Дело было сделано — стойка вновь вбирала, впитывала в себя свое порождение.

— ...Увы, это суровый закон современности! Динамика, темп, невозможность остановиться ни на секунду. Мы все мчимся по жизни, словно торопимся поскорее распроститься с нею. Но ведь это жестокая несправедливость! — повлажневшим взором Броновский обвел публику. Десятки, сотни восторженных глаз, устремленных на него... Ему даже казалось, он слышит сердца слушателей, бьющиеся в унисон его словам. И речь выходила красивой, убедительной,— сейчас он управлял дыханием всего переполненного зала и умилялся собой, своей логикой.

— Мы столкнулись с кризисом бездушия! Но почему? Да потому, что некуда ей было приткнуться! Душе нашей... Некуда! Любовь, утерянная природа... даже обычная дружба — все превратилось в печальные архаизмы. Все реже и реже они навещают нас. И процесс прогрессирует.— Броновский сделал паузу. Сейчас он скажет им главное... он судорожно сглотнул.— Сон! Нас может спасти только сон! Программируемый, максимально овеществленный... Вернутся мечты и утраченные иллюзии! Я уже не говорю о том, что фактически мы продлим нашу жизнь, избавим ее от бессознательных ночных провалов! Мы продлим жизнь не физически, но духовно! Чего нам так не хватает...

Слова Броновского потонули в грохоте оваций. Начинался его триумф, триумф будущего директора! Множество рук подхватило его. Все, что до сих пор лишь теплилось в сознании, теперь вспыхнуло, взорвалось сумасшедшим ощущением счастья. Волны людей плыли под ним, бережно передавая драгоценную ношу из рук в руки. А он плакал и смеялся одновременно, глотая текущие по лицу слезы...

Взгляд, чужой, презрительный, бурун среди спокойного моря, шилом воткнулся в него, больно уколов сознание. Случилось что-то необъяснимое. Броновский еще не осознал это, но понял: что-то разладилось. Общая карти-

на радости и ликования рушилась на глазах. Но почему? За что... Человек, невидимый в гуще людей, продолжал смотреть на него с ненавистью, и Броновский видел теперь только эти прищуренные глаза. Страшные, непрощающие... Оглянувшись, он вдруг разглядел, что глаза всех остальных людей закрыты. Они двигались подобно лунатикам, они продолжали нести его... Но куда?! Броновский рванулся из внезапно окаменевших пальцев. Нет! Они не допустят... Но он уже знал, чувствовал, что свершается нечто зловещее. Словно прозрел в один миг. Его уже не качали — его несли. Несли на расправу.

Крики, пятна незрячих лиц — страшное шевелящееся одеяло! У него закружилась голова. Звуки поплыли, заскользили к высокому потолку и начали пропадать. А вместо них Броновский услышал знакомый нарастающий свист падения. Руки, державшие его, исчезли — он летел куда-то вниз, сквозь бесчисленные потолки этажей, пробивая подвальную темноту.

Тусклый сумрак ослепил его. Он вновь прикрыл веки и трясущимися руками обхватил голову. Опухшее небритое лицо в собственных ладонях показалось ему мерзким, каким-то совсем чужим. Броновский застыл в кресле, переживая первые тяготы пробуждения. С каждым разом это становилось для него все труднее. Сегодня все окончательно спуталось. Он не понимал, откуда явился к нему этот странный сон... Броновский с трудом оторвался от кресла, тело подчинилось ему со скрипом, с каким-то костяным скрежетом, точно его давно не смазывали и все там, внутри, рассохлось до жухлой ржавчины. Когда же он поднимался в последний раз? На глаза попалась закаменелая хлебная корка, лежащая на столе среди высохшего крошева. Значит, давно... С кряхтеньем он прошаркал к небольшому изумрудного цвета бассейну и, согнувшись в три погибели, напился теплой, безвкусной воды. Внутри потекло и ожило, сухой ком в горле растаял. Броновский посмотрел на свое колышущееся отражение и невольно поднес руку к лицу. Да, за последнее время он совсем сдал. Почти старик... Он осторожно выпрямился, и в голове тотчас застучали остренькие молоточки — по вискам, по затылку. Дождавшись, когда болевой вихрь чуть стихнет, Броновский растер впалую грудь и шагнул к окну. Мутное, в прожилках грязноватых подтеков, оно искажало светивший сквозь него мир до неузнаваемости.

Напряженно вглядываясь, Броновский скорее угадал, чем увидел, в пыльных разводах контуры небоскребов. Там, где стоял памятник Неизвестным Ученым, низко над землей стлался желтый, нездоровый туман. Или это тоже фокус загаженного стекла? Броновский вытянул шею и скосил глаза вниз. Все то же... Тысячи фигурок — змеящаяся очередь к зданию института. Коченея на мраморных ступенях, люди покорно ждали — многие, должно быть, простояли сутки и больше... Он поскреб отросшими ногтями стекло и вернулся к столу. Мимоходом прошелся взглядом по массивному корпусу главного генератора. От низкого мерного гудения воздух в кабинете чуть дрожал,— сердце института не переставало биться ни на секунду.

И все-таки, до чего странный сон! Совсем непохожий на другие. Во-первых, тот человек с прищуренными глазами, а во-вторых... Машина вдруг полезла в прошлое, чего раньше никогда не делала. Может быть, расстройка в программаторе? Или в генераторах? Он оглянулся на гудящие блоки. Нет. В надежность генераторов он верил. Значит, стойка...

На столе заверещал телефон. Вздрогнув, Броновский испуганно посмотрел на него. Первый живой звук... Он протянул руку и взял трубку — она показалась неожиданно тяжелой.

— Директор института? — голос был молодой и злой.

— Я слушаю,— Броновский устало привалился к спинке кресла.

— Вчера я побывал у ВАС! Как это произошло — не имеет значения. Важно — ЧТО я увидел!

— Что же?

— Я увидел полный институт мертвецов! Живых, но уже отказавшихся от жизни...

— Вам, очевидно, не хватило места,— Броновский равнодушно прикрыл веки.

— Я хочу сказать вам... Вы преступник, Броновский! Ваш яд опасней самой страшной отравы! И я сделаю все, чтобы покончить с вами, спасти тех, кого еще можно...

Броновский хрипло рассмеялся, это вышло у него само собой. Он просто сразу увидел толпы мерзнущих, переступающих с ноги на ногу и все же упорно ждущих разрешения войти в храм, отдаться во власть сна, избавиться от серых, неприглядных будней. И еще он вспомнил, как группа студентов-молокососов пыталась бить окна. Неизвестно, что бы с ними сотворила толпа, если б

не помощь властей,— юнцов с трудом отбили, еле живых. Помнится, пришлось даже расплатиться парочкой свободных мест. Кому-то из управления... Он швырнул трубку на стол и выпрямился. Увы, все куда примитивней. Парню просто не досталось места, вот и злится бедолага. И все-таки... Броновский задумчиво оглядел кабинет — что-то сегодня не так. Сон? Или... Стоп! Какое-то неясное воспоминание робко проталкивалось наверх... Вен! Конечно же, он! Его помощник! Броновский сосредоточенно наморщил лоб, вспоминая. Кажется, они разговаривали с ним, и что-то в этом разговоре было неприятное, отталкивающее. Броновский представил лицо помощника. Вот здесь, в этом кабинете, Вен что-то ему говорил... Черт! Почему ноют скулы? Он потер их ладонью. Самое неясное — это связь: Вен — и звонок...

Он вышел в прихожую и, подняв с пола обветшалый халат, накинул на плечи. Почему-то знобило, хотя с терморегуляцией все было в порядке. Наверное, просто давно не ел. Броновский вернулся к столу и подобрал высохшую корку. Все равно придется пройтись, по дороге догрызет... Он вдруг подумал, что двери внизу могут быть открыты, иначе как бы попал к ним этот звонивший?

Липкая темнота прижала его к дверям кабинета. Закрыв их за собой, он словно очутился в другом мире. Невнятное шебуршание, душная, повисшая в воздухе тяжесть... Он попытался вспомнить, отдавал ли распоряжение выключать в коридорах свет. Сейчас во всем экономили, даже в самой малости. Впрочем, нет, его заведения вся эта экономия не касалась. Должно быть, обычная неполадка. Теперь, немного привыкнув к темноте, он мог уже видеть почти весь коридор. В самых различных позах люди сидели, лежали на полу сколько хватало глаз, и от каждого змеями тянулись, исчезая в темных каменных аппендиксах, пучки проводов. Там, в этих тупичках, мигая розовым светом индикаторов, стояли стойки электросна. Счастливого, светлого, именно такого, какого все они так страстно желали...

Вот он, простой металлический шкаф, густо усыпанный глазками светодиодов. Из обнаженного бока мощным жгутом выпирало множество темных шлангов, расползающихся по полу отдельными рукавами. На конце каждого из рукавов цепким кольцом сжимал голову человека сверкающий датчик. Броновский привычно сосчитал —

ни одного свободного места. Стойка работала в полную нагрузку.

Он хотел двинуться дальше, но почему-то задержался, чем-то его остановило это зрелище. Он вдруг понял, что картина не нравится ему. Все эти причмокивающие губами люди, отдавшиеся во власть железного монстра... С испугом Броновский откачнулся назад. Нечто влекущее, гипнотическое почудилось ему в сиянии глазков стойки. Они точно звали его, и он всерьез испугался, что сейчас покорно двинется к ним. Шагнув в сторону, он наступил на что-то мягкое и торопливо отдернул ногу. Черт! Опустив глаза, Броновский разглядел человека. Нет! Сперва успокоиться... Он прислонился к стене и перевел дух. Стена оказалась влажной и скользкой от дыхания сотен легких, и он поспешил тронуться дальше. Только смотрел под ноги, старательно обходя и перешагивая через людей.

Не стоило брать корку. Только разбередил себя. Плохо, что пропала еда,— он здорово ослабел. Раньше ему доставляли ее прямо в кабинет. А теперь что-то разладилось. И эти люди... Помнится, были кресла, врачи, операторы. Или нет, это давно... а потом количество стоек утроили. По требованию масс. И кабинетов стало не хватать, в ход пошли коридоры. Из персонала осталась фактически одна охрана. Где-то она должна быть... Броновский в очередной раз остановился, ухватившись за стенку. Он брел по коридору и параллельно — по памяти. Реальная жизнь, переслоенная снами, вспоминалась тяжело, точно лопатой выскабливали мерзлую землю, и каждый пласт требовал значительного напряжения. Может быть, все всколыхнул этот чертов звонок? Или все-таки сон... Да! Он ведь что-то хотел вспомнить о Вене!

Броновский огляделся, словно отыскивая случайную деталь, которая подтолкнула бы его застывшую память. Все то же недвижимое, сонное окружало его. Гул стоек спокойно вливался в общее протяжное гудение аппаратов. Гибкая система, завязанная с главными генераторами, продолжала варьировать и выбрасывать программы, и спящие вокруг люди ненасытно поглощали их порцию за порцией, требуя новых и новых... Броновский окинул взглядом лежащих вповалку пациентов. Спрут! Нет, скорее паук, раскинувший паутину с глупыми, обезволенными жертвами. Директор презирал сейчас всех лежащих на полу, как презирал и себя за полнейшее бессилие противостоять сну. Пройдет десять — пятнадцать минут,

и, ощутив жестокий голод, он снова вернется в кабинет, чтобы нырнуть, погрузиться в выдуманный феерический мир, превратиться в такой же полутруп.

От этой мысли ему стало не по себе. Даже не от самой мысли — его устрашило, что он НАЧАЛ так думать. Что-то происходило с ним. Броновский растерянно потер лоб.

На скоростном лифте, ослепившем его залитой светом кабиной, он спустился в вестибюль.

На первый взгляд там все было в полном порядке. Ярко горел свет, прозрачные толстого стекла двери были надежно заперты. За ними Броновский, на этот раз уже совсем близко, увидел неподвижные фигуры людей, ожидающих своей очереди. Многие из них сидели или лежали на подстеленных газетах, вяло что-то пережевывая. Другие с поднятыми воротниками стояли спиной к ветру, вперив взгляды в пустоту. Они ждали, когда откроется дверь.

Но где же охрана? Броновский оглянулся. За деревянной конторкой, откинув лысеющую голову так, что виден был тощий кадык, сидел единственный охранник. Тело его конвульсивно подрагивало, губы бессмысленно улыбались. Обруч, опутанный проводом, сжимал череп десятком хищных электродов. Выругавшись, Броновский шагнул к нему и решительно потянулся к обручу, но тут же передумал. Лучше обесточить саму стойку. Он проследил за сбегающими вниз витками черного кабеля и поежился: стойка пряталась в узкой нише, откуда гулкими вибрирующими волнами вытекал прогретый трансформаторами воздух. Кто же посмел перетащить ее туда? Охрана называется!

Сердито сопя, он обогнул конторку и заглянул в нишу. Здесь лежало еще двое — и тоже из охраны! Чуть дальше, зажатая меж стен, холодными огоньками переливалась стойка. Царственный синтезатор сна... Выключить, и немедленно! Броновский перешагнул через распростертые тела и протянул руку к панели. Из-под ног шарахнулось что-то мохнатое. Крыса?! В голове молнией высветились глаза Вена. Перекошенное лицо, открытый в беззвучном крике рот... Рука Броновского замерла на полпути. Память отчаянно пыталась пробить брешь в затуманенном сознании, и, кажется, оставалось так немного, чтоб окончательно вспомнить. Крысы... при чем тут крысы... Да, они действительно появились в последнее время. Портят

изоляцию, аппаратуру... Может быть, Вен говорил о них?

Ах дряни! Ему показалось, что он слышит хруст перегрызаемой проводки. Сколько уже стоек вышло вот так из строя! Но выключить ее необходимо в любом случае. Он потянулся к тумблеру. От резкого щелчка стойка вздрогнула, оборвав на полутонах гулкие басы, ее светодиоды подернулись мутнинкой и начали тихо гаснуть. Подчиняясь какому-то предчувствию, Броновский еще чего-то ждал. В следующее мгновение глаза его удивленно расширились. Меркнущий свет индикаторов вдруг ожил и, мигая, пошел наливаться какой-то злой полноцветной силой. И снова загудело — стойка работала!

Неисправность? Броновский лихорадочно соображал, пытаясь отыскать причину. Все, конечно, из-за этих крыс! Он склонился над тумблером — и отшатнулся: правую руку до самого плеча пронзило острой, дергающей болью. Напряжение на корпусе?! Он ничего не понимал. Только что его НЕ БЫЛО! И тут, в узкой щели между стеной и стойкой, отчаянно скрежетнуло писком — крупная синеватая искра, выстрелив, осветила серое дернувшееся. Злорадное чувство вспыхнуло в глазах Броновского и тут же сникло, придавленное тяжким грузом заговорившей памяти. Он вспомнил слова Вена... На отяжелевших ногах Броновский попятился к выходу. Кое-как он добрался до лифта и только здесь, в наглухо закрытой со всех сторон кабине, постарался прийти в себя. Нажатая кнопка подала команду, и лифт мягко помчался наверх. Броновский, зажав голову руками, сидел на полу, а в ушах звучал голос помощника...

— Очнись! — Вен тряс его за лацканы пиджака.— Ты слышишь меня?! — он наотмашь хлестнул директора по щеке и сорвал с него обруч.

Броновский тупо качнул головой и коротко застонал. Веки его дрогнули, и он непонимающе уставился на своего помощника.

— Вен... Что-то случилось?

— Случилось! — помощник выругался и сел на стол. Короткий кашель хлопками вырывался из его груди.

— Генераторы? — Директор сделал попытку подняться, но не смог.

— Да сам черт теперь не подступится к твоим генераторам! С ними нужно кончать! Или они кончат нас! Эти уроды в броне...

Кашель переломил Вена пополам, но он тут же выпрямился и, задыхаясь, быстро заговорил:

— Помнишь ли ты свои слова? Тогда, еще в самом начале. Райский уголок, точка во времени... то, что подарит счастье и вдохнет силы для борьбы с жизнью... С жизнью! — Вен расхохотался.— Вон твоя жизнь! За окном! Корчится от газов и ядов, лысеющая от дождей и теряющая зубы от пищи. И ей плевать, что смерть уже за ее плечами,— она жаждет только твоих идиотских снов!

— Но если бы не было и сна...— начал было Броновский, но Вен перебил его кашлем, сквозь который рвалась брань.

— Черт!.. Да ты должен молиться, что даже твои собственные детища восстали против твоего абсурда!

— О чем ты? — Броновский с недоумением глядел из своего кресла.

— Ты что... В самом деле ничего не видишь?

Вен резко толкнул кулаки в карманы брюк и заговорил, раскачиваясь:

— Пока ты пекся о себе, об этом гадюшнике, который мы величали институтом, пока опухал от сна с его сладкой электронной похабщиной, произошло то, о чем мы и не помышляли,— раздвоение машинной логики. Да, да! Принцип «Не убий, не порань» восстал против «Осчастливь, позабавь». И осознали это не мы с тобой, а они, электронные железяки! И нашли простой выход: вместо счастливых снов стали подсовывать кошмары, а тех своих собратьев, что не пошли по этому пути, начали уничтожать... Немыслимо и чудовищно — материализация! Это надо видеть... Они создают их у себя внутри и сразу выпускают для атак. Грызуны, змеи... Нападают и защищаются. Воюют те, что усыпляют нас, и те, что не желают уже этого делать. И лишь мы, люди, все еще остаемся в стороне...

— Сумасшедший! Что ты несешь?!

— Сумасшедший? — Вен непонятно и пугающе посмотрел на директора.— Верно... сумасшедший. Все мы тут помешались на мифическом счастье. Будто в норы забились и носа не высунем. Забвение наркоманов...

— Жизнь и без того сложна, и если...

Помощник остановил Броновского презрительным жестом.

— Я слышал это тысячу раз! — выкрикнул он.— Жизнь сложна, но ее сделали такой мы, люди! А вылезать из

трясины всегда сложней! И вот тут-то вынырнули мы со своей палочкой-выручалочкой. Сон для всех! Просто и надежно...

— Послушай, Вен!

— Нет, это ты послушай! — Помощник порывисто подался к нему.— Еще ведь не поздно! Все эти крысы и змеи — лишь оплеуха, приводящая в чувство... Втроем, вчетвером мы за день очистим институт! Все стойки до единой! И разом...

Броновский с ужасом смотрел на своего помощника. Бред! Жуткий бред террориста. Машинально, словно прячась под одеяло, он потянулся за обручем.

— Уйди отсюда. Ради бога...

— Что? — Вен до хруста стиснул пальцы, невидяще глядя на директора.— Ты... отказываешься? Раб... Слизняк! Когда опомнишься, будет уже поздно!..

Сидя на полу, он мучительно осознавал происшедшее. Все оказалось правдой! Страшной, нереальной... Пылающим лбом Броновский ткнулся в колени, голова шла кругом.

Машины... тупые машины прозрели первыми, но и они не пришли к единству... И начали собственную загадочную борьбу, борьбу против самих себя. И вот теперь все это встало уже перед ним — некоронованным царьком в царстве спящих, и он что-то должен для себя решить... Люди СПАЛИ. Спали, стремительно приближаясь к гибели, и за них воевали грызуны, схемы, скачущее в сети напряжение...

А он? Неужели погибает? И его стойка тоже?

Рука заныла с новой силой. Ослабевшее тело все больше охватывало волной озноба, так долго без сна он не находился уже давно. Усилием воли Броновский постарался погасить разгорающийся голод. Он еще не обдумал, не решил... А решать что-то было надо. Или поздно? Мысли Броновского вихрились. Он с трудом удерживал зыбкую нить рассуждений. Плюнуть? Помогать? Кому? Если себе, тогда нужен отдел... лаборатория... Черт! Как же называлась эта лаборатория? Что-то экстренное в названии... Впрочем, и там спят. Броновский как-то вразсдался. Дурман близкого сна уже владел им. Потом! Все потом...

Лифт давно стоял с открытыми дверцами, и пустой черный провал коридора, мерцая красными зрачками, смот-

рел на скорчившегося в углу директора. Где-то в темноте трещали разряды, раздавался писк...

Краешком сознания он еще продолжал цепляться за жизнь, но тело уже поднималось. Сейчас ему нужна была только стойка, и медленно, враскачку он поплелся, запинаясь за кабели.

Дверь... Он ввалился в знакомый полусумрак и, цепляясь руками за стол, добрался до стойки. И здесь, рухнув в кресло, нетерпеливо схватил сверкающий обруч. Виски ощутили холодный металл, и все начало таять. Уплывающим сознанием он успел заметить перед собой глазок, уверенно вспыхнувший красным, и тут же, заслоняя все, над ним засияло, заполыхало красками чужое, неземной глубины небо, нежно зашелестела листва, запели птицы...

Что-то произошло там, в заоблачных высотах. Мрачные мохнатые тучи тяжело расступились, и золотой сноп света, прорвавшись сквозь заслоны, ударил по стеклу кабинета, разбросав по углам веселых зайцев, наполнив комнату яркими бликами.

Сдавленный крысиный писк замер на полуноте. И тут же замок жалобно дзенькнул, и, косолапо переступая, в кабинет вбежал огромный бурый медведь. Не обращая внимания на спящего Броновского, он неторопливо протопал к окну. Влажный, чуть вздрагивающий нос ткнулся в грязное стекло. Медведь смотрел вниз, на бесчисленные фигурки, все так же молчаливо и неподвижно ждущие на промозглом ветру. Развернувшись, медведь двинулся к корпусам генераторов. Это были те самые генераторы, что питали стойки всего института.

Квадрат металлического кожуха, поддетый острыми когтями, зазвенел, изогнулся и наконец с грохотом рухнул, обнажив стеклянистые нити волноводов, ряды плат. Осторожным движением, точно прицеливаясь, медведь поднял лапу и с хряском опустил ее в хрупкое переплетение проводов и цепей, ломая их, превращая в рваное месиво. Фиолетово заискрило, и легкий дымок окутал медведя. Зверь отступил немного назад и снова поднял лапу. Теперь взгляд его был устремлен вниз, туда, где сходились с разъемов сотни проводов, встревоженно моргали аварийные индикаторы. Когтистая лапа описала короткий полукруг и ударила. Полыхнуло сразу и в гене-

раторах, и позади, в стойке. Туловище медведя скрутило и затрясло. В последнем судорожном усилии он оторвался от изуродованной панели и, яростно проревев, вновь поднял лапу...

Атавизм

Дверь скрипнула, и директор института биологии бодро вскинул голову, едва успев поймать сползшие с носа очки. В кабинет с раскрытым ртом ворвался Липунович — зам зама по атмосфере. Рухнув на стол, он шумно задышал.

— Вы что это? — директор изобразил озабоченность.

— Вот! — Липунович протянул ему распечатку с машины.

— Ага.— Директор внимательно осмотрел ее с обеих сторон.— Ну что ж, вижу, вы не зря потрудились, коллектив...

— Не то! — простонал бледный, как мел, Липунович,— Кислород! Парциальное и процентность, там, внизу!

Директор поправил на носу очки.

— Два процента — норма! — изрек он и непонимающе уставился на колонки цифр.— Где же они тут?

— В том-то и дело, что нет ничего. Вернее, вот, ноль-три с незначительным колебанием. Уничтожили кислород, начисто!

Директор недоверчиво склонил голову.

— Неужели не чувствуете? Ведь задыхаемся!

Директор, быстро вскочив, подбежал к окну. В фиолетовой дымке матово проступали здания, машины, люди... Все, как всегда, двигалось, функционировало.

— Фу! А я уж и впрямь испугался.— Он вернулся к столу.— Паникуете, Липунович! Вон же, за окном, и люди, и машины...

— Как? — не поверил Липунович.— Ведь вот же! Трижды брали пробы и пересчитывали. Не могут они ходить! — Он нервно затряс в воздухе бумажной лентой.

— А почему бы и нет? — Директор успокоенно развалился в кресле.— Ноль-три так ноль-три. Чего вы испугались? Наоборот даже — налицо, так сказать, некий прогресс, экономия. Сколько там раньше было? Два?

— Это год назад,— прохрипел зам зама.— Когда-то и двадцать было.

— Двадцать?! — директор искренне удивился.— Зачем же столько-то? — Он на мгновение задумался, озабоченно поиграл бровями и вдруг улыбнулся.— А ведь действительно! Сколько веков маялись и не сознавали! Что ж... Было, признаем! Но ведь исправили! Довели, так сказать, до оптимума.

Липунович с натугой осмысливал, синея лицом.

— Но ведь задохнутся же люди! — вырвалось у него.

— Кто вам сказал? — Директор строго посмотрел на него и возмущенно фыркнул.— Вон бегают ваши люди, хоть бы что, и воду из-под кранов пьют! А тоже, между прочим, говорили в свое время!

— Но я? Я же сам чувствую!

— Вы? — Директор прицелился в Липуновича изучающим взглядом.— А вы, по-моему, чересчур часто дышите. Вы бы попробовали совсем не дышать.

— Что? — зам зама не поверил ушам.

— Да, совсем. Сами же говорите, нечем дышать, зачем же дышать? — Директор и сам поразился своей мудрости.— Коллектив трудится, между прочим! А вы странно себя ведете, задыхаетесь... Это что же, намек какой?

Липунович в смятении остановил дыхание. Постепенно лицо его стало принимать нормальный оттенок, и директор обрадовался.

— Ну вот, голубчик, а вы говорили! Ведь лучше, правда?

Липунович кивнул.

— Ну а уж если приспичит — вдохнете чуток. С одного-то раза ничего не случится. Я вам на днях книжонку принесу — о мутациях и атавизмах. Забавная штучка! — Обойдя стол, директор помог Липуновичу подняться и, придерживая за локоток, довел до двери.— Вам бы еще веры в людей побольше. Люди у нас живучие... Гмм. Да и легкие, знаете ли, тоже надо беречь. Орган хрупкий, неизученный, зачем и для чего дышит — неизвестно...

Липунович, не выдержав, порывисто вздохнул.

— Бросьте вы! — директор поморщился.— Пора бы уж отвыкнуть. Мы ведь НИИ, авангард, так сказать. Что же это за пример! — он мягко вытеснил Липуновича за дверь.— И другим там передавайте. С атавизмом пора покончить.

Татьяна ТИТОВА

Сублограмма

● У Олега не нашлось свободной кассеты, и он попросил, чтобы я взяла свою. Еще он сказал, чтобы я торопилась, Артуро вызвал нас срочно, толком не объяснив задания. Намечалась грандиозная проверка. В нашем училище он комплектовал рабочую группу, отбирая людей с хорошей образной памятью. Артуро не называл цели, стоявшей перед несколькими из нас, но интуитивно мы понимали всю ее важность: старый межпланетник не посетил бы из праздного интереса художественную школу. Словом, я моментально собралась и помчалась. Чуть-чуть кассету не забыла.

С Олегом я столкнулась на лестнице, мы обменялись кивками и поспешили наверх. Сублограф он тащил свой, портативный, в чехле, как у заядлого граммера. И ни капли не волновался. Поговаривали, что Олег Дуплев был одним из первых, кого выбрал Артуро, так что Олег поднимался себе спокойненько по ступенькам чуть впереди, и меня это раздражало.

Он очень способный и пишет здорово, кадры получаются великолепные, но я давно хотела ему сказать, что он может делать только фрагменты, два или три в сублограмме: яркие, четкие, резкие, о которых потом гудит все училище, а остальная запись идет на полутонах; может быть, это стиль, но скорее всего, уловка, творческий прием. «Вот граммер несчастный»,— думала я, поднимаясь.

На площадке четвертого этажа Олег обернулся. Странно, мне показалось, будто он ищет поддержки.

— Задание будет на воображение. Причем все варианты должны остаться в записи, Артуро особо предупредил.

— Это тебя смущает?

— Да. Я не умею работать сразу.

— О чем речь, Олег. Никто не умеет. Если Артуро должен видеть, как мы возимся, пусть видит.

— Я хотел бы сразу найти сюжет, достойный его внимания.

— Упражнения еще никому не вредили.

— Если бы просто упражнение,— вздыхает Олег,— ты ведь знаешь, куда ведет результат...

— Это ничего не меняет. Он должен знать и наши слабости, и наши способности,— отвечаю я и замолкаю. Результат важен для нас, это несомненно, но неужели Олег собрался подгонять вопрос под ответ?

Артуро не ждал нас или делал вид, что не ждал. Перед ним лежал альбом с фотографиями: толстый, с потертыми уголками. Лучшие кадры или старые друзья?

— Можно? — спросил Олег.

— Пожалуйста,— развернул альбом Артуро.

Я отошла. Не могу смотреть чужие снимки. Все равно ничего не знаешь. А спрашивать неудобно. И работать сейчас, записывать, причем набело. А вместо своих мыслей и образов вдруг пойдут фотографии.

Олег отложил альбом, бегло перелистав.

— А вы не хотите? — сказал Артуро с улыбкой.

— Простите, не сейчас. Я не смогу работать,— ответила я откровенно.

— Вы человек понятливый,— Артуро уже не улыбался,— однако мне хотелось бы вас проверить.

— Да, конечно.

Я раскрыла альбом наугад.

Маленькая девочка лет четырех с игрушечной лопаткой стояла, нахмурив бровки, в ухоженном палисаднике. Была весна или осень, девочка хмурилась, и сандалия в капризном жесте была поставлена на носок. В ребенке угадывались черты Артуро, но Артуро никогда не говорил нам о дочери, мало того, мне показалось, что Артуро напряженно смотрит на меня, ожидая вопроса и опасаясь его. Под снимком была дата: почти двадцать лет с того осеннего дня. Она старше... но зачем, зачем мне понадобилось думать о ней именно сейчас, когда Артуро смотрит так, будто хочет взглядом отнять альбом... Какая связь может существовать между мной и дочерью Артуро, нет и не может быть никакой связи, если я не дам импульс в сублограмме, а импульс я не дам.

— Вот вам задание,— сказал Артуро.— Попытайтесь

изобразить бесконечно далеких от нас людей, знакомых только по историческим описаниям...

— А конкретно...— начал было Олег, но Артуро предупредил вопрос, протянув билет, в котором стояло: «Фрагмент сублограммы. Семь минут. Средневековье. Четыре действующих лица».

— Совершенно ничего не оговорено,— сказал Олег, когда мы вышли.— Четыре болвана, семь минут средневекового конфликта, итог — безнадежная ерунда,— снова пожаловался он.

Я промолчала.

Мы нашли пустой кабинет, Олег расчехлил сублограф, я достала пленку, новую, еще в обертке. Олег бы такого не потерпел. А я люблю хранить новые пленки, по крайней мере, кажется: не начну — не испорчу. Я не работала с Олегом раньше и поэтому, наверное, испугалась небрежного жеста, каким он содрал упаковку с кассеты: резко, почти зло. Ему неприятно, что я смогу вмешаться, поняла я. Испортить его коронные приемы. Испортить его отношения с Артуро.

Артуро... Он сейчас один!.. И в нас он ищет прежде всего детей, похожих на его дочь, а уж потом сотрудников, способных сублографировать. Если представить, что мы нужны на одной из недавно открытых планет Первого радиуса, где нет возможности объясниться иначе, как наглядно, имея экран, сублограф и мысль, достойную показать любое чудо Земли... И если представить, что она не смогла показать... нет, я же не знаю ничего абсолютно. Может быть, Олег?..

Он уже работал, и я не стала отвлекать его. То, о чем он думал сейчас, прямиком шло на пленку. Он начал, не поговорив со мной, значит, был уверен. Ладно, не буду вмешиваться. Пусть делает что хочет. Артуро его уже выбрал, а вот выбрала ли его я?

Олег мне нравился, это верно. Но не настолько, чтобы можно было дать ему это понять. Вообразил, что будут ценные кадры... Сказать ему про фрагменты? Обидится. Я ему скажу, что он мастер делать красивые декорации, вот что я ему скажу.

Олег закончил и откинулся на спинку кресла. Сразу же толкнул ко мне запись.

— Я так понимаю, что можно взглянуть?

— Конечно,— сказал Олег.— Забыла, что вместе работаем? Я начал, а ты продолжишь.

Непонятно, ирония или простота.

Я вернула пленку к началу и включила контрольный экран. Олег самоуверенно работал с выключенным. Всегда.

...В ночном сумраке пронеслись лошади. Стук копыт замер и повторился эхом под арочным сводом. Всадники возвращались, звенела сбруя и оружие.

— Дьявол, куда он мог уйти?! — крикнул средний всадник. Конь дернулся под ним.— Ищите!

Двое быстро спешились и прошли под арку. Вернулись.

— Огня бы,— сказал один.

— И так найдем,— бодро ответил второй, косясь на всадника, замершего в седле.

— Да найдем, чего уж... Не в поле травим... Собак бы...

— Толку-то от них, как от тебя,— шепнул второй,— смотри, я не я буду, если он сюда не заполз...

— Чего возитесь? — крикнул всадник.— Кнута просите? Где мерзавец?

— Не подох бы он там...— боязливо говорит первый.

— А проверь,— усмехается второй.— Зря нанимался, что ли? Живо! — шипит он.

Конь под всадником пляшет от нетерпения. Сдерживая его, всадник шагом подъезжает к узкому провалу между стенами домов. Он ждет недолго и облегченно вздыхает, увидев, что наемники возвращаются не одни. Беглец висит у них на руках. Вдвоем они привязывают его к седлу, садятся на лошадей и дают шпоры. Скачут не оглядываясь...

— Ну, видела? — спрашивает Олег.— Как?

Слишком гладко, слишком спокойно, думаю я. Лошади — только что с фрески Пизанелло, красивые итальянские тяжеловозы... Пятнадцатый век... Что ему сказать?.. Неужели он сам не чувствует?

— Извини,— говорю я.— Будто ты не имеешь понятия о феодализме. Будто ты ничего не знаешь. Ты увлекся бутафорией, только и всего.

— Исправляй,— смеется он.

Импульс. Мне он обязательно нужен здесь.

— Дай на секунду. Для импульса.

— Ты ведь этим ничего не улучшишь. Во всяком случае, качества не добавишь. Импульс действует только тогда, когда в картине все уже есть и без него, иначе

это просто чужое, поверхностное чувство,— раздраженно говорит Олег.

— Я знаю. Именно поэтому ты боишься его использовать.

— Очень надо,— отвечает Олег.

Импульс.

как хотите и что хотите можете думать беглец хороший человек восприятием ребенка кожным ощущением добрый и сильный

Вот так. Будто я вместе с ним.

...Он шел, держась правой рукой за мокрую стену. Левая висела плетью. Он чуть не упал, потеряв опору, когда рука ощутила пустоту. Он догадался свернуть в проем и затаиться. Он слышал, как всадники вынеслись на площадь, и слышал, как они вернулись.

Между стенами не было и полутора локтей. Пахло сыростью, каменная кладка обомшела. Он шел вперед, стараясь не поддаться боли и усталости, и вскрикнул, когда наткнулся на стену впереди. Тупик.

Феррара повернулся, привалился к камням и стал ждать. У него не было оружия, кроме ножа, купленного в Толедо. Он заметил преследователя раньше, чем тот его. Он двигался правым боком, шаря впереди мечом. Феррара видел, как он боится.

— Остановись,— сказал Феррара.

Тот ахнул и встал. У Феррары было мгновение, чтобы ударить. Но клинок лязгнул о стальной нагрудник. Феррара потерял равновесие и упал на раненую руку...

Олег тронул меня за плечо. Я вздрогнула.

— Что ты делаешь? Зачем это? Кто это?

Я не колеблюсь:

— Хуан Феррара. Испанец. Родился в Толедо в тысяча триста девяносто втором, бежал в Италию, отомстив сеньору захват и разорение родовой земли, и...

— Прекрати! Перестань! Ты не можешь этого знать! — с тревогой говорит Олег.

— Ты прав. Но знаешь, если Артуро не пригласит нас, я сниму ленту полностью...

— И нужно тебе? — равнодушно бросает Олег.— Тема была задана, нужно ограничиться семью минутами. Конец я смазал, ты поддержала. Нормально, хватит.

Отворачиваюсь. Отворачиваюсь от записи, от Олега, я сделала все, что могла, теперь полное безразличие. Смотрю в окно и мысленно вижу снимок из альбома

Артуро. Спрашивать Олега о девочке мне не хочется, да я и уверена, что он тоже не знает. Артуро вообще крайне замкнут, и у него не было причин для разговора с Олегом. Я понимаю, что не сделала ничего для Артуро, но Олег уже компонует оба фрагмента, так что поздно менять что-либо.

— Прости,— говорю,— Олег. Один крупный план. Лицо Феррары.

— Делай, будет интересно.

Всего только интересно, бедный Олег. Интересно: черное от усталости и боли, со слипшимися от крови волосами, распухшими, разбитыми губами, полузакрытыми глазами, которые он медленно открывает, очнувшись. Он не отводит глаз под взглядом сеньора. Сначала в них страх, потом безразличие, а потом ненависть, лицо меняется, на мгновение исчезает боль, и проступает свет, чувство, долгий взгляд, как твой.

Импульс.

случайно или намеренно лицо Феррары стало лицом Олега глаза которого я хочу видеть так же близко

Олег импульса сейчас понять не сможет, и к лучшему, что не сможет. Могло ведь и не получиться.

— Не слишком? — спрашивает Олег.— Два импульса за семь минут?

— Не знаю, ты же не чувствуешь,— отвечаю я.— Ты же не понимаешь, не хочешь понять, боишься понять...

— Что такое?

— Достоверность невозможна без возникновения чувств. У тебя пойдут живые картины и декорации. А ты мастер делать декорации,— говорю я машинально. Не знаю, почему я так упорно хотела ему это высказать. Бессмыслица. При чем здесь декорации?

Олег окажется прав в том случае, если целью отрывка был показ. Я буду права, если целью было понимание. Что, если Артуро проверял именно эту способность? Тогда — средневековая планета, так? Но не для Олега...

— Превосходно,— говорит Олег.— Закончим этим импульсом и крупным планом. Спасибо.

— Ты знаешь что-нибудь об Артуро? Вернее, о том, для чего ему этот фрагмент?

— Ничего,— улыбается Олег.— А неплохо, верно?

Я не отвечаю.

Артуро приходит в студию, когда все поклонники «из-

вестного граммера Олега Дуплева» уже в сборе. Или почти все.

— Извините, Артуро,— обращаюсь я к нему.— Можно попросить импульсатор, там должно было получиться...

— Конечно же, можно. Что-то вы опять придумали? — шутливо говорит он.— Настройте кто-нибудь пульсатор.

Мне уже жаль, что я попросила. Но Артуро хотел видеть всю пленку. Я не смогу скрыть, да и не хочу скрывать того, что получилось. Но ведь это и признание, открытое признание. Интересно. Как Олег сказал: интересно, будет интересно.

Пока идет просмотр, все молчат. Артуро, Олег. Ребята. Я не могу поднять глаз. Мои импульсы воспринимаются как чужие. Так и должно быть, успокаиваю я себя.

Конец пленки. Но экран не гаснет, а подергивается рябью, сквозь которую угадывается движение.

— Сработал кто-то из вас,— говорит Артуро и смотрит на меня.— Дал такой импульс, что действие логически продолжается. Теоретически это возможно, но я впервые вижу.

«Возможно, логически, теоретически...» И вдруг я кричу:

— Олег! Феррара, они тебя убьют! Олег, помоги же!

— Это же запись! — тоже кричит Олег.

— Дуплев,— спокойно говорит Артуро,— делайте, что просят.

Олег бросается к экрану. Впервые Артуро назвал его по фамилии.

Тонкая муть рвется, пропуская Олега, и сквозь рябь совсем уже ничего не видно.

Артуро подходит ко мне.

— Ах ты, кошечка...— беззлобно говорит он.

— Я не могла, я не могла по-другому...— шепчу я.— Иначе не искусство.

— Жизнь,— говорит Артуро.— Жизнь, а не искусство.

Феррара жив. Вот он спрыгивает со сцены, приближается. Глаза, какие я хочу видеть.

— Олег,— плачу я,— Олег...

— Ты... ты действительно видела меня таким?..— волнуясь, спрашивает Олег.

— Да нет, да нет же... я не могу объяснить... ты был не прав, я хотела показать, что они живые...— бессвязно говорю я.— Но ты что-нибудь понял?

Олег неожиданно обнимает меня. На нем домотканая одежда, под рыжей рваной курткой — металл. Кольчуга.
Ребята толпятся вокруг разинув рты.
— Олег...
Глаза, какие я хочу видеть. Глаза Феррары.
Артуро подходит к нам. Со стаканом воды.
— Вы будете работать со мной. Вы прекрасно работаете.
Олег благодарит.
Я беру стакан из влажных пальцев Артуро. Они чуть дрожат. Мне хочется спросить, крикнуть: «Что? Что случилось с вашей дочерью, Артуро? Что с ней?»
И я понимаю, что спрашивать нельзя.

Герман ДРОБИЗ

Задача

1

Ровно без пяти шесть солнце поднялось над дальними горами и осветило аккуратные квадраты города А. Лучи легли поперек широкого прямого шоссе, ведущего в город Б и обсаженного с обеих сторон тополями. Тени от тополей делили шоссе на равномерные отрезки, делая его похожим на школьную линейку. У начала шоссе, обозначая городскую черту, стояла высокая прямоугольная башня с цефрблатами на всех ее сторонах. Вскоре шесть торжественных ударов проплыли над городом, и он ожил: на улицах появились участники задач, и среди них пешеход.

Он с наслаждением вдохнул свежий утренний воздух, к которому примешивалась тончайшая водяная пыль. Бассейн уже действовал. Тротуар возле него вибрировал от работавших под землей насосов. Из двух широкогорлых труб обрушивались водопады, над ними в столбах водяной пыли блуждала радуга. В середине бассейна вода закручивалась воронкой, уходя в третью трубу. Пожалуй, это была самая красивая задача в городе. Где-то кому-то предстояло решать ее с помощью довольно хитрых вычислений, пешеход же мог воочию убедиться, что уровень воды неподвижен.

Бассейн, окруженный просторным газоном высокой травы, лежал у подножия холма, а вершину занимала центральная площадь, и с нее был виден весь город и окружавшие его равнины. По заведенной привычке пешеход затратил некоторое время на круговой обзор. Он уговаривал себя по-прежнему любить город А, хоть и давно убедился в его полной схожести с городом Б. И тут и там кварталы были нарезаны безупречными прямоугольниками. И тут и там вокруг центральной площади располагались жилые районы, а за ними теснились фабрики, заводы, электростанции, ремонтные мастерские, склады, гаражи; за городской чертой простирались поля, огороды и пастбища. В полях, в золоте спелого хлеба, равномерно продвигались комбайны, выкрашенные в алые и кремовые тона; над темной зеленью огородов сверкали струи дождевальных установок; и только неровные в очертаниях и пестрые по цвету стада на пастбищах нарушали строгую геометрию всего видимого; однако и они, пешеход знал это, неукоснительно выполняли свою задачу, поедая траву на отведенных им участках в заданном раз и навсегда темпе. Беспрерывная, слаженная работа шла всюду, никто не медлил и не торопился, никто не опаздывал, не делал более того, что полагалось, и менее того. Все было подчинено условиям задач, задачи же были заданы, и не стоило спрашивать, отчего именно такие, а не другие и зачем они существуют вообще. Никто и не спрашивал...

Ровно в семь пешеход пересек тень башни и очутился на шоссе. Он участвовал в нескольких задачах. Эта, утренняя, заключалась в том, что, выйдя в семь утра из города А и двигаясь со средней скоростью четыре километра в час, следовало к десяти утра достигнуть города Б. Отсюда для сведущих в решении подобных задач возникала возможность вычислить расстояние между городами.

Шоссе шло строго по прямой, не имея ни одного поворота, и было плоским, как стол, за исключением того места, примерно в середине пути, где протекала спокойная, в отлогих песчаных берегах река и через нее был переброшен красивый горбатый мост. Иногда пешеход сравнивал себя с маятником, который качается между городами А и Б. Когда он удалялся от А, то с сожалением расставался с ним, но по мере приближения к реке

это чувство ослабевало, а когда он взбирался на мост и с его самой высокой точки открывался вид на оба города, он посылал мысленное прощание городу А и с нарастающей симпатией к городу Б начинал спускаться к нему с вершины моста. На обратном пути все это повторялось в обратном порядке.

Неподалеку от моста всегда купались мальчишки, их голоса весело звенели над водной гладью. Впрочем, неверно было говорить, что они купались: они участвовали в своей задаче и проплывали вдоль берега определенные расстояния, каждый раз за определенное время.

В городе и за городом не было ничего такого, что не выполняло задач, ничего, служившего каким-нибудь другим целям. Смысл жизни был столь очевиден и великолепен в своей определенности, особенно по утрам, на первых шагах по шоссе, когда прохладный воздух, напоенный ароматами полей, обвевал щеки, шею и грудь пешехода, идущего со скоростью четырех километров в час по огромной линейке, исчерченной тенями от тополей. Условие следует выполнять для того, чтобы задачу можно было правильно решить, задача же существует для того, чтобы ее решали, и делали это правильно. И точка.

Пешеход затруднялся припомнить, с каких пор эта очевидная точка начала превращаться в запятую, и вслед за двумя ясными утверждениями забрезжило нечто зыбкое, некое дополнительное соображение, а возможно, вопрос. Нельзя сказать, чтобы это ощущение занимало его надолго, но в последние дни оно приходило все чаще и уходило все медленнее. Особую тревогу вызывало такое, казалось бы, прямо не относящееся сюда обстоятельство, как его разочарование в городе А. Ему перестал нравиться облик родного города, а заодно и города Б, иных же городов не существовало. Неизвестно отчего, но это был очень тревожный знак, признак надвигающейся беды. Что-то должно случиться с ним или с городом, но с городом ничего не могло случиться, ибо случаи располагаются во времени произвольно, а в городе А властвовала точность. Значит, беда родилась и подрастала в нем, в пешеходе, и могла означать только одно: нарушение точности. Мрачность предчувствия, к счастью, сильно смягчалась сейчас знакомым видом пустынного шоссе, золотым сверканием колосьев по одну его сторону и сочностью оттенков, украшавших по другую сторону цветущий луг. «Нарушение точности?.. Как бы это могло выглядеть?

Так, что ли: шел я, шел да вдруг и уселся прямо на обочине и никуда дальше не пошел. Или разлегся в траве и задремал?» Подтрунивая над собой, пешеход произнес это чуть ли не вслух и в ту же минуту так явственно увидел, как он именно «вдруг» садится на гравий, просыхающий на солнце, местами уже сухой; да, запросто, в непринужденной позе усаживается, оперевшись за спиной обеими руками и привольно раскинув ноги, что, при всей дикости подобной картины, он невольно отдалился от обочины, ближе к осевой линии проезжей части, и поднял голову повыше, желая побыстрее заменить нелепое видение привычной красотой утренней равнины.

За спиной послышалось пение мотора. Он оглянулся, чтобы убедиться, что это, как всегда, старенький грузовик, чьим ежедневным утренним делом было перевезти груз из А в Б за пятнадцать минут. Да, это был он. Знакомый водитель высунул из окошка растопыренную пятерню — его обычный приветственный жест. Грузовик профырчал рядом, обдал сладковатым запахом отработанных газов и быстро удалился. Впереди, на асфальте, засверкала точка. Пешеход поравнялся с ней и, не останавливаясь, косо, по-птичьи, глянул: это была капля смазочного масла. Через десяток шагов он увидел следующую, затем еще и еще. Ощущение беды коротко всколыхнулось в нем; впрочем, в каплях не было ничего зловещего и опасного; напротив, они были красивы, словно кто-то раскатил по асфальту пригоршню граненых бус, вспыхивающих под солнечными лучами. Нет сомнений, грузовичок благополучно докатит до Б.

Сзади раздался предостерегающий звонок: на этот раз его обгонял велосипедист. Они коротко кивнули друг другу. Все в тот же город Б велосипедисту следовало прибыть за тридцать минут ровно. Красивый рослый парень, он, как всегда, был одет нарядно и, пожалуй, даже щегольски. Широкие плечи были обтянуты белоснежной рубашкой с синим отложным воротником, трепетавшим на ветру. Вскоре он умчался далеко вперед, но все еще был виден, как яркое сине-белое пятнышко. Оно чуть покачивалось из стороны в сторону и при этом становилось все меньше, меньше, а затем — или показалось? — сдвинулось в сторону и перестало уменьшаться. Еще не ускорив шага, пешеход уже понял, что произошло с сине-белым пятном. Он удивился, что теперь, когда беда ста-

ла действительностью, это поразило его меньше, чем ожидание, когда она произойдет...

Велосипедист сидел на обочине и осторожно ощупывал голеностоп правой ноги. Колено левой было разбито в кровь. По рубашке шла широкая грязная полоса, словно лента победителя в гонке. Велосипед лежал на боку посередине шоссе. Лужица масла, на которой подскользнулся гонщик, брызгами разлетелась по асфальту.

Увидев пешехода, велосипедист подмигнул ему, и это залихватское движение мало соответствовало потрясению и ужасу, читавшимся в его взгляде. Пешеход протянул руку и помог подняться. Велосипедист поставил машину, влез в седло, обращаясь с собственными ногами неуверенно и бережно, словно с только что выданным и еще не опробованным инвентарем, а когда нажал на педали, не смог сдержать стона. В этом месте подъем, ведущий к мосту, только начинался, но машина сразу пошла тяжело, и вскоре велосипедист медленно-медленно покатил обратно вниз, навстречу пешеходу. Они поравнялись, и пешеход придержал машину: ему показалось, что велосипедист снова упадет. Тот тяжело дышал, из колена попрежнему и даже обильнее сочилась кровь, он промакивал ее ладонью, той же ладонью утирал лоб, лицо было в крови и грязи. Солнце уже заметно поднялось над горизонтом. Начинало припекать. Над лугом плясали бабочки. Из-под моста доносились крики и визг купавшихся мальчишек.

Впервые за все время служения задаче среди таких же, служивших своим задачам, перед пешеходом находился человек, не имевший сил выполнить свою задачу. Никто никому не помогал в городе А, и он тоже, в этом не было нужды. До сих пор. Была ли запрещена помощь? Пожалуй, нет. Во всяком случае, он никогда не слыхал о таком запрещении. С другой стороны, в городе А никто не чувствовал общей ответственности за выполнение всех задач. Пешехода тоже не интересовали задачи, в которых он не участвовал. Он не считал, что они менее важны, чем его, но это были чужие задачи, и он за них не отвечал.

«Что ж,— подумал он,— в конце концов нам по пути...»

Обвиснув в седле, велосипедист смотрел на сочившуюся кровью коленку, он все еще не сказал ни слова с той

минуты, как они встретились. Пешеход уперся левой рукой в седло, исподлобья взглянул на велосипедиста. Тот благодарно кивнул и нажал на педали. Поначалу дело оказалось нетрудным, подъем был пологим, но это было еще предмостье. Но вот по обе стороны шоссе побежали столбики и перила ограды, и тяжесть сразу возросла, пришлось упереться в седло обеими руками и уменьшить угол между своим телом и дорогой. Гонщику тоже не мешало покрепче нажимать на педали,— он и старался, но быстро дошел до предела.

Краем глаза пешеход следил, как подымается мост, а вперед старался не глядеть. Мост превращался в бесконечность. Пешеход считал шаги, договариваясь сам с собой посмотреть вперед через пятьдесят, а потом еще через пятьдесят... Кроме того, что горели легкие, и сердце бухало, как колокол, и лился едкий пот, мешало наpacтавшее чувство страха неизвестно перед чем и злобы неизвестно на что. Казалось, он не толкает гонщика и его машину перед собой, а тащит их привязанными к своим ногам и гонщик не только не берет на себя часть усилий, но и еще цепляется за столбики ограды непомерно разросшимися руками...

Наконец они перевалили верхнюю точку подъема, прошли — проехали, пробежали — короткую пологую часть, и начался спуск. Сердце продолжало возмущенно лупить по ребрам, и дыханию еще не скоро предстояло вернуться к обычной, спокойной работе, и радужные круги текли и скользили в капле пота, застилавшей взор, а он вдруг почувствовал огромную, неведомую до сих пор радость победы; и с изумлением понял, что за все время подъема ни разу не подумал ни о своей задаче, ни о задаче велосипедиста, а был всецело поглощен задачей преодоления подъема. Он забыл о порученной ему задаче и поставил перед собой другую, не нужную никому, кроме него, и выполнил ее. Вот откуда была эта радость, разлившаяся во всех мускулах и клеточках его тела; взбудораженный ею, он в несколько шагов разогнал велосипедиста — словно раскрутил камень в праще,— и тот, даже не успев поблагодарить, вскоре замелькал далеко внизу скачущей цветной горошинкой. Пешеход смотрел, как грязноватое сине-белое пятнышко растворяется в солнечном мареве. Затем он сам бегом спустился с моста, влетел на хрустящий гравий обочины, затормозил на

нем — камешки брызнули из-под ног и дробно простучали по асфальту. Позади высился исполинский горб моста, великан, казалось, был обижен и озадачен своим поражением...

Густая высокая трава начиналась сразу от обочины. Не веря тому, что делает, пешеход вошел в нее осторожно, словно в воду незнакомой реки, и, неловко повалившись боком, улегся на мягкую, пружинистую подстилку, и стебли сомкнулись над его головой.

2

● Гром не грянул, и земля не раскололась. Только потревоженный жук с лаковой черной спинкой упал откуда-то прямо на щеку пешехода, пробежал, щекоча мельчайшими лапками, соскользнул в ямку ключицы. Пешеход выгреб его оттуда и отбросил в сторону.

Ничего не случилось, а между тем он прекратил переход из города А в город Б со скоростью четыре километра в час с непреложной обязанностью завершить путь к десяти часам. Он освободил себя от задачи и, так как никаких других обязательств у него не было, освободил себя от всего. Он был абсолютно свободен. Он мог пойти к реке и там купаться рядом с мальчишками. Мог пересечь луг и добраться до далекого леса. Мог уйти в поля, по которым плыли комбайны. Он представил, с каким ужасом смотрели бы комбайнеры на пешехода, бесцельно гуляющего среди полей.

Жук с лаковой черной спинкой — возможно, тот же самый — подымался по толстому стеблю цветка. Добравшись до соцветия, он начал переваливать через край лепестка, но лепесток не выдержал тяжести, и жук сорвался. Вскоре он снова полз по стеблю, снова сорвался и снова начал свое, видимо, бесконечное путешествие.

«Жук доползает от подножия стебля до его вершины за ... секунд. Какова скорость жука, если высота стебля ... см?»

Он щелкнул ногтем в крепкую спинку, она раскололась и выпустила усеянные черными пятнышками крылья. Они помогли жуку превратить беспорядочное кувыркание в полет, он улетел и больше не появился.

«Нас двое. Двое, прекративших свои задачи, я и жук. Кто еще?»

Ему показалось, что на солнце набежало облако и на лицо его легла тень. Нет, небо оставалось чистым, это под порывом ветерка качнулось огромное соцветие перезревшей ромашки. Тень, однако, осталась — тень мысли, которую он медлил впустить в сознание, хоть и понимал, что она уже возникла и вошла, тогда он попытался помешать ей облечься в слова, но одно все-таки пробилось и прозвучало, одно-единственное, твердое, холодное, краткое: «Цель».

До сих пор его целью было выполнение задачи, и это были однообразные действия, иногда приносящие радость и покой, иногда раздражающие своей повторяемостью, а сегодня они показались ему унизительными. Он способен на большее, он, к примеру, одолел мост, впрочем, и это не самое большое, на что он способен. Он чувствовал, что несет в себе предназначение к чему-то совсем иному. К чему? Выполнение задачи было скромной целью, а может, и ничтожной,— он понятия не имел о значении своей задачи, знал лишь, что важно соблюсти ее условия, а важна ли она сама, просто не представлял. Но, при всей ее скромности и ограниченности, задача была понятна как цель и наполнена небольшим, строго очерченным смыслом. Каков же был смысл в его теперешней свободе? Какова цель того, что с ним произошло и будет отныне происходить? Где и как он собирается употребить эту свою свободу, когда все вокруг продолжают выполнять свои задачи? Кем он станет в их глазах — примером или вечным укором? В этом маленьком мире, состоящем из двух городов, дороги между ними, полей, лугов и реки, нет ни одной щелочки, куда можно было бы протиснуться и попасть в иные обстоятельства. Этот маленький мир создан для выполнения задач, и даже солнце, дающее ему тепло и жизнь, служит задаче и существует для нее. Освободить себя от задачи оказалось не сложно и не страшно, но в этом мире нет ничего, что заполнило бы образовавшуюся пустоту. Вполне возможно, пешеход из задачи — не единственное его предназначение и не самое главное, но иное надо искать в другом мире, под другим солнцем. Для этого следовало поверить в существование других миров и отправиться на их поиски. Он попробовал вообразить иные миры... Они начинались, возможно, там, за стеной леса, или там, за горами, или там, за бездонной чашей неба... Но, даже если они и существуют, иные миры, в них происходит

то же самое, в них служат своим задачам, на том стоит все сущее. Правда, он, пешеход, только что выполнил личную, никем не заданную задачу — победил мост. Может быть, разгадка кроется здесь — мир может перемениться, задачи могут стать своими, личными, внутренне необходимыми? Это будет прекрасно для каждого в отдельности, но каким образом тогда усилия, мечты и задачи каждого сольются в общую жизнь, которая сейчас так слитна и слаженна в этом тесном мире двух городов, дороги, лугов, полей и реки?

Эти новые для него и все более туманные и горькие мысли привели его наконец в полное отчаяние. Опомнившись, он увидел себя стоящим на коленях, с крепко зажатой в кулаке горстью травяных и цветочных стеблей. Не понимая зачем, он принялся выдирать их с корнями, словно в обнажавшейся земле скрывалась мучившая его разгадка, а потом ткнулся лбом в мягкую прохладную землю, в корни трав, в которых едва пульсировала — неужели тоже выполнявшая задачу? — жизнь. Тихое, ровное гудение пришло к нему. Сперва показалось, это гудят соки, выкачиваемые корнями из почвы, и он подивился тонкости своего слуха, но потом понял, и мгновенно взорвавшийся в нем страх подкинул его на ноги.

С моста скатывался еще один грузовик, обычно обгонявший его перед самой башней города Б, и это несоответствие лучше всяких часов показало ему, на сколько он опаздывает. Он метнулся на обочину, и гравий захрустел под ногами, он побежал, а когда пение грузовика приблизилось, обернулся и вскинул руки.

Ясно различимый за лобовым стеклом водитель бросил на него взгляд, полный изумления и сочувствия, но и не более того; пешеход тут же вспомнил, что этот водитель из задачи, где предписана постоянная скорость, и, разумеется, он не мог уменьшить ее ни на ничтожную долю; а главное, по лицу водителя было видно: ясно понимая беду пешехода, он никак не представляет себе возможности участвовать в чужой задаче. Неучастие в чужих задачах — на этом стоял здешний мир! Когда он, пешеход, взялся помогать велосипедисту, он уже тогда совершил нечто неслыханное, неподобающее, вот отчего велосипедист и не посмел заговорить с ним; а ведь тогда казалось, что он еще ничего не нарушает, главным его условием было время в пути, скорость предписывалась средняя — время же он не собирался нарушать, когда

впервые уперся в седло велосипеда и зашагал к мосту; но теперь было ясно, что этого не следовало делать ни в коем случае, это уже было началом его бессмысленного бунта.

Борт грузовика пролетел рядом. Он прыгнул и вцепился в него, в следующее мгновение показалось, что руки оторвались и умчались, сомкнутые до судороги на жестком обрезе борта. Затем резкая боль сменилась тягучей, пронизала все тело; все же он удержался благодаря тому, что нащупал ногами скобу под кузовом. Несколько раз от толчков он терял эту ненадежную опору, болтал ногами в воздухе, извивался, как червяк, снова находил ее и снова срывался, а ладони вспотели и начали съезжать с борта. За мгновение до того, как он понял, что силы кончились и пальцы разожмутся, он разжал их сам и, как мог, оттолкнулся от борта. Как ни странно, он даже удержался на ногах.

Не более чем в пятидесяти шагах высилась башня, и стрелки на часах показывали ровно десять. Первый удар тяжело проплыл в горячем воздухе. С последним, десятым пешеход пересек тень башни и достиг города Б. Он прошел через его знакомую повседневную суету к центру, где, так же как в А, шумел бассейн. Он подошел к самому краю. Туча водяной пыли обдала его горящее лицо. Косые тени крыш лежали на газоне. Солнце стояло не так высоко, как казалось. День еще только начинался.

Дмитрий НАДЕЖДИН

О вкусах не спорят

● — Будь моей женой, прекрасная Микатарра!..

Нашатырный Джо с планеты Абувумба хлопнул клешней и замолчал. Чтобы сказать еще хоть слово, ему теперь требовалось опрокинуть в рот чарку-другую прохладного гидроксида аммония: жители туманной Абувумбы угрюмы и неразговорчивы.

Воспользовавшись паузой, вперед шагнул Малыш Парду.

— Несравненная Микатарра! Неужели я чем-то хуже этого увальня, который издает нечленораздельные звуки, подобные завываниям киквирка в плохую погоду? И мне, сыну радужных миров, не на что надеяться? Выбери меня — и мы вместе уедем на голубую Валгаллу!

— Микатарра! — проглотив свое пойло, проревел Нашатырный Джо.— Будь моей женой, будь! Не езди с Малышом Парду! Ничего хорошего нет на его Валгалле — один только репейник!

Микатарра оценивающе взглянула на соперников.

— Ступайте в путь и принесите что-нибудь диковинное и вкусное. А там я решу, кому из вас... Впрочем, отправляйтесь!

Малыш Парду поклонился и надел походные сапоги. Нашатырный Джо постоял еще немного, помигал единственным глазом, потом, топоча каменными башмаками, побежал к своему угловатому звездолету...

Парду устало тащился по тропам Вселенной. Изредка ему встречались большеглазые уроженцы планеты Путешественников.

— Нет ли чего новенького впереди, бездельники? Чего-нибудь такого, где вкусно готовят?

— Нет, Малыш Парду, на ближних планетах готовят дурно и неумело...

И Путешественники, ничуть не обидевшись на «бездельников», шли своей дорогой, а он — своей. Хитрые звезды холодно смеялись ему вслед. А он все шел и шел, тщательно избегая тех мрачных закоулков, в которых страшные черные тени поджидают одиноких скитальцев.

Но вот однажды Малыш Парду пребольно споткнулся о крохотную планетку, не замеченную вовремя. Кляня собственное зрение, он уже собирался поддеть ее ногой и отправить на другой конец Галактики, как вдруг... Как вдруг на него нахлынули запахи! Целая волна запахов! Парду пришлось зажать нос, чтобы устоять перед этой волной. Поразмыслив совсем немного, он понял, что случайно набрел на знаменитую планету Кулинаров, о которой давно уж ходили легенды среди Путешественников.

Планета Кулинаров вертелась перед ним. Он прыгнул на нее, предварительно уменьшившись до разумных размеров...

Он стоял над большим городом — и со всех сторон неслись к нему смешанные ароматы неведомых блюд.

Малыш Парду терялся в догадках: что же здесь — самое вкусное?

...Хозяйка уронила посуду, когда зазвенело разбитое стекло и в окно девятого этажа просунулась лохматая голова с озорными глазами. Голова осмотрелась, принюхалась и ухватила не запечатанную еще банку с клубничным вареньем — что иное выбрали бы вы, оказавшись на месте Парду?!

Опомнившись, хозяйка высунулась в окно. Длинноногий уродец бежал прочь, перепрыгивая через дома и деревья. Потом он сиганул в небо и исчез...

Теперь Парду, изредка встречая на звездных дорогах неторопливых любознательных Путешественников, уже не останавливался, чтобы поговорить с ними. Во-первых, он боялся проболтаться о планете Кулинаров. Если это случится, вечно голодные Путешественники сбегутся к ней отовсюду и, конечно же, не оставят Кулинарам ни капли варенья. Во-вторых, он опасался потерять свою ношу: Путешественники — народ вороватый...

Так шел он и шел. Близ тех миров, где жила прекрасная Микатарра, он повстречал Нашатырного Джо. Тот тащил на себе целую планету, покрытую глыбами льда.

— Ну что, Малыш Парду, где же твоя добыча? — Нашатырный Джо был настроен на удивление миролюбиво.— А я, как видишь, раздобыл вот эту штучку. Растоплю ее — и будет у нас с Микатаррой огромное море божественного напитка, равного которому нет во Вселенной!..

— Ах, как вкусно! — защебетала несравненная Микатарра, отведав принесенного Малышом Парду варенья.— А что там у тебя, Джо?

Джо свалил с плеч свою ношу и, передохнув немного, отодрал кусок льда с ее поверхности. Затем принялся объяснять, поскольку был сейчас на редкость разговорчив:

— Эта планета — универсальный коктейль-бар! Я отбил ее у жуткого страшилы, что живет на краю света.— Джо самую малость погрешил против истины: страшила был не так уж и страшен и планету свою охотно променял на предложенный ему звездолет.— При этом я потерял свой корабль. Страшила же сам стал планетой и теперь вращается вокруг звезды там же, на краю света... Но — к делу! Секрет напитка таков: берем кусок

льда, суем его вот в этот вулкан, единственный на планете. И получаем нектар!

В воздухе явственно нарастал запах нашатыря.

Прекрасная Микатарра лишилась чувств...

Свадьбу они сыграли пышную. Малыш Парду синтезировал большое количество варенья, а потом уехал с несравненной Микатаррой на голубую Валгаллу, где они вскоре повывели весь репейник, насадив вместо него клубнику. Натуральное варенье все же вкуснее синтетического. И по сей день Путешественники славят хлебосольство супругов Парду.

А Нашатырный Джо, презирающий варенье, поселился чуть поодаль от Валгаллы, на своей планете, где полным-полно его любимейшего питья. Родственников с Абувумбы он к себе не пускает — считает, что слишком дорого досталась ему эта планета. Там, среди льдов, он поет свои заунывные песни и разговаривает сам с собой.

Только вот за дровами для вулкана с каждым разом приходится ходить все дальше и дальше...

Виталий Бугров
Игорь Халымбаджа

ДОВОЕННАЯ СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

Материалы к биобиблиографии

От составителей

Напомним читателям: начало данного обзора (от «А» до «Л») было помещено в предыдущем свердловском выпуске сборника («Поиск-86»).

Вкратце повторим, чем привлекла нас эта работа, необычайно трудоемкая, несмотря на наличие обширной критической и библиографической литературы.

Во-первых, очень многое просто не учитывалось нашими предшественниками и потому до сих пор остается в тени, ускользает от внимания исследователей, а значит, и из поля зрения рядовых читателей НФ. Между тем интерес к первым шагам советской «литературы мечты» год от года растет, не случайно начали наконец появляться сборники и антологии старой нашей, в том числе и довоенной советской фантастики. Таков, к примеру, солидный том «Происшествие в Нескучном саду», составленный В. Ревичем (М.: Московский рабочий, 1988. 528 с.).

Во-вторых, именно аннотированная (пусть по необходимости и очень скупо) библиография способна нагляднее, чем самый объемистый трактат, представить читателю, с одной стороны, состав авторов, вносивших свой — неравноценный, разумеется,— вклад в общее дело становления советской фантастики, а с другой стороны, обилие НФ тем, идей и ситуаций, с высоты наших восьмидесятых годов кажущихся иной раз неожиданными в произведениях полувековой давности.

Впрочем, не будем повторять сказанное в предыдущей публикации: любознательному читателю все равно придется обратиться к ней...

Добавим только, что, как и прежде, в целях экономии места максимально лаконичны биографические сведения об авторах и аннотации. Опущены данные о переизданиях, если таковые достаточно часты и общедоступны. В обзор

сознательно не включена НФ поэзия; не вошли книги, написанные в этот период, но изданные у нас лишь в последние годы (некоторые произведения А. Платонова, например). Минимально представлены в обзоре НФ очерки; почти не затронуты юмористика и сказочная фантастика; отсутствуют рассказы и повести о жизни первобытных людей, а также книги, где фантастичен (поскольку отнесен в будущее) лишь эпилог, такие, как роман «Воскресшее племя» В. Г. Тана-Богораза (1935). За рамками обзора стремились мы оставить всевозможные «страшные истории», сочинения откровенно мистические.

К сожалению, и в этой части обзора не раскрыты отдельные псевдонимы, отсутствуют биографические сведения о ряде авторов, в двух-трех случаях не отражено содержание произведений.

Мы с признательностью примем любые дополнения, замечания и соображения по данному обзору.

МАЗУРКЕВИЧ Владимир Александрович (1871—1942)

Поэт, прозаик, переводчик. Юрист по образованию. Печатался с 1887 г., в 1905—1907 гг. сотрудничал в сатирических жирналах «Шут», «Стрекоза» и др.

Соч.: Последняя партия: Рассказ.— Мир приключений.— 1928.— № 3.— С. 42—48.

Крах очередной попытки создать «шахматную машину».

МАЗУРУК Илья Павлович (р. 1906)

Полярный летчик, Герой Советского Союза (1937), участник многих арктических экспедиций.

Соч.: Незарегистрированный рекорд: Рассказ.— Огонек.—1938.— № 34.— С. 3—9.

Успехи авиации близкого будущего.

МАРСОВ Андрей

Соч.: Любовь в тумане будущего: История одного романа в 4560 году.— Л.: Изд. автора, 1924.—39 с.

Мир человеческих чувств в тоталитарном обществе.

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893—1930)

Известный поэт и драматург.

Соч.: Клоп: Феерическая комедия.— Мол. гвардия.—1929.— № 3—4; М.; Л.: Госиздат, 1929.—69 с.; Баня: Драма в 6 действ. с цирком и фейерверком.— М.; Л.: Госиздат, 1930.— 78 с.

«Замороженного» в годы НЭПа персонажа «Клопа» «размораживают» полвека спустя; в «Бане» на машине времени прибывает «делегатка 2030 года». Высвечивая жизнь своих современников «прожектором будущего», автор вскрывает агрессивную бездуховность бюрократов, заскорузлость обывательского потребительства.

МИКОНИ К. С.

Автор ряда познавательных книг для детей.

Соч.: В межпланетное пространство: Рассказ.— В его кн.: Сверхвысотные полеты.— М.: Мол. гвардия, 1933.— С. 102—112.

Описание космического полета «по Циолковскому».

МИЛ-МИК

Псевдоним воронежских журналистов Михаила Ивановича Лызлова и Михаила Ивановича Казарцева.

Соч.: Черный осьминог: Авантюрный роман.— Воронеж: Воронежская коммуна.—1926.—(280) с., вып. 1—10.

Борьба чекистов с белогвардейской агентурой за обладание «лучами смерти».

МИНДЛИН Эмилий Львович (1900—1981)

Журналист и писатель, участник арктической экспедиции на ледоколе «Красин» (1928).

Соч.: Днепровская Атлантида: Фант. повесть.— Всемирный следопыт.— 1927. № 11, 12; Не может быть!: Сказка.— М.; Л.: Мол. гвардия, 1933.— 32 с.; М.: Детгиз, 1935.— 56 с.

Картины будущей жизни на берегах Днепра после завершения начатого в те годы строительства Днепрогэса.

МОСКВИН (МОСКВИН-ВОРОБЬЕВ) Николай Яковлевич (1900—1968)

Писатель, участник гражданской и Великой Отечественной войн. Печатался с 1922 г.

Соч.: 4, 4, 4: Рассказ.— Мир приключений.— 1925.— № 4.— Стб. 41—56; Перчатки Уильяма Фиркинса: Рассказ.— Мир приключений.— 1925.— № 6.— Стб. 133—140.

Аппарат, превращающий в пыль камень, дерево, железо; «радиофицированные» перчатки, испускающие во время состязаний «оглушающие лучи». Оба рассказа написаны в соавторстве с Владимиром Васильевичем Фефером (1901— 1971).

МСТИСЛАВСКИЙ (МАСЛОВСКИЙ) Сергей Дмитриевич (1876—1943)

Писатель, автор историко-революционных романов («Грач — птица весенняя» и др.). Участник революционного движения, гражданской войны.

Соч.: Крыша мира: Роман.— М.: Недра.— 1925.—307 с.; М.; Л.: Госиздат.—1927.—351 с.; М.; Л.: Госиздат.—1930.—330 с.

Неведомая древняя цивилизация в горах Памира.

МУХАНОВ Николай Иванович

Ленинградский писатель и журналист, активно работавший в 1918—1927 гг.

Соч.: Пылающие бездны: Фант. роман.— Мир приключений.— 1924.— № 1—3; Л.: П. П. Сойкин.—1924.— 144 с.; Атавистические уклоны Бусса: Рассказ.— Мир приключений.—1927.— № 5.— С. 20—30.

Межпланетные войны между Землей и Марсом (в духе «космической оперы»); препарат, проявляющий «память предков».

НАГИ А. Л.

Соч.: Концессия на крыше мира: Роман.— Харьков: Пролетарий, 1927.—176 с.

Открытие в недрах Памира залежей руды, содержащей уникальный трансурановый элемент, более активный, чем радий.

НИКОЛЬСЕН Боргус

Соч.: Глориана: Фант. роман.—Л.: Прибой, 1924.— 134 с.; Массена: Фант. роман.— М.; Л.: Земля и фабрика, 1927.—176 с.

Приключения молодого американского рабочего, в руки которого случайно попал прибор, делающий человека невидимым.

НИКОЛЬСКИЙ Вадим Дмитриевич (1886—1941)

Родился на Урале. Инженер-электромеханик, участвовал в разработке проектов ГЭС на Волхове, Днепре.

Соч.: Дезинтегратор профессора Форса: Науч. фантазия.— Человек и природа.—1924.— № 4.— Стб. 341—354; Чертова долина: Рассказ.— Рабочая газета.— 1924.—21—24 мая; Мир приключений.— 1925.— № 5.— Стб. 1—16; «Антибеллум»: Историч. случай:— Мир приключений.—1927.— № 2.— С. 40—51; Лучи жизни: Рассказ.— Мир приключений.—1927.— № 10.— С. 6—20; Через тысячу лет: Науч.-фант. роман.— Л.: П. П. Сойкин, 1927.—112 с. (отрывки: Природа и люди.—1927.— № 1.— С. 28—35; Техника — молодежи, 1935.— № 3.— С. 60—63); Встреча: Рассказ.— Комс. правда.—1935.— 21 июня.

Летательный аппарат с атомным двигателем; поиски урановых руд; лучи, взрывающие на расстоянии боеприпасы; чудовище, взращенное с помощью «лучей жизни»; панорама грядущего мира: электровакуумные дороги, зеленые города, сверхглубокие шахты, межпланетные полеты...

НИКОНОВ Борис Павлович (1873—1950)

Юрист по образованию. Печатался с 1891 г.: рассказы, очерки, стихи в «Ниве», «Севере» и др. изданиях.

Соч.: Патюрэн и Коллинэ (Эксплуататор Солнца): Рассказ.— Мир приключений.— 1925.— № 4.— Стб. 89—102.

Аппарат, конденсирующий солнечную энергию.

НИКУЛИН (ОЛЬКОНИЦКИЙ) Лев Вениаминович (1891—1967)

Писатель. Начал печататься в 1910 г. Во время гражданской войны работал в культпросвете Красной Армии.

Соч.: Патент 78925: Рассказ.— На смену! (Екатеринбург).— 1923.—31 авг., 10 сент.; Красная нива.—1923.— № 25,— С. 7, 10—11; Тайна сейфа: Роман.— Л.: Пучина, 1925.—263 с.; То же под назв.: Продавцы тайн: Сатирич. роман.—М.: Мол. гвардия, 1928.— 182 с.; Бацилла искренности: Рассказы.— М.; Л.: Земля и фабрика, 1926.— 32 с. (из сод.: Бацилла искренности.— С. 3—14; Путешествие в Эритрею.— С. 18—31); Долг: Рассказ.— Заря Востока (Тбилиси).— 1927:—17, 18 июля; Вокруг света.— Л., 1928.— № 21.— С. 17—23; Лучи доктора Симова: Арбатская легенда.— В авт. сб.: Кольцо «А».— М.; Л.: Кинопечать, 1927.— С. 16—27.

Революционные потрясения в сатирически изображаемых буржуазных государствах; иронически описанные проекты «массового восстановления некогда существовавших индивидуумов».

НОВОРУССКИЙ Михаил Васильевич (1861—1925)

Член партии «Народная воля», участник покушения на Александра III, 18 лет (1887—1905) пробыл в Шлиссельбургской крепости. Автор книг, брошюр, статей научно-популярного характера, воспоминаний «Записки шлиссельбуржца».

Соч.: Приключения мальчика меньше пальчика: Из жизни насекомых.— Пг.: Петрогр. Совет рабочих и красноарм. депутатов, 1919.—67 с.

Многократно уменьшившись, герой повести изнутри наблюдает жизнь насекомых.

ОБРУЧЕВ Владимир Афанасьевич (1863—1956)

Известный геолог и географ, исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии. Автор более 1000 научных работ.

Соч.: Плутония: Необычайное путешествие в недра Земли.— Л.: Путь к знанию, 1924. 364 с.; Земля Санникова, или Последние онкилоны: Науч.-фант. роман.— Л.: Пучина, 1926.—325 с.; Событие в Нескучном саду: Фант. рассказ.— Костер.— 1940.— № 11.— С. 61—64; То же под назв.: Происшествие в Нескучном саду.— В авт. сб.: Путешествия в прошлое и будущее.— М.: АН СССР, 1961; М.: Наука, 1965; В сб.: Происшествие в Нескучном саду.— М.: Московский рабочий, 1988.— С. 476—485.

Полость внутри Земли, где сохранились обитатели прошлых геологических эпох; остров в Ледовитом океане с «оазисом жизни» на нем, существующим благодаря вулканическому теплу; оживший мамонт.

ОГНЕВ Николай (РОЗАНОВ Михаил Григорьевич, 1888—1938)

Писатель, участник революционного движения. Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно.

Соч.: Щи республики: Рассказ.— Вальм.: Круг.— Вып. 2.— М.; Пг.: Круг, 1923.— С. 263—279; В авт. сб.: Рассказы.— М.: Круг, 1925 и др.; Рассказ о необыкновенной школе.— Знание — сила.— 1931.— № 23.— С. 2—6.

Картины будущего Страны Советов.

ОДИНОКИЙ (БОРИСОГЛЕБСКИЙ) Михаил Васильевич (1896—1942)

Уроженец Тирлянского завода на Урале. Был учителем, журналистом. Начал печататься с 1912 г.

Соч.: Остров счастья: Беглый фант. рассказ.— Троицк: Изд. автора, 1923.— 24 с.

«Общество равенства», каким оно представлялось 18-летнему автору. Рассказ написан в 1914 г.

ОКСТОН (ОКСЕНШТЕРН) Иван Данилович

Соч.: Междупланетные Колумбы: Науч.-фант. рассказ конца века.— Всемирный следопыт.—1926.— № 9.— С. 3—12; Муравьиный гнев: Фант. рассказ.— Всемирный следопыт.— 1926.— № 10.— С. 3—10; Пигментин доктора Роф: Фант. рассказ.— Всемирный следопыт.— 1927.—№ 6.— С. 434— 442; «Геометрический» случай с Луйкмелем: Юмористич. фантастика.— Вокруг света.— М., 1927.— № 7.— С. 109—111; В недрах столетий: Фант. рассказ-загадка.— Вокруг света.— М., 1927.— № 11, 12.

Полеты на планеты Солнечной системы; аппарат, концентрирующий энергию муравьев; искусственное изменение цвета кожи; путешествия во времени.

ОКУНЕВ Яков Маркович (1882—1932)

Был исключен из Одесского университета за революционную деятельность, с 1905 г. занялся литературной работой. В гражданскую войну — работник политотдела фронта.

Соч.: Грядущий мир: Утопич. роман.— Пг.: Прибой, 1923.—70 с.; Лучи доктора Грааля: Фант. рассказ.— На смену! (Екатеринбург).— 1923.—10 окт.; Завтрашний день: Фант. роман.— М.: Новая Москва, 1924.—196 с.; То же под назв.: Катастрофа: Социально-сатирич. повесть.— М.; Л.: Мол. гвардия, 1927.—103 с.; Золотая петля: Фант. рассказ.— Екатеринослав: 1925.—15 с.; То же под назв.: Петля: Фант. рассказ.— М.: Рабочая Москва, 1926.— 46 с.; Суховей: Нефант. повесть.— Борьба миров.—1930.— № 10.— С. 2—16.

Урбанизированный мир XXII века; социальные катаклизмы, сотрясающие буржуазное общество в результате дешевизны искусственного золота; войны между капиталистическими государствами, приводящие к мировой революции; успешная борьба с засухой.

ОЛЬШВАНГ Алексей Владимирович (1874—?)

Доктор технических наук, заведовал кафедрой Уральского индустриального института.

Соч.: Крепость: Фант. очерк.— Техника смене (Свердловск).— 1938.— № 2, 3.

Сцены будущей войны: «лучи смерти», радиоразведка, подземные крепости...

ОНЦЕВЕР Р.

Псевдоним уральского писателя-краеведа Юрия Михайловича Курочкина (р. 1913).

Соч.: Короткое замыкание: Фант. рассказ.— Техника смене (Свердловск).—1938.— № 5—8.

Беспроволочная передача электроэнергии; лучи, выводящие из строя моторы машин.

ОПАЛЬНОВ М.

Соч.: Луатомвао: Рассказ.— Вокруг света.— Л., 1929.— № 14.— С. 16—20.

Гигантское хищное растение, напавшее на путешественников.

ОРЕСТОВ И.

Соч.: Вечный двигатель Митрича: Рассказ.— Уральская новь (Свердловск).—1926.— № 3.— С. 2—3.

Изобретатель вечного двигателя, никем по достоинству не оцененного, получает премию за... установку вентиляции, сделанную попутно.

ОРЛОВСКИЙ (ГРУШВИЦКИЙ) Владимир Евгеньевич (1889—?)

Военный инженер по образованию, участник гражданской войны. С 1920 г.— преподаватель физики и химии в ленинградских школах.

Соч.: Машина ужаса: Науч.-фант. повесть.—Л.: Прибой, 1925.—191 с.; Л.: Прибой, 1927.—162 с.; Бунт атомов: Научно-фант. рассказ.— Мир приключений.—1927. № 3.— С. 1—21; Из другого мира; Рассказ.— Мир приключений.—1927.— № 9.— С. 34—50; Бунт атомов: Фант. роман.— Л.: Прибой, 1928.—237 с.; Человек, укравший газ: Фант. рассказ.— Вокруг света.— Л., 1928.—№ 33—35; Болезнь Тимми: Научн.-фант. рассказ.— Вокруг света,— Л., 1928.— № 46.— С. 2—4, 7—9; Без эфира: Научн. фант. рассказ.— Вокруг света.— Л., 1929.— № 5, 6; Штеккерит: Рассказ.— Мир приключений.— 1929.— № 3—4.— С. 2—11; Химия и жизнь.—1987.— № 11.— С. 83—88.

Электромагнитное излучение, действующее на психику; атомная катастрофа, разразившаяся по вине немецкого ученого-реваншиста; попытка вступить в контакт с обитателями «параллельного мира»; дельцы от науки, продающие марсианам земную атмосферу, изобретающие все новые смертоносные отравляющие вещества.

ПАВЛЕНКО Петр Андреевич (1899—1951)

Писатель, кинодраматург. Участник гражданской войны. В годы Великой Отечественной — фронтовой корреспондент «Правды» и «Красной звезды».

Соч.: На Востоке: Роман.— Знамя.—1936.— № 7,12; Роман-газета.—1936.— № 9, 10; 1937.— № 2, 3; М.: Гослитиздат, 1937.—514 с.; М.: Сов. писатель, 1937.—439 с. и др. издания; Пограничное сражение на земле: Отрывок из романа.— М.: Жургазобъединение, 1937.—40 с.; Курск: Обл. изд-во, 1937.—36 с.

В романе (изданном в 1937—1939 гг. более 10 раз) рисовался быстрый разгром агрессоров на Дальнем Востоке, преувеличивалось значение авиации, предрекалась победа малой кровью и на чужой территории.

ПАВЛОВ А.

Соч.: Космический рейс: Фант. рассказ.— Техника — молодежи.— 1935.— № 5.— С. 60—63.

Полет ракеты-автомата на Луну.

ПАВЛОВ Н.

Соч.: Птенцы: Фант. рассказ.— Знание — сила.—1928.— № 6.— С. 149—152.

Птицевод-любитель выводит из найденных в земле яиц в своем инкубаторе птеродактилей и птерозавров, которые на него же и напали.

ПАЛЕЙ Абрам Рувимович (р. 1893)

Писатель. Выступил в печати со стихами в 1908 г. Позднее обратился к фантастике.

Соч.: Война золотом: Науч.-фант. рассказ.— В альм.: Война золотом.— М.: Т-во писателей, 1927.— С. 3—9; Гольфштрим: Фант. повесть.— Смена.—1927.— № 13—17; М.: Огонек, 1928.—52 с.; Убийство инженера Днепрова: Фант. рассказ.— В сб.: На суше и на море. Вып. 2.— М.; Л.: Мол. гвардия, 1928.— С. 61—66; Человек без боли: Фант. рассказ.— Знание — сила.—1929.— № 9.— С. 230—233; М.; Л.: Мол. гвардия, 1930.—48 с.; Планета КИМ: Фант. роман.— Харьков: Пролетарий, 1930.—261 с.; Изд. 2-е, испр. и дополн.— Харьков: Пролетарий, 1930.—334 с.; Двойная жизнь: Фант. рассказ.— Знание — сила.— 1931.— № 4.— С. 2—4; Необычайный дом: Фант. рассказ.— Знание — сила.—1936.— №8.— С. 3—6; Научно-фантастические рассказы. М.: Жургазобъединение, 1937.—40 с. (сод.: Человек без боли; Необычайный дом).

Искусственное получение золота, приводящее к краху капиталистической экономики; климатическая катастрофа в результате поворота теплого течения Гольфштрим; космическая робинзонада на одном из астероидов; опасности, подстерегающие человека, лишившегося болевых ощущений; искусственная невесомость, позволившая поднять в воздух пятиэтажный дом...

ПАН Яков Соломонович (1906—1941)

Химик по образованию. Печатался также под псевдонимом И. Нечаев. Погиб на фронте.

Соч.: Мортонит: Науч.-фант. рассказ.— Мир приключений.—1928.— № 3.— С. 2—13.

Катастрофические последствия утечки ядовитого газа, вызывающего временный паралич.

ПАНКОВ Д.

Соч.: Ассепсанитас: Фант. рассказ.— Мир приключений, 1927.— № 11,12; По планетам: Астрономич. юмореска.— Мир приключений.— 1928.— № 5.— С. 49—56.

Тщетные попытки ученого-одиночки с помощью «противовоинственных» прививок навсегда избавить мир от войн; туристический вояж по планетам Солнечной системы.

ПАНОВ Николай Николаевич (1903—1973)

Писатель. Начал печататься в 1918 г. (под псевдонимом Дир Туманный). Автор приключенческих повестей, книг о военных моряках.

Соч.: Всадники ветра: Роман.— М.: Авиахим, 1925.—127 с. (Автор: Д. Туманный); Юбилей доктора Фрайса: Рассказ.— Борьба миров, 1930.— № 2.— С 2—12.

Герой романа разрабатывает конструкцию реактивного межпланетного корабля; ученый, из тщеславия создающий «улучшенную» разновидность смертоносного газа иприта.

ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич (1892—1968)

Известный писатель, представитель романтического направления в советской литературе.

Соч.: Доблесть: Рассказ.— Правда.—1934.—31 декабря; В авт. сб.: Рассказы.— М.: Детиздат, 1935 и др.; В сб.: Происшествие в Нескучном саду.— М.: Московский рабочий, 1988.— С: 155—161.

Больному мальчику необходим покой — и замирает приморский город, и перед лицом приближающегося шторма спешно монтируется «экран тишины»...

ПЕРЕЛЕШИН Борис

Соч.: Заговор Мурман — Памир: Роман.— Борьба миров.—1924.— № 1—4.

Провалившаяся попытка международной буржуазии реставрировать в нашей стране прежние порядки.

ПЕТРОВСКИЙ Алексей Алексеевич (1873—1942)

Ученый, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Автор первого в нашей стране руководства по радиотехнике (1907).

Соч.: Замок Молвы: Науч. фантазия.— Человек и природа.— 1924.— № 3.— Стб. 247—254; Товарищ Терентий (Екатеринбург).— 1924.— № 25.— С. 12—15.

Невероятные успехи радио, преобразившие будущий быт.

ПИЛЬЧЕВСКИЙ А.

Соч.: Ашхан был прав: Рассказ.— Техника смене (Свердловск).— 1934.— № 7—8.— С. 2—8; Солнце в чайнике: Науч.-фант. очерк.— Техника смене. 1935.— № 4.— С. 2—3; Экспресс ушел: Рассказ.— Техника смене.—1935.— № 10.— С. 7—9; «Синяя стрела»: Картинка недалекого будущего.— Техника смене.—1936.— № 4.— С. 23—25; Машины будущего: Науч.-фант. очерк.— Техника смене.—1936.— № 9.— С. 14—17; Весь мир в шкатулке: Науч.-фант. очерк.— Техника смене.—1937.— № 12.— С. 14—15; Стена-невидимка: Науч.-фант. очерк.— Техника смене.—1938.— № 9, 10; Дыхание моря: Научн.-фант. рассказ.—Техника смене.—1940.— № 10.— С. 9—10.

Искусственное дождевание; использование энергии солнца, приливов и силы ветра; сверхскоростные экспрессы и «шаропоезда»; автосамолеты; телевизоры в быту...

ПИМЕНОВ Л. И.

Соч.: Необычайные события в селе Верхи: Рассказ.— Мир приключений.—1928.— № 8.— С. 2—12.

Воздействие на расстоянии электромагнитными волнами на психику человека.

ПИОТРОВСКИЙ Адриан Иванович (1898—1938)

Литературовед, театровед; заслуженный деятель искусств РСФСР (1935).

Соч.: Падение Елены Лэй: Драма.— Пг.: Academia, 1923.—89 с.

Будущие революционные потрясения в Америке — оплоте мировой капиталистической системы.

ПЛАТОВ (ЛОМАКИН) Леонид Дмитриевич (1906—1979)

Писатель. Работал в комсомольской печати, в годы Великой Отечественной — военный корреспондент.

Соч.: Дорога циклонов: Повесть.— Вокруг света.— М., 1938.— № 10.— С. 10—20; Аромат резеды: Рассказ.— Вокруг света.—1939.— № 5.— С. 2—5; Переработ. под назв.: Вилла на Энсе.— В авт. сб.: Каменный холм.— М.: Мол. гвардия, 1952.— С. 128—190; То же, переработ., под назв.: Предела нет: Повесть.— Искатель.—1970.— № 3.— С. 2—118; В авт. сб.: Эхо бури.— М.: Воениздат, 1971.— С. 152—350; Господин Бибабо: Повесть-памфлет.— Вокруг света.—1939.— № 7, 8—9; Концентрат сна: Фант. повесть.— Вокруг света.— 1939.— № 10, 11—12; В сб.: Происшествие в Нескучном саду: М.: Московский рабочий, 1988.— С. 448—476; Трансарктический пассажир: Рассказ из недалекого будущего.— Самолет.—1939.— № 15.— С. 8—9; Соленая вода: Науч.-фант. рассказ.— Смена.—1940.— № 4—5.— С. 23—26; Каменный холм: Науч.-фант. повесть.— Наша страна.—1941.— № 3.— С. 29—35;

Вокруг света.—1948.— № 11.— С. 17—24; В авт. сб.: Каменный холм.— М.: Мол. гвардия, 1952.— С. 3—33; Земля Савчука: Науч.-фант. повесть.— Наша страна.— 1941.—№ 5, 6.

Фашиствующие ученые, изобретающие новые отравляющие вещества; препарат, избавляющий человечество от бремени сна; успехи авиации ближайшего будущего; экзотический способ раздобыть воду в пустыне; первые наброски будущих «Повестей о Ветлугине», вышедших после войны.

ПЛАТОНОВ (КЛИМЕНТОВ) Андрей Платонович (1899—1951)

Известный писатель, автор своеобразной по мировосприятию и стилю прозы. Многие его произведения двадцатых-тридцатых годов (роман «Чевенгур», повести «Эфирный тракт», «Ювенильное море», «Котлован» и др.) опубликованы лишь после смерти писателя.

Соч.: В звездной пустыне: Рассказ.— Огни (Воронеж), 1921.—4 июля; Книжное обозрение.— 1986.— 3 окт.; В сб.: Происшествие в Нескучном саду. М.: Московский рабочий, 1988.— С. 26—32; Ерик: Рассказ.— Воронежская коммуна.— 1921, янв.; Юность.—1988.— № 6.— С. 59; Маркун: Рассказ.— Кузница.— 1921.—№ 1.— С. 18—22; Простор (Алма-Ата).—1967.— № 5.— С. 52—55; В авт. сб.: Потомки Солнца.— М.: Сов. писатель, 1974.— С. 5—12 и др.; Приключение Баклажанова: Рассказ.— Воронежская коммуна.—1922.—10, 17 сент.; Переработ. под назв.: Бучило.— Красная нива.—1924.— № 43; В авт. сб.: Епифанские шлюзы.— М.: Мол. гвардия, 1927 и др.; Тютень, Витютень и Протегален: Рассказ.— Зори (Воронеж).—1922.— № 2.— С. 25; Сатана мысли: Фантазия.— Путь коммунизма (Краснодар).—1922.— № 2.— С. 30—37; В дальнейшем под назв.: Потомки Солнца.— В авт. сб.: Потомки Солнца.— М.: Сов. писатель, 1974.—С. 13—22; В сб.: Фантастика-78.— М.: Мол. гвардия, 1978.— С. 218—226 и др.; Потомки Солнца: Рассказ[1].— Воронежская коммуна.—1922.—7 нояб.; Природа и человек.— 1987.— № 9.— С. 62—64; Немые тайны морских глубин: Роман из великой эпохи.— Репейник (Воронеж).—1923.—18, 25 марта, 2 апр.; Рассказ о многих интересных вещах.— Наша газета (Воронеж).— 1923.—12—30 июля; Книжное обозрение.—1988.— 21, 28 окт.; Лунная бомба: Науч.-фант. рассказ.— Всемирный следопыт.—1926.— № 12.— С. 3—15; В авт. сб.: Потомки Солнца.— М.: Сов. писатель, 1974.— С. 23—42 и др.; Город Градов: Повесть.— Лит. прилож. к журн. «Красная панорама», Л., 1928.— сент.; многократно переиздавалась, в том числе в авт. сб.: Избранные произведения.— М.: Экономика, 1983.— С. 244—273; Усомнившийся Макар: Рассказ.— Октябрь.—1929.— № 9; Лит. учеба.—1987.— № 4.— С. 147—155; Первый Иван: Рассказ.— Октябрь.—1930.— № 2.— С. 159—168; Химия и жизнь.—1987.— № 7.— С. 80—86.

---

[1]/Не путать с предыдущим: одинаковы лишь названия.

Мечты об овладении тайной превращения неживого в живое, о бессмертии, об избавлении человечества от голода, о реконструкции земного шара для регулирования слепых сил природы соседствуют у А. Платонова с призывом бережно и чутко относиться к природе, с утверждением ее — и всех живых существ — равноправия с человеком.

ПОЗДНЯКОВ В.

Соч.: Черный конус: Фант. рассказ.— Вокруг света.— Л., 1928.— № 7, 8; Кубок майора Косицина: Рассказ.— Вокруг света.— Л., 1928.— № 12.— С. 13—17; Элитерий: Фант. рассказ.— Вокруг света.— Л., 1928.— № 24.— С. 11—16; Кратер Коперника: Рассказ.— Вокруг света.— Л., 1928.— № 36—38; Случай на Улице капуцинов: Рассказ.— Вокруг света.— Л., 1929.— № 17—18.— С. 1—7.

Аппарат, «уничтожающий» свет; следы посещения Земли пришельцами в меловую эпоху; международная астрономическая обсерватория на вершине Эвереста; обнаружение зачатков атмосферы на Луне; а на самой Земле тем временем — новые войны: с использованием радиоглушителей, газового и бактериологического оружия...

ПОЛОЦКИЙ Семен Анатольевич (1905—1952)

Поэт, прозаик, кинодраматург. Печататься начал в 1919 г. в Казани.

Соч.: Черт в Совете Непорочных: Роман-сатира.— М.; Л.: Земля и фабрика, 1928.—128 с.

Под напором революции рушатся последние бастионы старого мира. Роман написан в соавторстве с Андреем Петровичем Шмульяном.

ПОТЕХИН Юрий Николаевич (1888—?)

Писатель. Печатался с 1910 г. После революции эмигрировал, но, осознав свои заблуждения, вернулся на родину.

Соч.: Магнето-молния: Роман.— Экран «Рабочей газеты».—1925.— № 33—36; 1926.— № 1—11, 13—18, 20, 21 (Автор: Юр. Жизнев); То же под назв.: Ошибка Оскара Буш: Роман.— М.: Пучина, 1927.—200 с.

Работа советских ученых над созданием энергоемких конденсаторов; козни фашистов и белогвардейцев, совершающих убийства по телефону при помощи электрического аппарата.

ПРУССАК Михаил Степанович

Соч.: Гости Земли: Роман.— Рабочая газета.—1924.—7 июня — 2 июля; М.; Л.: Госиздат, 1927.—96 с.

Дружеский визит марсиан на Землю, контакт с ними.

РАВИЧ Николай Александрович (1899—1976)

Писатель. Участник Октябрьской революции и гражданской войны. В 1921—1926 гг.— на дипломатической работе в Афганистане, Турции.

Соч.: Бактриана: Роман.— Рабочая газета.—1928.—5 февр.— 10 марта.

Остатки неизвестной миру древней цивилизации на Ближнем Востоке.

РОЗАНОВ Сергей Григорьевич (1894—1957)

Писатель. Воевал на фронтах гражданской войны. Позже участвовал в организации первых пионерских лагерей. Автор популярной в те годы повести «Приключения Травки» (1928).

Соч.: Алюта — воздушный слоненок: Приключения Травки, 2-я кн.— М.; Л.: Детиздат, 1936.—118 с.; В кн.: Приключения Травки: Повесть в 2-х частях. Ростов-на-Дону: Азчериздат, 1937.—147 с.

Приключения маленького героя в будущем.

РОЗЕНФЕЛЬД Михаил Константинович (1906—1942)

Писатель. Корреспондентом «Комсомольской правды» побывал в составе экспедиций в Арктике, в Каракумах, в Монголии. Погиб на войне.

Соч.: Морская тайна: Повесть.— Комс. правда.—1936.—27 марта — 18 мая; М.; Л.: Детиздат, 1937.—160 с.; М.; Л.: Детгиз, 1946.— 144 с.; В авт. сб.: Избранное.— М.: Сов. писатель, 1957.— С. 381— 498; Ущелье алмасов: Повесть.— Мол. гвардия.—1936.— № 1.— С. 74— 96; М.: Мол. гвардия, 1936.—124 с.; М.: Детгиз, 1955.—96 с.; Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1957.—92 с.; В авт. сб.: Избранное.— М.: Сов. писатель, 1957.

Гигантский подводный крейсер; встреча с последним из алмасов — «снежных людей».

РОМОВ Сергей Матвеевич (1883—1939)

Соч.: Одна треть жизни: Фант. рассказ.— Мир приключений.— 1928.— № 1.— С. 2—14.

Антигипнотоксин, позволивший победить сон, и сложности внедрения нового препарата в быт человечества.

РОСС Леонид

Соч.: Открытие профессора Баррингтона: Рассказ.— Мир приключений.—1925.— № 6.—Стб. 91—98.

Сверхмощный растворитель, превращающий в ничто любое вещество.

РОССИХИН Л. М.

Соч.: Неронит: Фант. рассказ.— Вокруг света.— М., 1927.— № 8.— С. 119—121.

Создатели газа, вызывающего жажду разрушения, погибают сами, ненароком им надышавшись.

РУБУС Лев

Псевдоним Льва Васильевича Успенского (1900—1978) и Льва А. Рубинова.

Соч.: Запах лимона: Роман.— Харьков: Космос, 1928.—258 с.

«Революционит»— радиоактивное вещество необычайной силы, найденное в метеорите.

РУКАВИШНИКОВ Г.

Соч.: Черный камень: Повесть.— Юные строители.—1923.—№ 6—11.

Необычайный минерал, под воздействием которого происходит превращение элементов: алюминия — в золото и т. п.

РЫБАКОВ С.

Соч.: Курс юго-восток: Рассказ о будущей войне.— Пионерская правда.—1939.— 18, 20 авг.

Война малой кровью, на чужой территории, в основном в воздухе.

РЫМКЕВИЧ Павел Адамович (1896—?)

Ленинградский профессор. Автор многих научно-популярных книг.

Соч.: Так погибла культура: Фант. рассказ.— Мир приключений.— 1925.— № 2.— Стб. 1—18.

Ученые далекого будущего получают доказательства, что предыдущая цивилизация на Земле погибла из-за применения на войне отравляющих веществ.

РЫНИН Николай Алексеевич (1877—1942)

Известный ученый. Основные труды — в области воздухоплавания, авиации, реактивной техники, космонавтики. Автор девятитомной энциклопедии «Межпланетные сообщения» (1928—1932). Его именем назван кратер на обратной стороне Луны.

Соч.: В воздушном океане: Фантазия.— М.: Транспечать, 1924.— 116 с.

Космический корабль, получающий энергию для движения по радио с Земли.

РЮМИН Владимир Владимирович (1874—1937)

Инженер-технолог, педагог и литератор. Автор серии книг «Занимательная химия», «Занимательная электротехника» и др., пропагандист идей К. Э. Циолковского. Нередко печатался под псевдонимом Н. И. Мюр.

Соч.: Шесть месяцев: Повесть.— В мастерской природы, 1926.— № 2—5; Преступление доктора Пирса: Рассказ.— Мир приключений.— 1926.— № 9.— Стб. 16—28; Пандинамий: Рассказ.— В мастерской при-

роды.—1927.— № 1.— С. 44—49; Голубая гора: Рассказ.— Мир приключений.—1927.— № 2.— С. 23—30; Секрет инженера Кнака: Рассказ.— Мир приключений.—1927.— № 12.— С. 45—53; Сплав Беспятого: Фант. рассказ.— Знание — сила.—1928.— № 4.— С. 92—95; День в Полярграде: Науч.-фант. рассказ.— Знание — сила.—1930.— № 12.— С. 19—21.

Ослаблена сила земного притяжения — и Луна уходит к Юпитеру, а Земля начинает удаляться от Солнца; «миниатюризация» людей путем искусственного замедления роста; секрет дешевого небьющегося стекла куплен и похоронен капиталистическими компаниями; преображенная благодаря электричеству Арктика будущего.

РЯБИНИН Борис Степанович (р. 1911)

Уральский писатель. Дебютировал в печати очерком «По Каме» в журнале «Уральский следопыт» (1935), в 1936 г. выпустил первую книгу «Каменные загадки».

Соч.: Подарок Будды: Науч.-фант. повесть.— Техника смене (Свердловск).—1941.— № 1—6 (публикация не закончена).

На фоне национально-освободительной борьбы китайского народа против японских империалистов — открытие и практическое использование атомной энергии.

САВИН Лев (ЛЕВ Савелий Моисеевич, 1891—1947)

С 1929 г.— профессиональный литератор в Ленинграде. До этого работал на Кавказе, еще раньше — солдат на германском фронте.

Соч.: Вылазка Кандида, или Да не погибнет Вестфалия в пучине смеха: Повесть.— Л.: Худож. лит., 1935.—148 с.

Трагикомические злоключения вольтеровских персонажей Кандида, Панглоса и их спутников в фашистской Германии.

САНДОМИРСКИЙ Юрий

Соч.: Грядущая война (Бессилие сильных): Роман.— М.: Изд. автора, 1926.—64 с., вып. 1—2.

Континентальная Европа уже в руках рабочих — близится торжество мировой революции...

САФОНОВ Вадим Андреевич (р. 1904)

Писатель. Биолог по образованию, автор научно-художественных книг о Тимирязеве, Гумбольдте и др.

Соч.: Победитель планеты: Двенадцать разрезов времени.— М.: Мол. гвардия, 1933.—135 с.

Картины эволюции жизни на Земле.

СВЭН

Псевдоним Ильи Львовича Кремлева (Шехтмана, 1897—1971), писателя, автора трилогии «Большевики», в 20-е годы активно сотрудничавшего в юмористических журналах. В соавторстве с М. Козыревым (см. «Поиск-86») написал науч.-фант. роман «Город энтузиастов» (1930).

Соч.: Грядущий мир: Роман-утопия.— Крокодил.—1922.— № 16.— С. 12; На Марс!: Рассказ.— Барабан.— 1923.— № 2; В Совдепии: Рассказ.— В авт. сб.: Совет дервиша.— Л.: Красная газета, 1926.— С. 39—42; Чудо на Сырых болотах: Сатирич. хроника. Л.: Красная газета, 1926.—48 с. (в соавторстве с А. Григоровичем); Приключения самоеда: Фант. роман.— В одноим. авт. сб. Л.: Красная газета, 1927.— С. 3—10.

Пародийные варианты анабиоза, космических полетов; будущее Совдепии в смехотворно искаженных представлениях белоэмигрантов.

СЕЛЬВИНСКИЙ Илья (Карл) Львович (1899—1968)

Известный поэт, автор многих книг. Писал драмы и трагедии в стихах.

Соч.: Пао-Пао: Драма.— Красная новь.—1932.— № 6; М.: Сов. лит., 1933.—135 с.; В авт. сб.: Театр поэта. М.: 1965; Собр. соч. М.: Худож. лит., 1972.— Т. 3.— С. 93—184.

Обретя разум после пересадки человеческого мозга, орангутан Пао-Пао знакомится с миром людей, постепенно приходя к выводу о его несовершенстве...

СЕМЕНОВ Сергей Аристархович (?—1981)

Археолог, доктор наук.

Соч.: Тайна ископаемого черепа: Науч.-фант. рассказ.— Мир приключений.—1927.— № 7.— С. 2—15; Подземные часы: Фант. рассказ.— Всемирный следопыт.—1927.— № 8.— С. 574—582; Кровь Земли: Фант. рассказ.— Мир приключений.—1928.— № 5, 6.

«Графобиоскоп», воспроизводящий картины далекого прошлого нашей планеты, увиденные пришельцем из иного мира; высококультурные гипербореи, укрывшиеся в глубинах Земли во время последнего ледникового периода.

СКАЛОН Кирилл Николаевич

Соч.: Необыкновенное приключение Кима: Науч.-фант. рассказ.— Воронеж: Обл. кн-во, 1941.—24 с.

Встреча с бронтозавром, хищником мегалозавром и др. оказывается сном любознательного мальчика, накануне побывавшего в палеонтологическом музее.

СКАЧКО Анатолий Евгеньевич

Соч.: Может быть завтра: Повесть.— Борьба миров.—1930.— № 1—3.

Картины будущей войны: воздушные сражения; многомоторные самолеты; гигантские дирижабли; отравляющие газы; искусственные облака, «впитывающие ОВ как губка»...

СКЛЯРЕНКО Семен Дмитриевич (1901—1962)

Писатель. Автор книг о гражданской войне, исторических романов.

Соч.: Пролог: Роман.— М.: Гослитиздат, 1937.—190 с.

СМИРНОВ Николай Григорьевич (1890—1933)

Писатель, юрист по образованию. Печатался с 1922 г., много писал для детей («Государство Солнца», «Джек Восьмеркин — американец» и др.).

Соч.: Воздушный караван: Роман.— Корабль (Калуга).— 1922.— № 1—6; 1923.— № 1—4; Через пять тысяч дней: Роман для юношества.— М.; Л.: Мол. гвардия, 1931.— 246 с.

Работы по освоению космического пространства; будущее Страны Советов.

СОЛЬСКИЙ (ПАНСКИЙ) Вацлав Александрович

Соч.: Повесть о последней борьбе.— Харьков: Пролетарий, 1927.— 219 с.

Империалистические державы объявляют войну СССР. В большинстве стран это приводит к пролетарской революции и гражданской войне.

СОРОКИН Антон Семенович (1884—1928)

Писатель-сибиряк. Талантливый график, литограф. Печатался с 1900 г.

Соч.: Дафтар: Рассказ.— Юный пропагандист (Омск).— 1919.— № 1—2; В авт. сб.: Напевы ветра.— Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967; Запах родины.— Омск: Кн. изд-во, 1984.— С. 19—21.

В результате мировой революции хозяином жизни стал труд, а золото обесценилось.

СПЕРАНСКИЙ Евгений Вениаминович (1903—?)

Соч.: Дождь из Амстердама: Фант. пьеса в 2-х действ.— Затейник.— 1933.— № 1.— С. 24—34.

Герои пьесы успешно разрабатывают методы эффективного воздействия на погоду.

СТРАХОВ С.

Соч.: Рождение синтезита: Науч.-фант. повесть.— Литературный Ростов.—1941.—VI—VII.— С. 3—95.

Работа советских ученых над открытием нового радиоактивного элемента.

ТАКАЕВ Г.

Соч.: Шива-разрушитель: Фант. повесть.— Экран «Рабочей газеты».— 1925.— № 16—20.

Империалисты пытаются разжечь в Индии антикоммунистическую истерию и религиозный фанатизм с помощью псевдочудес, основанных на новейших достижениях науки; коммунисты разоблачают аферу.

ТАКИСЯК Аркадий

Псевдоним Корнея Ивановича Чуковского (Николая Васильевича Корнейчукова, 1882—1969), известного детского писателя.

Соч.: Бородуля: Кинороман.— Красная газета.—1926.—15 мая — 25 июня; То же, журн. вариант.— Природа и человек.—1987.— № 10,12.

Ученый-самоучка Иван Бородуля изобретает аппарат для управления ветрами и тучами, задумывает новый — для борьбы с невскими наводнениями.

ТАРАСОВ А.

Соч.: Рубиновая звезда: Фант. повесть.— Московский комсомолец, 1940, сентябрь (в соавторстве с М. Тимофеевым); Над лунными кратерами: Фант. рассказ.— Самолет.—1941.— № 5.— С. 20—21.

Спасательное судно, способное опускаться под воду; первый полет на Луну.

ТАСИН (КОГАН) Наум Яковлевич

Соч.: Катастрофа: Фант. роман.— Берлин: Русское универс. изд-во, 1922.—293 с.

Вторжение на Землю гигантских космических чудовищ, борьба с ними.

ТИГЕР Дмитрий Николаевич

Печатался под псевдонимами: «Дмитрий Т.», «Д. Долев» и др.

Соч.: М-Б.-10-22: Силуэты грядущего.— Л.: Сев.-Зап. Промбюро ВСНХ, 1924.—90 с.; Антипыч в облаках: Будущий аэробыт.— Крокодил.—1924.— № 14.— С. 13; В одноим. авт. сб. М.: Красная газета.— 1925; Буржуи в аду (Адский трест): Фант. сатира в 2-х действ. М.: Московское театр. изд-во, 1926.—32 с.

Безуспешные попытки английских шпионов выведать промышлен-

ные секреты Страны Советов; внедрение авиации в повседневный быт человечества; торжество мировой революции.

ТИМОШЕНКО Семен Алексеевич (1899—1958)

Ученик В. Мейерхольда, с 1919 г. актер, затем режиссер и драматург. С 1925 г. работал в кино.

Соч.: Нерожденный: Рассказ.— Мир приключений.—1923.— № 5.— Стб. 15—30; Тень над Парижем: Рассказ.— Мир приключений.—1924.— № 1.— Стб. 80—93.

Искусственно выращенный в колбе — «холодный, бесполый, сильный, злой и хищный» враг всему человечеству; тайная организация немцев-реваншистов, сеющая в Париже смерть (убийства, отравления и т. п.).

ТОЛКАЧЕВ Евгений Васильевич (1896—?)

Учился на юридическом факультете Московского университета, работал в газетах. Много переводил (Г. Уэллса, А. Конан Дойла и др.).

Соч.: Аэро в обиходе: Фантазия.— Эхо.—1923.— № 15.— С. 21—22; Открытие доктора Минаева: Коллективная ненауч.-фант. повесть.— Борьба миров.—1930.— № 7.— С. 41—46; Золотой наконечник: Авантюр-р-рный роман.— Борьба миров.—1930.— № 9.— С. 48—54; S.—Z.-газ: Рассказ.— Борьба миров.— 1930.— № 12.— С. 40—46.

Аэротрамваи, аэромилиционеры, торговые аэро и прочий быт, перенесенный в воздух; пародийные «романы», высмеивающие штампы фантастики 20-х гг.; очередная разновидность ОВ — парализующий газ.

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1883—1945)

Известный писатель; инженер-технолог по образованию.

Соч.: Аэлита (Закат Марса): Фант. роман.— Красная новь.— 1922.— № 6; 1923, № 1—2; М.; Пг.: Госиздат, 1923.—272 с.; Бунт машин: Фант. сцены.— Звезда.—1924.— № 2.— С. 44—88; Л.: Время, 1924.— 90 с.; Семь дней, в которые был ограблен мир: Рассказ.— В альм.: Ковш. Л.: Госиздат, 1925.— Кн. 1.— С. 8—33; В дальнейшем под назв.: Союз пяти.— В авт. сб.: Союз пяти.— Л.: Госиздат, 1925; Гиперболоид инженера Гарина: Науч.-фант. роман.— Красная новь.—1925.— № 7—9, 1926.— № 4—9; М.; Л.: Госиздат,—1927.—383 с.; Гарин-диктатор: Новый вариант заключит. части романа.— Красная новь.—1927.— № 2.— С. 104—118; Фабрика молодости: Комедия в 4-х действ. и 5-ти картинах.— Париж: Изд. автора, 1928.—62 с.; Собр. соч. М.: Недра, 1930.— Т. 13.— С. 114—180; Необычайные приключения на волжском пароходе: Авантюрная повесть.— В сб.: Недра. М.: Недра, 1931.— Кн. 20; В одноим. авт. сб. Л.: Изд-во писателей в Л-де, 1931; Полное собр. соч. М.: ГИХЛ, 1948.— Т. 6.— С. 414—482; Это будет: Пьеса в

5-ти действ., 27-ми картинах. Л.; М.: ГИХЛ, 1931.— 80 с.; Полное собр. соч. М.: ГИХЛ, 1949.— Т. 11.— С. 543—611.

Науч.-фант. романы А. Толстого хрестоматийны и общеизвестны. Но и помимо них писатель неоднократно обращался к фантастике. Бунт роботов (вольный пересказ пьесы К. Чапека); попытка «акул» империализма разрушить Луну и одновременно захватить власть во всем мире; секрет вечной молодости; охота агентов западных разведок за открытием негра Хопкинсона, позволяющим снимать за лето три урожая зерновых... Пьеса о будущей войне написана в соавторстве с Павлом Сергеевичем Сухотиным (1884—?).

ТОМАН Николай Владимирович (1911—1974)

Писатель. Работал в газетах. Участник Отечественной войны. Автор военно-приключенческих повестей.

Соч.: Дождь: Рассказ.— Мол. гвардия,— 1938.— № 8.— С. 112—114; Мимикрин доктора Ильичева: Повесть.— Вокруг света.— 1939.— № 1, 2; Чудесный гибрид: Повесть.— Вокруг света.— 1939.— № 3, 4.

Сады, притягивающие к себе грозовые тучи и устраивающие «самополив»; новый вариант невидимости; сказочная урожайность ветвистой пшеницы.

ТУРОВ (ФОРТУНАТОВ) Борис Константинович

Соч.: Остров гориллоидов: Науч.-фант. роман.— Всемирный следопыт.—1929.— № 4—8.

Попытка дельцов-милитаристов вывести новый вид «обезьянолюдей», чтобы использовать их в качестве бездумных солдат-исполнителей.

Содержание

Поиск-89. Приключения. Фантастика: Повести
П 41 и рассказы./Сост. Бугров В. И., Румянцев Л. Г.—
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989.— 336 с.
ISBN 5—7529—0126—X
В пер. 1 р. 40 к. 50 000 экз.

Сборник новых приключенческих и фантастических произведений уральских литераторов.

П $\frac{4702010206\text{-}072}{М\ 158(03)\text{-}89}$ 29-89

ББК 84Р7

ПОИСК-89

Редактор М. Немченко
Художник С. Копылов
Художественный редактор В. Солдатов
Технический редактор Т. Черепанова
Корректоры М. Казанцева, М. Худякова

ИБ № 1804
Сдано в набор 28.03.89. Подписано в печать 28.08.89. НС 12175. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,6. Усл. кр.-отт. 18,2. Уч.-изд. л. 18,7. Тираж 100 000 (1-й завод: 1—50 000 экз.). Заказ 201. Цена 1 р. 40 к. Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий». 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

ЧИТАЙТЕ НОВЫЕ КНИГИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ СРЕДНЕ-УРАЛЬСКИМ КНИЖНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ В 1990 ГОДУ:

В. Печенкин

ЛАЗУТЧИК ЯСЫРЬ

Роман, основанный на исторических источниках, воссоздает события, связанные с присоединением Сибири к России, уже после похода Ермака. Написан роман в приключенческом ключе.

А. Чуманов

СЕМЬ СОТОК МАРСА

Читатели знают Александра Чуманова как автора лаконичных рассказов-притч, где причудливо переплетены фантастика и повседневность. В новую книгу молодого писателя вошли и ранее публиковавшиеся, и недавно написанные произведения, с героями их случаются порой самые невероятные истории.

В. Исхаков

ДЕРЕВО В ЧУЖОМ САДУ

Ироничные, современно звучащие повести Валерия Исхакова с полным правом можно назвать исповедальными. Герои их, принадлежащие к поколению сорокалетних, предельно искренни и самокритичны в своих размышлениях о жизни, о выборе пути, об ошибках, которые часто уже трудно исправить...

К. Борисов

СТЕЗЯ

Герои нового романа свердловского писателя-фронтовика — люди, непоколебимо верные воинскому долгу. Суровы судьбы этих людей — наверно, именно поэтому автор назвал свой роман «военно-элегическим». В книгу вошло и несколько рассказов писателя.




14



Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1989


ПОИСК
'89
фантастика
приключения